



PROBLEMS OF EASTERN EUROPE

Number 25-26

Edited by Frantisek Silnitsky and Larisa Silnitsky
Copyright by *Problems of Eastern Europe*

Manufactured in U.S.A.

=====

Problems of Eastern Europe is an independent quarterly journal whose purpose is to foster readers' acquaintance with the political and economic thinking and political experience of the nations of Eastern Europe and the USSR. The peoples and states of the region are distinct from one another, a fact conditioned by their historical development. At the same time there exist analogous political and economic structures in all of the countries, as a result of which analogous problems emerge as well. Contradictions and conflicts exist in the region, many of which are cultivated on the basis of various nations' lack of information about one another, as well as insufficient communication between representatives of these peoples and the countries. Our aim is to make up for these deficiencies as much as possible.

We are grateful to the editors of journals issued in the West in the languages of the nations of Eastern Europe, as well as to the authors and publishers for permission to use their material.

Publication of this issue was made possible
by a grant from National Endowment
for Democracy

ПРОБЛЕМЫ

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

25 - 26

NEW YORK

1989

Журнал редактируют:

**Франтишек Силницкий
Лариса Силницкая**

Сотрудник редакции:

Людмила Алексеева

Художник:

Лев Межберг

Набор:

Раиса Вайль

* * *

"Проблемы Восточной Европы" – журнал, задача которого способствовать ознакомлению читателей с политико-экономическим мышлением и политическим опытом наций Восточной Европы и СССР. Народы и государства этого региона отличаются друг от друга, что обусловлено их историческим развитием. В то же время во всех этих странах существуют аналогичные политические и экономические структуры, вследствие чего аналогичны и возникающие в них проблемы. Существуют в этом регионе противоречия и конфликты. Многие из них культивируются на почве недостаточной информированности наций друг о друге и недостаточной связи между представителями этих наций и государств. Наша цель – по мере возможностей этот недостаток восполнить.

Мы выражаем благодарность редакторам выходящих на Западе журналов на языках наций Восточной Европы, а также авторам и издательствам за разрешение использовать их материалы.

* * *

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

<i>А. Лоуренс Чикеринг. Жизнь без Маркса.....</i>	<i>7</i>
<i>Зденек Млинарж. Правовое государство и совет- ская система.....</i>	<i>16</i>
<i>Андрея Фадин. Неформалы и власть.....</i>	<i>48</i>
<i>Бела К. Кираи. Положение в Венгрии.....</i>	<i>74</i>
<i>Уолтер Лакер. Гласность за рубежом: новое мышление в международной политике.....</i>	<i>105.</i>
<i>Джордж Урбан, Франк Робертс. Сталин в воспоми- наниях английского дипломата.....</i>	<i>138</i>

ДОКУМЕНТЫ И ЛЮДИ

<i>Милан Шимечка. Страницы из дневника.....</i>	<i>181</i>
<i>Милан Шимечка. Мой товарищ Уинстон Смит.....</i>	<i>186</i>
<i>Демократия для всех. Манифест чехословацкого движения за граждан- ские свободы.....</i>	<i>227</i>

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Ганс Кон. Азбука национализма.....242

НАШ АРХИВ

Проект программы чехословацкого революционного
профессионального движения.
Прага, Июнь 1968.....288

CONTENTS

ARTICLES

<i>A. Lawrence Chickering. Life Without Marx.....</i>	<i>7</i>
<i>Zdenek Mlynar. Rule of Law and the Soviet System.....</i>	<i>16</i>
<i>Andrei Fadin. Informal Groups and the Communist Government.....</i>	<i>48</i>
<i>Bela K. Kiraly. The Situation in Hungary.....</i>	<i>74</i>
<i>Walter Laquer. Glasnost Abroad: New Thinking in Foreign Policy.....</i>	<i>105</i>
<i>George Urban, Frank Roberts. A Diplomat Remembers Stalin.....</i>	<i>138</i>

DOCUMENTS AND PEOPLE

<i>Milan Simecka. Pages from a Diary.....</i>	<i>181</i>
<i>Milan Simecka. My Friend Winston Smith (Part 1).....</i>	<i>186</i>
<i>Democracy for All. A Document from the Czechoslovak Movement for Civil Liberties.....</i>	<i>237</i>

NATIONALITY PROBLEMS

<i>Hans Kohn. Nationalism.</i>	
Its Meaning and History.....	242

OUR ARCHIVE

The Draft of the Czechoslovak Trade-Union Program (July 1968).....	288
---	-----

СТАТЬИ

А. Лоуренс Чикеринг

ЖИЗНЬ БЕЗ МАРКСА

Оценивая попытки Михаила Горбачева преобразовать советскую систему, наблюдатели справа и слева сходятся в том, что о Советах следует судить не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Думается, что есть в этом принципиальная ошибка. Хотя мы верим в примат дела по отношению к слову, в случае советской системы, если дойдет до необходимости изменения ее основ, именно слова, то есть **идеи**, будут зачинателями перемен. Разумеется, понять, что перемены происходят, можно только в том случае, если на каком-то этапе за словами последуют дела, которые подкрепляют слова. Но идеи должны открывать путь, ибо только идеи способны проникнуть достаточно глубоко в советскую систему верований, чтобы задействовать реакцию на коренные перемены. Поэтому ход рассуждения должен быть обратным: сосредоточить размышления на том, что они говорят, а не на том, что они делают.

Разумность такого подхода можно объяснить по Берку. Дело в том, что любая перемена, вызванная непосредственными действиями, по всей вероятности вызовет цепь все более усиливающихся противодействий, что, в конечном счете, приведет к краху весь процесс перемен. Запад будет приветствовать реформы, но возникший хаос подорвет процесс преобразований, возможно, спровоцировав вмешательство советской армии. После переворота нам станет известно, что все кончено, ибо руководители, пришедшие на смену Горбачеву, осудят реформы тщательно подобранными фразами насчет „буржуазной реакции“, столь знакомыми по временам „старого режима“.

Берк в неявной форме учит, что для успеха „революции” важно, чтобы она не была революцией. Чтобы стать успешным, процесс должен быть постепенным, он должен казаться продолжением прошлого даже во время решительных перемен. Только при таком условии те, кто теряет власть и влияние, могут примириться с нововведениями.

Если слова столь жизненно важны, то в чем значение гласности и как оно выражается?

Основное значение гласности — в отречении от марксизма как религии. Происходит оно не в явной форме, а символически. И в самом деле, именно в символической форме это и должно было произойти: вспомним, что в прошлом ни одного завязатого марксиста невозможно было убедить отказаться от веры просто с помощью фактов. Поэтому советское ниспровержение марксизма изнутри ныне может быть осуществлено только посредством осторожной манипуляции символами. (Напомним, что один из основных принципов успешной революции или контрреволюции, — это **принять на вооружение** то, от чего вы намерены вскоре отказаться. Поэтому чем больше мы слышим советских заклинаний о гласности, которая ставит своей задачей сохранить марксизм, тем яснее, что они на самом деле отходят от него.)

Чтобы понять, как это отречение осуществляется и почему это важно, следует припомнить сущность изначальной привлекательности марксизма. Понимание этого нередко теряется в современных анализах американо-советских отношений, где есть тенденция слишком много заниматься балансом вооружений и „советскими намерениями”. Но ведь главным резервом Советского Союза никогда не были ракеты и танки; им была квазирелигиозная претензия марксизма на обладание ключом к миру совершенства. Это видение взывало к более высоким идеалам и ценностям, чем (так оно представлялось) те, которые мог когда-либо предложить секулярный буржуазно-капиталистический режим. В особенности это импонировало интеллектуалам, ибо казалось, что марксизм дает ответы на вопросы о цели и смысле жизни, что ранее обеспечивалось религиозной традицией.

Для серьезных представителей западных интеллектуалов марксизм давно начал терять привлекательность. Ныне гласность

транслирует это послание простому человеку в Советском Союзе, а это равносильно заявлению самой матери-церкви о том, что марксизм не может добыть Священный Грааль.

Горбачев и его сторонники осуществляют отход от марксизма, признавая, что система потерпела крах, и поощряя открытую дискуссию по всем вопросам, касающимся настоящего и будущего советского общества. Так, все прежде сакральное становится мирским. Публикуются доводы в пользу экономической реформы, которые могли бы выйти из-под пера Милтона Фридмана. В должной мере освещается та сторона экономики, которая связана с обеспечением нужд общества; пишут о необходимости существенного снижения налогов, публикуются заявления, свидетельствующие о терпимости властей в отношении религии. В одной телевизионной программе прославляются американские рабочие как пример для рабочих советских, ФБР сопоставляют с КГБ в благоприятном свете. В „Новом мире” — журнале интеллигенции — появились нападки на Ленина, и их уозость не снимает их важности и символичности.

Вероятно, наиболее интересно проследить освещение ухода Советов из Афганистана. Большинство стран, желающих выйти из войны, прибегают к длительным проволочкам и уловкам, чтобы скрыть поражение. Организуются сложные переговоры, инсценируются хитроумные „уступки”, а затем поражение провозглашается победой. Если таково нормальное поведение нормальных правительств, тем более это, казалось бы, должно быть важным для системы, подобной советской, установившейся в стране, которая претендует на гарантию победы, выданную самой Историей. Однако в отношении Афганистана Советы объявили об отступлении и опубликовали его календарь. Никаких упоминаний о переговорах. Никаких разговоров об уступках. Был объявлен график, а затем попросту началось отступление.

Но самым необычным в символике отречения от марксизма являются нападки на власть Партии — церкви марксистской религии. Началось с разговоров о „поощрении демократии”. Сформировались политические клубы. Затем раздались призывы к созданию оппозиционной партии. Естественно, нападки на партию не были прямолинейным процессом. Чрезмерными были бы попытки приписать все попятные шаги на этом пути горбачевской

идеологии успешной ползучей „революции”. Точнее, пожалуй, объяснить временные успехи реакции, такие как подавление либерального журнала „Гласность”, нормальной нелинейностью пути, по которому идут все социальные и политические перемены.

Предоставление открытой дискуссии на партийной конференции на обозрение аудитории советского телевидения в июне 1988 г. было поразительным по символичности явлением; конференция завершилась принятием предложений Горбачева о сужении власти партии, об ограничении сроков функционирования партийных руководителей и об открытии политической системы для участия простых граждан. (Скептически относящиеся к реформам должны задуматься, как бы наши конгресмены отнеслись бы к предложению конституционно ограничить сроки их пребывания на посту десятью годами, а именно такое ограничение было принято партконференцией.)

Наконец, еще один признак перемен — советский политический язык. Прежний язык был ходульным и стилизованным, подобно лозунгам, призывавшим московских рабочих к самоотверженности (эти лозунги недавно были сняты). Это был подлинно литургический язык. Используемый сегодня язык совершенно иной. Он прям и стихиев. Горбачев в ответ на вопрос, думает ли он, что бюрократы будут подрывать его усилия либерализовать экономику, ответил: конечно, будут. Но бюрократы, сказал он, боятся. Такой ответ точен и правдив.

Дэвид Сэттер в „Нью Рипаблик” цитирует письмо в „Правду”, показывающее религиозные аспекты происходящего ныне со многими советскими гражданами:

„Как и многие другие, я принадлежу к поколению, которое выросло при социализме и без веры в Бога. Можно сказать, что социализм и его идеалы были нашими богами... В результате политики гласности и неограниченной критики...идеи социализма, которыми мы жили семьдесят лет и которые определяли цели и смысл нашей жизни, были в какой-то мере дискредитированы... Моя собственная вера поколебалась”. (Обратный перевод с английского — Ред.)

Без своего видения идеала марксизм остается не более чем голой хватательной клешней власти. Именно поэтому, если произойдет серьезное выступление реакции и Горбачев будет низложен, СССР никогда не сможет полностью вернуться в прежнее состояние. Если Горбачев будет принужден уйти от власти, самое большое, что придет ему на смену, — это открытая циничная диктатура, которая не будет претендовать на мандат истории.

Ниспровержение религии матерью-церковью имеет огромное, хотя и весьма сложное воздействие на верующих в колониях. Здесь вновь можно упустить смысл происходящего, слишком сосредоточившись на делах, а не на словах. Проблема состоит в том, что в политике слова и дела на поверхности часто находятся в парадоксальных соотношениях друг с другом, нередко идут в противоположных направлениях вследствие стараний руководителей скрыть свои подлинные дела или добиться от публики „сбалансированного” восприятия самих себя.

Американская политика дает тому множество примеров; поездка верховного антикоммуниста Никсона в Китай — наиболее поразительный из них. Но есть и другие примеры. Предполагается, что республиканцы и консерваторы благоприятствуют богачам и довольно безразлично относятся к судьбам менее благополучных; но ведь именно демократы и либералы большей частью предлагают снижение налогов на высокие доходы (вспомним принятое в 1964 г. предложение президента Кеннеди о снижении предельной ставки налога с 91 до 70%; а также лоббирование демократами в Палате представителей снижения налога на „незаработанный доход” с 70 до 50%). В том же ключе — действия „супер ястреба” Рейгана, который противился соглашениям о контроле над вооружениями, но провел соглашение о ликвидации ядерных ракет средней дальности.

Эти примеры показывают, почему во время происходящего в СССР „религиозного отречения” у кремлевских руководителей сохраняются стимулы двигаться в некоторых вопросах в направлении, **противоположном** тому, которого требует гласность.

Воздействие происходящего на другие страны-сателлиты СССР так же сложно, и можно ожидать, что это будет тянуть

Советы в противоположные стороны. Однако важнейший вопрос не в том, будет Советский Союз увеличивать или сокращать военную помощь странам-сателлитам. Дело в затруднительном положении, в котором ныне, перед лицом отступничества Москвы, оказались марксистские правительства, пытающиеся отстоять миф своей легитимности.

Страны-советские сателлиты, оказавшись в роли исповедующих падшую религию, попали в положение, которое социологи обозначают термином „когнитивное меньшинство”. Члены таких меньшинств — например, религиозные люди в агностическом обществе или верующие в астрологию в научном сообществе не могут, на выбор, отступить и сохранить веру, блокируя сигналы извне, или сдаться и перемениться.

Подобно этому, для сателлитов СССР существуют лишь два пути: следуя за Москвой, осуществить постепенную либерализацию и создать открытое общество, или усилить замкнутость и репрессии (по албанскому образцу). Куба, возможно, пойдет по второму пути. Кубинское правительство ответило на гласность сокращением распространения советских книг и журналов, много лет издававшихся большими тиражами на испанском языке. Недавно московский журнал „Новое время” опубликовал статью о несовместимости кубинского социализма с новыми советскими стандартами. Правительство Кастро перекрыло поступление на Кубу следующих выпусков журнала, а вскоре ограничило и квоту на ввоз „Московских новостей”. Отношения между двумя странами стали настолько напряженными, что советское посольство в Гаване уже несколько месяцев остается незанятым, а в речи на ежегодном праздновании Дня независимости 26 июля Кастро заявил, что на Кубе гласности не будет.

Признаки сдвигов появляются по всей советской империи — в Восточной Европе, во Вьетнаме, в Анголе, даже в Эфиопии и Северной Корее. Китай продолжает идти по собственному пути либерализации, хотя и здесь слова и дела двигаются в противоположных направлениях: ортодоксальные политические символы скрывают неуклонное развитие политических реформ, проводимых без лишнего шума.

Иногда наиболее драматическими показателями перемен в Советском Союзе и соседних странах становятся события,

сами по себе незначительные и малозаметные, но вместе они складываются в нечто огромное; сюда можно отнести недавние сообщения о приватизации части польской системы здравоохранения, о сближении Северной и Южной Кореи, об удалении последней статуи Мао из Пекинского университета, о первой мирной отставке руководителя государства в советском блоке (Кадар в Венгрии весной 1988 г.), о публикации в Москве отрывков из книги Дж. Орвелла „1984”.

Если марксистское учение нередко критикуют за экономический детерминизм, то, по иронии судьбы, предпринимаемые на Западе попытки понять последние события в Советском Союзе обнаруживают собственный детерменизм. По существу, все западные обозреватели полагают, что эгоистические интересы советской элиты — это непреодолимая реальность, а что происходит — не столь важно. Если либерализация потерпит крах, будут говорить, что элита никогда не уступает своей власти; если же дела пойдут успешно, будут говорить, что кризис советской экономики убедил ту же элиту, что без серьезных перемен ее могущество настолько ослабеет, что станет несущественным для остального мира.

Во всех этих оценках есть доля истины, но они не улавливают центрального аспекта происходящего — отхода советской элиты от квазирелигиозной марксистской веры.

Одна из причин неудач наших попыток понять этот отход в том, что у современных западных интеллектуалов отсутствуют инструменты понимания религиозной веры. Поскольку рационализм западной интеллектуальной традиции оставляет для веры очень мало места, а то и вообще никакого, очень немногие среди западных интеллектуалов могут представить, что значит верить и потерять веру. Они не более подготовлены к пониманию происходящего в Советском Союзе, чем к пониманию иранцев, свергнувших шаха и заявивших о своей приверженности фундаменталистскому религиозному автократу, каким является аятолла Хомейни.

Объяснение наших неудач в осмыслении событий в СССР кроме того связано с нашей собственной политической культурой. По иронии истории, марксизм, исчезающий как вера в Советском Союзе, остается среди основ нашей собственной ин-

теллектуальной, психологической и духовной жизни в качестве мифа или метафоры, и от этого почти невозможно избавиться, даже если его выбрасывают в Москве.

Чтобы понять, что имеется в виду, необходимо припомнить, какое место продолжает удерживать марксизм в системе западного мышления. Даже сегодня, когда лишь немногие интеллектуалы называют себя марксистами, слово „марксизм” остается для многих метафорой надежды. Это видно по способам, которыми западные левые в течение четырех последних десятилетий отчаянно ищут „подлинный” марксизм, прославляя, а затем проклиная страны, которые какое-то время служили для них воплощением истинной веры. После каждой неудачи они искали новый объект надежды во все более невероятных местах: после Советского Союза они обратились к Китаю, затем — к Кубе, затем — к Северному Вьетнаму, а в последнее время — к Никарагуа. (Только с Северной Кореей Ким Ирсена они расстались быстро.) Разумеется, при сопоставлении либерального капитализма с „высшими чаяниями” марксистских государств, именно либеральный капитализм всегда оставался в глазах многих интеллектуалов дефектным.

Для многих западных либералов и левых марксизм стал метафорой системы, которая решает основной вопрос современности, интегрально увязывает все усиливающийся в современном обществе поиск индивидуализма и рационализации с потребностью (как личности, так и общества) в ценностях, находящихся за пределами субъекта. Это примирение индивидуализма и коллективизма, эффективного и общего, субъективного и объективного. Поэтому для многих западных интеллектуалов отказ от марксизма — травма, даже если во главе этого процесса стоит Советский Союз.

Если это так, то вполне понятна причина, по которой интеллектуалы, по меньшей мере левые, не придают большого значения происходящему в Советском Союзе. Чего волноваться, если отход от марксизма происходит в стране, которая, как это ясно в исторической перспективе, оказалась плохим воплощением Идеи?

Появляется искушение думать, что этот анализ не приложим к интеллектуалам правого толка. Но и они не улавливают какого-либо реального значения в гласности; возникает вопрос,

не связана ли их неудача с потребностью — иной, нежели у левых, но все же потребностью — в марксизме, от которой и им нелегко отказаться.

Следует иметь в виду, что марксизм претендует на решение проблемы, которую правые решить не смогли, — проблемы примирения и объединения индивидуализма с ценностями внеличными (если бы правые решили эту проблему, не было бы причины для конфликта, который активно разыгрывается сегодня между либертариями и традиционалистами). Не имея решения, которое позволило бы утвердить интегральное видение истины, правая построила здание своего интеллектуализма и спиритуализма на оппозиции единству этих идей, предложенному марксизмом и левой, — оппозиции, в которую правая вложила немало духовной и интеллектуальной энергии. Именно поэтому нелегко представить постмарксистское оформление западной правой, так же как западной левой.

Даже если Советы откажутся от марксизма и советская империя станет церковью без вероучения, далеко не ясно, как мы выдержим без идеи, которая имеет для нас огромное, ни от чего не зависящее значение. Сможем ли мы существовать без марксизма? Весьма возможно, что по причинам историческим и философским для нас это окажется крайне трудным, во всяком случае, до тех пор, пока мы не найдем того решения важнейшей проблемы современности, на которое претендует марксизм.

*По-английски статья была напечатана в американском журнале "The National Interest", N 14, Winter 1988/9

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА*

Еще несколько лет тому назад идеология „реального социализма” сочла бы требование, чтобы социалистическое государство развивалось как государство правовое, насаждением „буржуазных понятий” в советских условиях. Но для современной советской политики реформ является „делом принципиальной важности формирование социалистического правового государства как полностью соответствующей социализму формы организации политической власти”.¹

Правовое государство вовсе не идентично с политической демократией или с плюралистической парламентарной системой западного типа, но оно является весьма важным, реально возможным путем к преодолению неограниченной политической диктатуры, системы абсолютной власти и тоталитарного контроля над общественным развитием со стороны политической власти. Подобное положение существовало в более широком историческом контексте и на Западе, где переход от абсолютизма к конституционной монархии можно считать исходным пунктом развития правового государства. При этом автократическая система политической власти какое-то время продолжала существовать, но были установлены правила и ограничения, которым был вынужден подчиняться правитель-монарх и его бюрократический аппарат, в других отношениях автократичный. С этого момента открывался путь к постановке вопроса

*Глава из книги "Что может сделать Горбачев" печатается с небольшими сокращениями. Эта же глава легла в основу доклада, прочитанного на международном симпозиуме в Фрейденберге (ФРГ) в мае 1989 г.

о том, кому должна принадлежать законодательная, т. е. решающая власть, которая устанавливает обязательные для всех правила и ограничения осуществления властных функций. На этот вопрос можно было ответить в республиканско-демократическом духе, а именно, что источником власти является „народ“, и таким образом открыть путь для создания современных демократических политических систем западного типа.

Конечно, сравнение современных проблем, стоящих перед правовым государством в СССР, с историческим переходом от абсолютизма к конституционной монархии на Западе не имеет практического смысла. Мы касаемся этого исторического аспекта, лишь чтобы пояснить, что под правовым государством не следует механически понимать лишь такую систему отношений между государством и обществом (гражданами), которая в настоящее время установилась, например, в западноевропейских странах. Эти страны стали считать эталоном правовых государств, хотя они, кроме того, представляют собой еще и парламентарные плюралистические системы. Такое сочетание не является необходимым на всех стадиях развития правового государства. Когда-то его не было и на Западе, и нельзя считать его обязательным для современной советской системы. При определенных условиях, конечно, такое сочетание возможно. Развитие может (но не обязательно должно) идти в этом направлении и в системах советского типа, особенно в странах Центральной Европы, входящих в советскую сферу влияния, где исторические условия благоприятны для зарождения тенденции к такому сочетанию. Это исторически подтвердилось, например, в 1968 г. в Чехословакии, а также в попытках изменить систему, принятых в Польше и в Венгрии.

Что означает в настоящее время требование создания правового государства для политической системы СССР?

Для ответа на этот вопрос необходимо определить основные характеристики современной советской системы, а именно — двойственность структуры политической власти. Официально провозглашенная структура власти, отраженная в конституции и во многих законах, — выборные представительные органы, т. е. Советы различных уровней. Взаимоотношения между

этой структурой власти и обществом (гражданами) урегулированы законами и другими правовыми нормами.

Однако наряду с этой структурой политической власти существует другая, конституцией и правовыми нормами, в сущности, не регулируемая структура, взаимоотношения которой с обществом (гражданами) никакими опубликованными правовыми нормами не определяются, причем эта структура играет решающую роль в отправлении фактической власти. Эта вторая, главенствующая структура — органы абсолютной власти, основой которых является коммунистическая партия (слияние партийного и государственного аппарата). В эту же структуру входит огромный аппарат управления народным хозяйством, основанного на системе директив; не последнюю роль играют в этой структуре милиция и армия, фактически подчиненные не Советам, а органам абсолютной партийно-государственной власти.

Курс на правовое государство означает сейчас в СССР стремление к преодолению данного положения, по сути дела это требование ликвидации „теневого структуры власти”, которая до сих пор не подчиняется никакому праву и обладает реальной властью.

В реальных условиях советской политической системы требование создания правового государства имеет подлинно революционное значение, это по сути стремление к качественно изменению системы. Если до сих можно было говорить о советской системе как о системе тотального контроля политической власти над обществом (т. е. и над отдельными гражданами), то это определялось именно наличием абсолютной власти, „теневого структуры”, стоящей вне всякого контроля со стороны управляемого ею общества.

Конечно, нельзя рассчитывать, что строительство правового государства сразу преодолет сложившиеся взаимоотношения и привычную практику, связанную с „теневого структурой” власти. Однако, если последовательно этого добиваться, можно постепенно ощутимо ограничить эту структуру власти, все более подчиняя ее законам и сокращая тем самым ее возможности тотального контроля над обществом при отсутствии контроля над ней самой. Даже если в советской системе и в дальнейшем сохраняются элементы авторитарной власти, можно подчинить

их закону или хотя бы осуществлять в какой-то мере демократический контроль за использованием механизмов авторитарной власти.

Требование создания правового государства в СССР может сыграть весьма значительную роль, практически изменив роль коммунистической партии. Наиболее вероятно, что партийные органы в СССР сохранят за собой на определенное время какие-то возможности влиять на процесс принятия решений органами власти и управления. Это будет в интересах и самого движения за реформу, поскольку нередко будет появляться нужда в авторитетном вмешательстве какой-то интегрирующей силы. Реформа политической системы не может на первоначальных стадиях своего развития опираться на демократические механизмы, поскольку их еще нет: в процессе их создания иногда необходимо использовать авторитарные методы власти, в том числе авторитарное вмешательство коммунистической партии.

Тем важнее, чтобы это вмешательство осуществлялось не в интересах „теневой структуры власти” (стержнем которой являются партийные аппараты). Наоборот, необходимо, чтобы партийные органы в процессе принятия и выполнения решений подчинялись закону. Иными словами: первым шагом к преодолению структуры фактической власти в СССР может стать ее регулирование и правовое ограничение там, где эту структуру нельзя сразу и без нежелательных последствий устранить и отменить. Отсюда необходимость широкой правовой реформы, изменения целого ряда правовых норм, существенно затрагивающего и конституцию. Таким образом, требование правового государства — это не только призывы к соблюдению законов и права вообще, это преобразование правового регулирования отношений между властью, с одной стороны, и обществом, социальными группами и гражданами — с другой.

Преобразование государства советского типа в действительно правовое — это весьма сложный и разносторонний процесс, глубоко затрагивающий жизнь общества; создание новых взаимоотношений между властью и обществом, между управляющими и управляемыми социальными субъектами, между государством (социальной общностью) и гражданином (отдельной личностью).

Для осмысления основных направлений этого процесса

следует проанализировать два его аспекта: во-первых, изменения в структуре политической власти и управления, в правовом порядке и его практическом внедрении (т. е. всю систему управления обществом), а во-вторых, положение социальных субъектов, групп и отдельных личностей (граждан), способ выражения их интересов, их поведение. Этот второй аспект включает, главным образом, вопрос о том, как будет решена проблема гражданских прав и политических свобод в правовом государстве, построенном в системе советского типа.

Направление преобразований политического управления обществом, т. е. органов политической власти и управления, для превращения советского государства в правовое, в основном, известно по аналогии с правовыми государствами Запада. Это прежде всего соблюдение принципа разделения власти между законодательными и исполнительными органами, иными словами, — между выборными представительными органами (депутатами, в них представленными) и административным аппаратом, состоящим из чиновников-профессионалов, бюрократии в узком смысле слова.

Что нужно сделать, чтобы органы, издающие законы и устанавливающие правовой порядок, оказывали действительно решающее влияние на принятие политических решений и их реализацию? Что нужно сделать, чтобы выборные органы не были фактически подчинены бюрократии, а наоборот, чтобы она подчинялась им и находилась под их контролем? Ведь до тех пор, пока не будет решена эта задача, не будет реально функционировать и правовое государство, так как исполнительная власть не будет на деле подчинена закону, если исполнители законов не будут подчинены их творцам, законодателям. Это — общая проблема для любого правового государства, вне зависимости от его экономических, социальных (классовых) и политических характеристик.

В СССР решение этой проблемы усложняется существованием „теневой структуры” фактической власти, а также идеологическими мистификациями. Советская идеология всегда отказывалась признать, что в „стране Советов” могут возникать подобные проблемы. Ленин смотрел на это совершенно иначе. Он исходил из совсем иной концепции, чем концепция правового

государства. Ленин предполагал, что Советы как государственные органы будут одновременно и органами „народного самоуправления” и поэтому смогут сочетать законодательные и исполнительные функции. Ленин, в духе рассуждений Маркса о Парижской Коммуне, полагал, что государственное насилие и государственная власть будут сосредоточены не в руках особого аппарата, а непосредственно в массовых организациях народа (пролетариата) — Советах. Согласно ленинской концепции, отраженной в Конституции РСФСР 1918 г., общество, организованное в форме советского государства, должно управляться в принципе таким же образом, как массовая общественная организация. Основной организационной ячейкой должны были стать Советы на местах (в селах, поселках и городах). Согласно Конституции 1918 г., выборы в эти Советы должны были происходить каждые три месяца. В небольших населенных пунктах, где это было технически возможно, вопросы общественного управления должны были решаться голосованием на собраниях всех граждан.

Высшие органы государственной власти и управления формировались на съездах делегатов местных Советов. В низших административных единицах, уездах, эти съезды должны были собираться раз в месяц, в районах и округах — раз в три месяца, а в областях не реже двух раз в год. Минимально два раза в год должен был созываться Всероссийский съезд Советов.

Съезды Советов выбирали исполнительные комитеты — верховные органы власти и управления на данной территории в период между съездами. О своей деятельности они отчитывались очередному съезду. Таким образом, состав высших органов власти менялся в районах, областях и в центре по крайней мере два раза в год. Совет Народных Комиссаров (правительство) непосредственно подчинялся Центральному Исполнительному Комитету (ЦИК) — общегосударственному органу, состав которого должен был также меняться два раза в год. ЦИК мог приостановить или отменить любое решение Совнаркома, а важные политические решения правительство должно было представлять Центральному Исполнительному Комитету на обсуждение и одобрение.²

Каким, в соответствии с этой концепцией организации

органов государственной власти и управления, должно было быть советское государство? Если бы все это было осуществлено, мы бы имели дело с „полугосударством” — это была бы организация, основу которой составляли бы вновь и вновь избираемые в городах и деревнях представители народа, становящиеся на короткий срок (на время работы съезда Советов) непосредственными представителями верховной государственной власти, контролирующими всю систему исполнительной власти. Даже высшие исполнительные органы действовали бы независимо не более полугода (до следующего съезда Советов). Ленин сам писал о такой системе государственной власти и управления, что в ней самоуправление совпадает с государством.

Но в действительности эта система советского государства никогда, даже при жизни Ленина, не была осуществлена. В важных областях власти и управления большевики всегда руководствовались совершенно другими принципами. Эти области были практически изъяты из компетенции Советов и переданы различным чрезвычайным уполномоченным органам. Это касалось как экономики (в годы так называемого военного коммунизма и позднее), так и внутренней безопасности и военных проблем. В действительности решения подготавливал и окончательно принимал узкий слой профессиональных революционеров, обеспечивали осуществление этих решений различные уполномоченные органы, также находившиеся в руках этого правящего слоя.

Ленин полностью отдавал себе в этом отчет и открыто об этом говорил. Он объяснял эти факты как исключительностью положения (революция и гражданская война), так и отсталостью России, неграмотностью масс, отсутствием у них опыта в общественных делах и т. д. Он открыто говорил, что, вследствие исторических обстоятельств Советы, вместо того, чтобы стать органами, через которые народ осуществляет власть, стали органами, правящими для народа и в его интересах — однако прямого тождества между „массами” и органами власти и управления не достигнуто. В последние годы жизни Ленин сконцентрировал внимание на том, как поставить уже существующую советскую бюрократию под эффективный контроль масс. Основным звеном такого контроля он считал систему рабоче-крестьянской инспекции, так как Советы не могли выполнять необходимые

функции самоуправления.³

После смерти Ленина все решающие сферы общественной жизни — от планируемой экономики и культурно-политической сферы и кончая армией и милицией — оказались в руках централизованных бюрократических аппаратов, которые на деле не подчинялись Советам, а появились и укрепились независимо от них. Выросла целая система контроля и управления, осуществляемых коммунистической партией и ее аппаратом, и Советы оказались в подчинении у него.

Кроме того, произошли принципиальные изменения в организации и структуре самих Советов. Сначала на практике, а с 1936 г. и в соответствии с новой сталинской конституцией, Советы стали формально органами типа представительных, парламентарных учреждений. Все Советы, снизу доверху, составлялись из постоянных депутатов. В низовых Советах мандаты были гарантированы депутатам на два с половиной года, а в республиканских Советах и в Верховном Совете — на пять лет. Съезд Советов как институт перестал существовать: верховные органы власти не создавались низовыми органами, а выбирались непосредственно населением — в принципе так же, как в республиках с парламентарными системами.

Но этот „советский парламентаризм”, в отличие от „буржуазного парламентаризма”, не допускал выдвижения на выборах нескольких кандидатов от различных политических организаций (партий), победа которых зависит от результатов голосования избирателей. В советской системе в каждом избирательном округе выдвигался единственный кандидат, у которого не было конкурента. Формально кандидата выдвигали „трудовые коллективы” на собраниях избирателей, однако в действительности их утверждал и предлагал избирателям партийный аппарат. В системе, о которой говорил Ленин, должна была осуществляться постоянная смена кадров: четыре раза в год должны были происходить выборы в местные Советы, а съезды Советов, собиравшиеся не менее чем два раза в год, обеспечивали бы и без политических партий контроль снизу за органами власти и управления. Вопрос о возможности критики и оппозиционных выступлений в этой модели управления не выглядел серьезной самостоятельной проблемой. Этот вопрос решался — однако лишь теоретически — частой сменой кадров и частым обновлением

состава съездов Советов. Избиратели выбирали бы повторно лишь тех делегатов, позиция которых их удовлетворяла. Точно так же не было — опять-таки лишь теоретически — проблемы бюрократизации государственного управления: исполнительная власть постоянно обновлялась притоком новых людей, депутатов-непрофессионалов, составлявших исполнительные комитеты. При такой системе теоретически чиновник-профессионал, получающий жалование, не мог оказаться на решающей политической должности и уж никак не мог занимать такую должность продолжительное время.

Но поскольку ленинская концепция на практике никогда не была осуществлена и даже ее элементы были постепенно уничтожены, нельзя повторять как заклинание слово „Советы” и не видеть, что в СССР развился совершенно иной тип отношений между властью и обществом, чем тот, который описал Ленин, говоря о „государстве Советов” как о „высшем типе демократии” по сравнению с демократией парламентарной.

В настоящее время в СССР под маркой „Советы” существуют на практике именно органы парламентарной системы. С точки зрения взаимоотношений этих органов с обществом это означает, что депутаты избираются на длительный период и нередко депутатами становятся профессиональные чиновники из различных политических аппаратов. Эти депутаты собираются, чтобы принимать решения (законы). Исполнительные функции при этом осуществляют аппараты, состоящие из служащих-профессионалов, которые должны были бы находиться под контролем выборных органов, но на самом деле бюрократически руководят всеми областями общественной жизни.

Выдвинув лозунг создания правового государства, политика реформ Горбачева явно встала на реальную почву: она реально представляет действительность, которую она решила изменить, и способ предлагает для этого реальный, а не идеологическо-утопический путь. Цель политики реформ Горбачева — не в возвращении к ленинской концепции государства „типа Коммуны”, которая исторически не оправдала себя как реально осуществимая концепция управления современным индустриальным обществом. Принцип разделения труда распространяется и на процесс управления производством и на произво-

водственные виды человеческой деятельности. Необходимость специализации аппаратов управления, состоящих из профессиональных квалифицированных работников, делает проблему организации управления гораздо более сложной, чем ее представляли себе в прошлом веке мыслители-социалисты, в том числе и Маркс. Противоречия между представлениями того времени и современной реальностью имеются и в подходе к роли товарного производства, рынка и денег в некапиталистическом, социалистическом обществе.

Основные проблемы, которые ныне возникают в СССР в связи с намерением преобразовать советское государство в правовое, это проблемы развития „социалистического парламентаризма”, а не „преодоления” концепции парламентаризма. Реформа политической системы в СССР, происходящая под лозунгом „укрепления роли Советов”, означает сейчас нечто совсем другое, чем лозунг „Вся власть Советам!” во время революции 1917 г. и непосредственно после нее. Вот основные задачи настоящего времени:

— Обеспечить, чтобы Советы и контролируемые ими органы (различные комиссии и т. д.) действительно принимали политические решения и подготавливали проекты законов, чтобы эти решения не поставлялись извне, из центров фактической власти — не контролируемой законом теневой структуры. Иными словами: необходимо обеспечить, чтобы органы, которые должны быть органами власти, действительно выполняли эту свою функцию, чтобы они не были инструментом других, неконституционных структур власти.

— Необходимо обеспечить, чтобы депутаты Советов действительно избирались, а не просто „утверждались избирателями”, как это до сих пор на практике происходило, т. е. когда у избирателей была возможность либо голосовать за единственного кандидата, либо вообще не голосовать (что могло повлечь за собой неприятные последствия). Это, конечно, означает, что на каждом избирательном участке должна быть предоставлена возможность выбора из нескольких кандидатов. Это означает также изменение системы выдвижения кандидатов. Уже был провозглашен принцип возможности неограниченного выдвиже-

ния кандидатов,⁴ но это останется общей декларацией до тех пор, пока не будет юридически отчетливо урегулировано, кто имеет право выдвижения кандидатов, кто и каким образом окончательно решает, какие кандидаты будут представлены в избирательном бюллетене, по которому избиратель выбирает (или, наоборот, вычеркивает) кандидатов. В условиях существования единственной политической партии процедуру выборов тоже необходимо юридически точно урегулировать. Должно быть ясно установлено, какие организации или группы граждан имеют право выдвигать кандидатов. Точно так же следует однозначно определить, кто имеет право отвести выдвинутые кандидатуры в последней инстанции, принять решение не заносить то или иное имя в избирательный бюллетень. Ни в коем случае не может обеспечить демократические выборы система, существующая с 1936 г., в которой якобы „каждый” имеет право предложить на собрании избирателей кого бы то ни было в качестве кандидата, но подлинный отбор кандидатов для последнего тура производится втайне в партийных аппаратах, без точной компетенции и без возможности контроля извне.

Изменения в конституции и в законе о выборах, которые были до сих пор приняты, к сожалению, не дают вполне надежных гарантий против манипуляций со стороны партийного аппарата. Однозначно обеспечивается лишь возможность выбора между несколькими кандидатами. В качестве субъектов, имеющих право выдвигать кандидатов, называются лишь „коллективы” или „собрания избирателей” — без точного юридического определения. Таким образом, продолжает существовать возможность манипуляции участниками этих коллективов и собраний. Точное юридическое определение права на выдвижение кандидатов должно было бы указывать, при каких условиях те или иные организации (или, например, определенное число граждан, которые своими подписями поддерживают выдвижение кандидата) имеют право включить своего кандидата в избирательный бюллетень, предоставив избирателям решать вопрос о его избрании без посредника — „собрания избирателей”, где кандидат должен получить поддержку большинства.

Лишь некоторые „общественные организации” (в том числе и КПСС) имеют, в соответствии с новой процедурой

выборов, прямое право на выдвижение своих представителей на Съезд народных депутатов, причем даже без голосования избирателей в выборных округах. Для этих организаций установлены точно определенные квоты, в соответствии с которыми они будут представлены на Съезде (1/3 от общего числа депутатов Съезда направляется, таким образом, уполномоченными организациями, минуя выборы в территориальных избирательных округах). Но в таком положении находятся лишь официальные гигантские „массовые организации”, управляемые на основе принципов так называемого демократического централизма. Кроме них этим правом пользуются представительные организации привилегированных социальных групп (ученых, писателей и др.).

Несмотря на все эти недостатки и неясности в процедуре, выборы в конце марта 1989 г. совершенно бесспорно показали, что в СССР, по сравнению с прежней практикой, произошли качественные изменения. Приблизительно в 25—30% избирательных округов партийному аппарату не удалось продвинуть своих кандидатов и были выдвинуты и выбраны другие лица. Почти нигде не удалось продвинуть „официальных” кандидатов без дискуссий и сложностей. В ряде мест не были избраны видные партийные, государственные и хозяйственные деятели, поскольку избиратели оказали предпочтение кандидатам, не имевшим поддержки аппарата. Избрание Б. Ельцина, несомненно, было политической демонстрацией избирателей по отношению к Центральному комитету КПСС в целом, непосредственно перед выборами начавшему пристрастное расследование политической деятельности Ельцина.

— Необходимо обеспечить, чтобы в Советах всех уровней исполнительный аппарат подчинялся депутатам и был под их эффективным контролем. В этом смысле подготовляемая реформа идет в направлении, как раз противоположном первоначально указанному Лениным. Реформа стремится персонально отделить депутатов от носителей исполнительных функций: штатные работники исполкомов Советов не могут входить в состав депутатов соответствующего Совета, поскольку в таком случае они бы осуществляли контроль сами над собой.⁵

Своеобразен способ, которым, согласно политике реформ Горбачева, должны на практике определиться взаимоотношения между Советами и соответствующими партийными комитетами данной территориальной единицы. Под лозунгом повышения авторитета Советов реформа предлагает председателем Совета, как правило, первого секретаря соответствующего городского, районного, областного или республиканского комитета КПСС. Это правило преподносится как шаг на пути к демократизации, поскольку предлагается, чтобы секретарь партийного комитета избирался всеми гражданами на пост председателя исполкома Совета, а если это не произойдет, следует „сделать выводы” и по партийной линии.⁶

Такая аргументация возможна, но многое зависит от того, насколько демократична система выборов в Советы, и в любом случае она не очень убедительна.

Однако выборы в конце марта 1989 г. показали, что провал партийных секретарей на выборах вполне возможен. Народ высказал им тем самым, совершенно недвусмысленно, свое недоверие. Вероятно, масштабы этого явления оказались больше, чем ожидали как сами партийные функционеры, так и, быть может, избиратели.

Соединение высших государственных и партийных должностей в руках единственного лица на всех ступенях иерархии власти, начиная с районов и городов и кончая верховными органами СССР, означает принятие принципа, который, скорее, находится в противоречии с принципами современного правового государства. В правовом государстве ни в одном звене власти и ни для одного должностного лица не допускается такая концентрация власти, которая может привести к тому, что уже ни у кого не будет возможности эту власть эффективно контролировать и ограничивать. Наоборот, всегда должна сохраняться возможность эффективного исправления ошибок и перегибов в исполнении власти в одном из звеньев другим, независимым, звеном государственной системы.⁷ Более чем сомнительно, что в условиях СССР, где имеется прочная традиция абсолютной власти и при однопартийной системе принятое решение может все это обеспечить.

Я склоняюсь к мысли, что решение о концентрации партийных и государственных должностей в одних руках было продиктовано конкретной ситуацией. Этот шаг означает, что авторитарный принцип сохранится и в реформированной политической системе, но и будучи концентрированной, власть, однако, не остается вне какого-то контроля. Эта концентрированная власть будет осуществляться не в рамках „теневой структуры” в партийном аппарате, а будет иметь открытый характер, будет регулироваться правовыми нормами и переместится в официальные органы власти — в Советы.

Если система общественного контроля за работой Советов будет развиваться успешно, если будет принята демократическая система выборов и носителям власти придется работать в условиях гласности и гарантированных гражданских свобод, тогда и решение о сохранении авторитарного характера власти, сконцентрированной в одних руках, в течение переходного периода может оказаться реальным путем к демократизации. Это решение меняет существующее положение, ликвидируя „двойную структуру власти”, заменяя ее единой конституционной и регулируемой законом структурой, что в советских условиях является шагом вперед.

То же можно сказать и о сложной системе формирования верховных органов государственной власти. Прежде этот орган — Верховный Совет — избирался непосредственно, а ныне введена гораздо более сложная процедура. Верховным органом власти стал Съезд народных депутатов, которые избираются не только по территориальным округам. Депутаты делегируются также от различных политических организаций (партии, профсоюзов, комсомола и т. п.), творческих и научных организаций. Съезд избирает Верховный Совет и Председателя Верховного Совета (в соответствии с заблаговременно приведенным принципом, им должен быть генеральный секретарь ЦК КПСС) и несколько других должностных лиц. Съезд, как верховный орган государственной власти, будет заседать раз в год для обсуждения принципиальных конституционных, политических и социально-экономических проблем.⁸

Это построение формально соответствует ленинским представлениям о верховном органе власти — „съезде Советов”,

но в действительности не является возвращением к системе съездов Советов, как ее понимал Ленин. Эта концепция берет из ленинской лишь некоторые элементы и внешние признаки, но не институциональную базу, которую составляли съезды Советов снизу доверху и постоянная сменяемость кадров, о которой мы уже подробно говорили. В соответствии с концепцией нынешней реформы, постоянная сменяемость кадров заменяется принципом, согласно которому никто не должен занимать должность дольше, чем на два выборных срока. Установленная продолжительность отчетного периода для Советов всех уровней — 5 лет. Таким образом, обмен кадров будет происходить по истечении десяти лет, тогда как согласно ленинской концепции кадры можно было сменить два раза в год.

Особенности концепции нынешней реформы структуры власти в СССР в направлении правового государства совершенно очевидно порождены историческими условиями, современным положением, реальными политическими возможностями советской системы и соотношением сил в советском обществе. Эта концепция реформы ни в коем случае не является „общеобязательной” моделью „социалистического правового государства”. Если вообще можно говорить о форме организации политической власти как о „социалистической”, или, наоборот, „буржуазной”, то „социалистическая” форма, как и „буржуазная”, в каждой стране определяется многими специфическими причинами, историческими и другими влияниями. Правовое государство во Франции отличается от правового государства в ФРГ, оно может быть (даже обязательно должно быть) иным в СССР и иным, например, в Чехословакии или Польше. Иной подход мог бы возродить старое, принесшее много вреда стремление считать формы организации общества в СССР не результатом конкретных исторических условий в этой стране, а воплощением общих закономерностей социализма.

Основная проблема перехода к правовому государству в условиях советской системы — это проблема устранения двойной структуры власти, когда наряду с официальной, конституционной существует „теневая”, действующая вне права и обусловленная сращиванием партийных и государственных органов. Это порождает, кроме комплекса вопросов, связанных

с развитием Советов, еще один аспект, который в рамках политики реформ до сих пор почти не обсуждался. Дело в том, что правовое государство несовместимо с механизмом политическо-полицейского надзора над обществом, во всяком случае с теми формами надзора, которые характерны для системы советского типа и которые играют в ней столь существенную роль.

Короче говоря, если политические решения, в том числе утверждение законов, принимались вне Советов, то и фактические решения о правах граждан, об их материальных и других возможностях (например, о заграничных поездках) — одним словом, о том, что разрешается и что запрещается — принимались не в органах, официально для этого предназначенных, а за кулисами, в партийном и полицейском аппарате, на основе информации о политическом поведении и „сознательности” людей. Такую информацию собирают различными способами по месту работы и по месту жительства, при содействии активистов различных политических организаций и с помощью осведомителей — агентов политической полиции. Эта информация засекречена, она не известна тому, кого она касается, а именно на ее основе часто решается судьба человека, возможности работы, определяется его карьера и даже личная жизнь.

Сложная система политическо-полицейского надзора и сбора этой информации не зафиксирована нигде, ни в конституции, ни в каких-либо других правовых актах, зато каждый гражданин очень хорошо знает о ней по собственному опыту. Услугами этого механизма могут пользоваться два ведомства: аппарат политической полиции (КГБ) и определенные звенья партийного аппарата.

От этих аппаратов на деле часто зависят и решения суда и вообще вся система юстиции (прокуроры, судьи, адвокаты). Совсем недавно существовала фактическая неприкосновенность „номенклатурных кадров”, их могли привлечь к судебной ответственности лишь с согласия соответствующего партийного органа. Кроме того, партийные работники и сотрудники КГБ часто давали судьям устные указания, как им следует решать то или иное дело.

Иными словами: в советской политической системе действовал (и, несомненно, действует до сих пор) огромный аппарат

политическо-полицейского надзора, находящийся вне всякого контроля общественности, компетенции которого не установлены никакими опубликованными правовыми нормами, и у граждан нет возможности обжаловать действия этого аппарата.

Горбачевская политика реформ лишь слегка и выборочно затронула эти проблемы. Так, была провозглашена независимость суда от партийных и других аппаратов и стали публично критиковать случаи вмешательства извне в деятельность юстиции. Такая критика (например, в печати) зачастую показывает, как невероятно глубоко укоренилась практика такого вмешательства, как много могут позволить себе никем не контролируемые должностные лица, и трудно поверить, что ныне это уже изменилось.

Вероятно, лишь постепенное развитие правового порядка в СССР (т. е. принятие новых законов и правовых норм, связанных с правами и свободами граждан), укрепление атмосферы гласной критики, реальные успехи реформ и уверенность в необратимости политического курса на демократизацию создадут возможность поставить на повестку дня разрушение механизма политическо-полицейского надзора. Правда, сейчас уже раздаются голоса, что необходимо подчинить контролю выборных органов аппарат управления внешней политикой, руководство военной промышленности и армии, но до сих пор даже в общей форме не высказывалось требование подчинить такому контролю деятельность политической полиции. Однако без ликвидации политическо-полицейского надзора в его нынешних формах развитие правового государства в СССР невозможно.

Для трансформации советского государства в государство правовое необходимо также качественное изменение правового порядка, т. е. проведение правовой реформы. Всесоюзная партийная конференция в июне 1988 г. приняла резолюцию о правовой реформе как одной из главных задач совершенствования политической системы. Однако нечеткость формулировок этой резолюции свидетельствует, что в СССР приступают к правовой реформе, не сознавая, что именно должно быть изменено.

Резолюция концентрирует внимание, в первую очередь, на

организационно-технической стороне правовой реформы: наведение „порядка” и соблюдение иерархии в законодательстве, сокращение числа нормативных актов, в частности, различных ведомственных постановлений и инструкций и т. д. Что касается отдельных разделов права, то резолюция сосредоточилась, главным образом, на экономическом и, отчасти, административном праве, далее, на уголовном праве и судопроизводстве, и лишь в общих чертах — на некоторых изменениях конституции (компетенция национальных республик и областей, децентрализация полномочий вообще и т. д.). Кроме того, в резолюции поставлена задача эффективного правового воспитания общественности.⁹

Все это, несомненно, важные вопросы, которые необходимо решить в ходе правовой реформы в СССР. В частности, вопрос об иерархии правовых норм представляет собой при существующем правовом порядке весьма важную проблему. Дело в том, что в советской правовой практике не соблюдается принцип, согласно которому правовая норма высшего порядка определяет содержание всех соответствующих правовых норм более низкого порядка — например, постановлений правительства, различных разъяснительных предписаний и инструкций министерств и других учреждений, а также нормативных актов нижестоящих (республиканских, областных и местных) Советов и их аппаратов. На деле получается, что в густой сети предписаний и инструкций, издаваемых министерствами и другими учреждениями, часто теряется или меняется подлинный смысл закона — причем на практике действуют именно нормы низшего порядка, постановления и инструкции, потому что повседневная деятельность раздутых административных аппаратов руководствуется именно ими, а не общими формулировками законов. Действительным законодателем в СССР являются до сих пор министерства и различные административные аппараты, а на центральном уровне — правительство, а не выборные представительные органы. Таким образом, исполнительная власть стоит над законодательными органами и в том смысле, что именно правовые акты исполнительных органов определяют, что является и что не является „социалистической законностью”. Правовая реформа должна, в соответствии с последними пар-

тийными постановлениями, это положение изменить и гарантировать приоритет закона и законодательной власти.

Если это не удастся, то окажется под угрозой экономическая реформа. Например, новый закон о предприятии обеспечивает расширение экономической автономии предприятий, ограничивает приказные методы планирования, создавая тем самым базу для экономической реформы. Но этот закон обходится и блокируется сотнями нормативных актов, которые издают министерства и различные административные аппараты, якобы ради осуществления реформы, а на деле ограничивая ее и изменяя ее смысл.¹⁰

Все эти проблемы можно радикально решить, лишь если задачи правовой реформы будут формулироваться не как отдельные организационно-технические проблемы, а как принципиальные изменения в самом понимании права и его функций в жизни общества. Резолюция партийной конференции содержит общую формулировку такого рода, требуя последовательного соблюдения принципа: „разрешено все, что не запрещено законом”. Мы уже отмечали, насколько это важно в советских условиях, где по традиции действует противоположный принцип („запрещено все, что не было разрешено”). Но переход к правовому государству в условиях системы советского типа порождает гораздо более глубокие и сложные проблемы, чем те, о которых мы говорили до сих пор.

Размеры этой работы не позволяют провести всесторонний анализ официальной советской теории права. Отметим лишь, что до сих пор фактически преобладает теоретическое понимание права, сформулированное и насильственное внедренное в сталинские времена А. Я. Вышинским, который был не только генеральным прокурором на политических процессах в 30-е годы, но и главным теоретиком в области права. Его концепции считались единственно правильными и „марксистскими”. Противников же Вышинского в области теории права принудили замолчать (выдающийся теоретик права Пашуканис умер в тюрьме¹¹). В настоящее время Вышинского очень часто критикуют и прямо отвергают его многочисленные теоретические концепции как оправдание сталинского террора. Но это касается главным образом уголовного права и судебного процесса (например,

теории доказательств), тогда как вопросы так называемой общей теории права, то есть его определяющих положений, тоже сформулированных Вышинским, остаются в тени. Обращаясь к общей теории права, критики ссылаются на советских правоведов-теоретиков 20-х годов, в частности, на формулировки, основанные на анализе отношений партнеров по договору,¹² но принципиального и четкого отказа от общей теории права, созданной Вышинским, насколько нам известно, до сих не произошло.

В основном, критика теории права Вышинского направлена против формализма, против того, что он объявил правом признанную и санкционированную государством правовую норму. Эти замечания, безусловно, справедливы, но они не вскрывают всю вредность теории права Вышинского и не побуждают к формулированию новых теоретических концепций.

А. Я. Вышинский дал следующее определение права:

„Право есть совокупность правил поведения (норм), отражающих волю господствующего класса и установленных с помощью закона, а также обычаи и правила общежития, поддерживаемые государственной властью... с целью охраны, укрепления и развития общественных отношений, угодных и выгодных господствующему классу”.¹³

Такое понимание права Вышинский называл марксистским. Однако на деле такое определение находится в противоречии со взглядом Маркса на право как на общественное явление и на его функции. Маркс, Энгельс и Ленин никогда не разрабатывали теорию права; в их произведениях можно найти лишь отдельные замечания о праве как общественном явлении. На основе таких произвольно выбранных заметок никак нельзя составить хотя бы одно полноценное определение, которое можно было бы кодифицировать и объявить „марксистским определением права”. Нечто подобное, однако, попытался сделать Вышинский, выдав при этом совершенно одностороннее „определение”, сводящее право исключительно к набору норм, а по содержанию —

к „воле правящего класса”. Если уж поставить цель дать определение права на основании цитат из Маркса, Энгельса и Ленина, следовало бы учитывать несколько уровней, на которых они рассматривали право — не только как выражение „воли господствующего класса”, но и как „правила игры” при решении общественных противоречий, и как социологическое явление, и как общественные отношения, возникающие под влиянием принятых норм поведения и т. д.

Однако формулирование определений на основе цитат из „классиков марксизма” нельзя считать научным исследованием. Научный анализ права должен понять и объяснить это сложное и противоречивое явление в его взаимосвязях с другими социальными явлениями и включать основные функции права в жизни общества. Поэтому невозможно дать „определение права” в одном предложении; можно лишь осуществить целый ряд анализов различных аспектов права и его функций.

Понимание права, введенное Вышинским, совершенно не учитывало то обстоятельство, что далеко не все провозглашаемые государством правовые нормы можно и должно считать правом. У Вышинского нет критерия права, которое было бы вне самой государственной власти и ее воли.¹⁴ Так, например, известные „нюрнбергские законы”, согласно определению Вышинского, следует считать правом, пусть и не человеческим, а нацистским. Однако эти законы выпадают из контекста культурной традиции постфеодальной Европы, они находятся в противоречии с правом, это — не право, а нормы, противоречащие праву.

Я считаю, что создание в СССР правового государства ставит перед советской теорией права подобные вопросы. Однако дать на них ответ можно лишь при условии отказа от понимания права как комплекса государственных постановлений ради понимания права как комплекса отношений между людьми (юридическими субъектами) — совершенно определенного качества. Можно найти много интересного в теориях, которые издавна в СССР считались буржуазными и поэтому отрицались: например, в правовой концепции Канта и у последователей нормативной школы, исходивших из его идей, а также в различных социологических концепциях права и, наконец, в по-

нимании права как „правил игры”, где под „игрой” подразумевается процесс решения различных социальных противоречий.

Основатель кибернетики Норберт Винер высказал по поводу права следующее замечание: „Право — процесс, формирующий „связи”, объединяющие поведение индивидуумов таким образом, чтобы они могли достигнуть того, что называется справедливостью; чтобы устранить споры или, по крайней мере, иметь возможность рассудить их”.¹⁵

Не рассматривая это суждение как новое „определение права”, я все же считаю, что для понимания права имеет исключительное значение мысль о том, что право — процесс, в ходе которого регулируются отношения между конфликтующими сторонами так, чтобы противоречия между ними могли быть решены путем соглашения. Говоря о конфликтующих сторонах, мы, конечно, имеем в виду не только индивидуумов, но и социальные коллективы и группы, различные объединения людей (в экономической, социальной, политической и культурной областях).

Отыскивая путем теоретических рассуждений критерий права вне государственной власти, мы не должны забывать об этом аспекте проблемы. Одним словом, не каждый способ решения противоречий государством можно относить к области права. Обязательное условие правового процесса, с этой точки зрения, — что ни одна из спорящих сторон не должна быть уничтожена, ликвидирована; что в результате решения спора обе стороны должны сохраниться. Иными словами: правовыми являются такие отношения, при которых все участвующие стороны имеют достаточные гарантии, что они в будущем сохранят способность действовать как автономные субъекты. В случае, когда одна из сторон доводится до уровня объекта конфликта, вряд ли можно говорить о правовых отношениях.¹⁶ На наш взгляд, именно к такому результату приводит понимание права, предлагаемое Вышинским, согласно которому право является лишь специфической формой приказов или запретов государства („правлящего класса”). С помощью таких приказов и запретов государство (класс) направляет общественную жизнь в

самых различных ее областях, от экономики до межчеловеческих отношений (например, в семье и т. п.).

Право, по Вышинскому, является прежде всего орудием управления; социальные субъекты (группы, коллективы и отдельные лица) в конечном счете являются объектами этого управления. Правовые нормы обращены к ним, лишь как к исполнителям директив, предписываемых этими нормами, и они должны вести себя в соответствии с этими директивами и только в таких рамках право „уделяет” им роль субъекта, охраняя их индивидуальные интересы (права субъекта, например, в трудовом процессе и т. п.).

В лучшем случае, из этой концепции вытекает отношение к гражданину как к объекту заботы государства, т. е. права советских граждан понимаются, в сущности, как их требования к государству, которое своей властью и организационной деятельностью должно обеспечить удовлетворение или защиту их основных (в частности, социальных) интересов и потребностей. Такой подход лежит в основе формулировок о правах граждан в нынешней Конституции СССР (1977 г.), где все соответствующие статьи (40—46) построены по одному шаблону: „Граждане СССР имеют право (на труд, отдых, на охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, в случае болезни, право на жилище, образование и на пользование достижениями культуры) ... Это право обеспечивается... государством, проводящим политику, способствующую неуклонному росту производительных сил, расширению сети учреждений для лечения и укрепления здоровья, политику социального страхования, строительства жилищного фонда, школ и обеспечения общедоступности ценностей культуры”.

К правам советских граждан в политической сфере применяется другой трафарет. Такие права как свобода печати, слова, собраний и союзов (ст. 50 Конституции СССР) гарантируются лишь постольку, поскольку они находятся „в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя”. Свободу научных исследований и творческой деятельности в области искусства (ст. 47), а также право на создание организаций (ст. 51) Конституция обеспечивает лишь в том случае, если эти свободы „соответствуют целям коммунистического строительства”. Правда, проводимая ныне

политика реформ и гласности уже существенно изменила атмосферу общественной жизни, но в Конституции все еще сохраняются приведенные формулировки о политических свободах граждан. Кто решает, что соответствует „интересам народа” или „целям коммунистического строительства” — это, с точки зрения конституционно-правовой, неясно, но на практике установилась традиция, что эти вопросы относятся к компетенции партийного и полицейского аппаратов.

Для превращения советского государства в государство правовое в соответствии с традицией европейской цивилизации и политической культуры (кажется, Горбачев имеет в виду именно это), необходимо постепенное преодоление существующего понимания роли и значения права в обществе. Без этого невозможно решить практические проблемы правового порядка, вытекающие из этого общего понимания, в частности, изменить отношения между государством и социальными субъектами (общественными группами и отдельными гражданами).

Правовое государство, согласно традиции европейской цивилизации и политической культуры, должно прежде всего (но не только) обеспечить своей властью социальным субъектам (гражданам и социальным группам) такую степень автономии по отношению к другим социальным субъектам, особенно по отношению к самому государству, которая сохраняла бы им возможность самоуправления, самостоятельного принятия решений о своем поведении и выборе из разных возможностей поведения той модели, которая, с их точки зрения, является наилучшей.¹⁷ Это — исходный пункт, правило; исключения из него должны быть установлены законом. Именно в этом смысле следует понимать принцип, согласно которому „разрешено все, что не запрещено”.

Из этого вытекает целый ряд последствий, важный как для групповых социальных субъектов (например, право собраний и организаций важно для целых социальных групп, но также для предприятий и их трудовых коллективов), так, конечно, и для отдельных граждан. Политические права граждан не могут быть ограничены ссылкой на политический тезис („в соответствии с интересами народа”), а исключительно конкретными юридическими нормами (например, уголовного права,

которое устанавливает, какие формы поведения наказуемы (например, пропаганда расовой ненависти).

Эти проблемы, как известно, породили продолжающуюся уже долгие годы болезненную политическую и пропагандистскую дискуссию в связи с преследованием защитников прав человека в СССР, кстати через много лет после смерти Сталина, особенно в 70-е годы. Несоблюдение правовых норм на практике и преследование граждан за использование некоторых прав и политических свобод, закрепленных в правовых нормах, вовсе не является особенностью советской системы. Эти явления свойственны и другим диктаторским системам, а в какой-то мере и в иной форме и западным демократическим государствам. Но для советской системы эти явления особенно характерны и в прошлом и в настоящем по трем причинам. Сравнительно недавно, три десятилетия назад, советские лидеры, прежде всего Хрущев, раскрыли свойственное советской системе нарастание до чудовищных размеров противоречия между тем, что декларировалось, и тем, что на самом деле происходило: произвол, массовый политический террор, нарушения законов и преступления, совершаемые государством. Сталинский террор, прикрывавшийся лозунгом „демократии высшего типа“, якобы превосходящей формальное политическо-юридическое равенство на Западе, не мог не оставить глубоких деформаций. Во-вторых, поведение официальной политической власти долгое время после этих разоблачений (собственно говоря, до 1986 г.) укрепляло недоверие к ней. Советское руководство отрицало подавление политических свобод в стране даже в случаях, когда этому имелись неопровержимые доказательства; при этом любая критика из-за рубежа квалифицировалась как недопустимое „вмешательство во внутренние дела“. В-третьих, советским гражданам отказывали и в таких правах, которые, в соответствии с традицией западной цивилизации и политической культуры (не только демократической, но и социалистической), являются безусловными и элементарными для демократического образа жизни: право мыслить и действовать в соответствии со своими убеждениями и в тех случаях, когда это неудобно для политической власти и не отвечает ее требованиям.

Реформистская политика Горбачева в течение 1986—1989 гг. во многих отношениях изменила условия к лучшему: ослаблен политическо-полицейский надзор, практикой гласности открылся курс, который должен был со временем завершиться новой концепцией гражданских прав, соответствующей европейской политической и правовой культуре. Даже если развитие действительно пойдет по этому пути, в советских условиях это будет длительный процесс, в ходе которого придется преодолеть историческое наследство в данной области.

Очень сжато говоря, концепция гражданина как объекта государственной опеки при одновременном подчеркивании социальных прав (в особенности целых коллективов, „рабочего класса” и т. п.) и их противопоставление политическим правам и свободам (в особенности отдельной личности-гражданина), является плодом двух основных влияний: истории России и критики „чисто формального равенства” людей при капитализме Марксом и Лениным.

Правовой порядок в советском государстве после 1917 г. вырабатывался в условиях экономической, социальной и культурной отсталости. Политический феномен гражданина, созданный на Западе буржуазными революциями в США, Англии и Франции (а формировался этот феномен и в эпоху Ренессанса и протестантской реформации), в России отсутствовал как политически значимое явление. Русское общество не прошло пути идейного развития от Ренессанса к Просвещению — эти веяния затронули лишь интеллигенцию — узкий социальный слой. К тому же, в 1917 г. часть интеллигенции выступила против революции и поэтому ей огульно приписывалась контрреволюционность.

Официальная советская идеология (и прежде всего Ленин) почерпнула трактовки права из марксистской критики буржуазного общества XIX века. Эта критика и рассуждения о праве и его общественной роли заимствованы из полемики с теоретической концепцией просветителей о „естественных правах человека”. Маркс и марксисты подчеркивали, что для капиталистического общества характерно раздвоение человека на абстрактного, формально свободного и всем остальным равного гражданина, и на конкретного социального индивида,

который испытывает классовое неравенство и гнет даже в системе „гражданских прав и свобод”.

Марксизм подчеркивал, что субъектом исторического развития являются люди с определенной социальной характеристикой, главным образом крупные социальные общности — классы. Исходя из этого, марксизм считает самым важным историческим субъектом субъект коллективный, и это отразилось в марксистских идеологических представлениях о будущем социализма и коммунизма. Правовому положению отдельной личности в будущем социалистическом обществе марксизм не уделил внимания. Это объясняется первоначальным преобладанием в марксистской идеологии утопических представлений, что отмирание межчеловеческих отношений, связанных с товарным производством, деньгами, материальным неравенством, произойдет быстро, а также представлением о быстром отмирании государства и о замене политической власти отношениями самоуправления в рамках „добровольной ассоциации производителей”.

Эти умозаключительные представления о преодолении „чисто формального равенства” граждан после 1917 г. были внесены в общество, еще вообще не имевшее опыта этого, раскритикованного Марксом, формального равенства, в общество, не познавшее гражданского общества западного типа. Став официальной господствующей идеологией, эти представления никак не соответствовали отношениям в политической и правовой системе, которая определялась тогда необходимостью противостояния катастрофической экономической и социальной разрухе, угрожавшей революции. Реальные проблемы и потребности, а также традиции тогдашней России обусловили возникновение политической системы и правового порядка, который использовал в своих идеологических лозунгах многое из марксистского революционного словаря, но на практике формировал отношения между политической властью и людьми так, чтобы политическая власть любой ценой могла осуществлять свою волю (свои „планы” в социальной и экономической области). Так возникла авторитарная тоталитарная система, усугубленная, вдобавок, специфическими условиями личной диктатуры Сталина со всеми характерными для нее чертами.

Понимание права и его роли в обществе соответствовало этой действительности, но его идеологическое обоснование опиралось на произвольно выхваченные отрывки из марксистской критики „чисто формального равенства” граждан при капитализме и подчеркивало важность социальных и коллективных прав в противоположность „буржуазному индивидуализму”.

В сравнении с этим прошлым нынешняя политика реформ и ее ориентация на переход к правовому государству и на проведение соответствующей правовой реформы является, конечно, огромным прогрессом. Положителен и тот факт, что, судя по партийным резолюциям, достижение этих целей рассматривается как длительный процесс, а принимаемые сейчас меры — лишь как „начало большой работы” по проведению правовой реформы, которую предстоит осуществить в „ближайшие годы”. Основная проблема состоит в том, что новое понимание права и его роли в обществе может стать реально действующим фактором социального развития лишь в той мере, в которой будут развиваться новые экономические, социальные и политические отношения, соответствующие современному гражданскому обществу индустриального типа. В частности, отношение к отдельной личности-гражданину в рамках правового порядка будет определяться положением отдельной личности в экономических, социальных и политических отношениях и степенью ее автономности.

Для изменения отношения к индивидууму в рамках права нет необходимости в переходе к формированию экономических отношений на основе частной собственности на средства производства. Это может иметь решающее значение лишь для развития мелкого производства (например, в сельском хозяйстве, в сфере услуг и т. п.). Но для повышения действительной роли отдельной личности в экономических и социальных отношениях совершенно необходимо осуществление принципа прямой зависимости положения гражданина от его индивидуальных результатов работы (особенно с качественной точки зрения, т. е. от его инициативности, творческого подхода к труду и т. п.). Без общества, основанного на результатах максимально эффективной работы отдельных лиц, нельзя ожидать качественного изменения и роли права, в частности, в области прав и свобод граждан

как отдельных личностей. Конечно, это очень длительный процесс, связанный с успехом или неудачей экономической реформы и новой социальной политики в СССР.

Реальные изменения в сфере политических прав и свобод отдельного лица-гражданина также мыслимы лишь по мере развития данной институциональной системы, а не в противоречии с ней. Вряд ли предоставление гражданам права создавать организации, способные конкурировать с монопольной коммунистической партией на выборах, будет неизбежно гарантировать расширение их политических прав.

Более вероятно, что это произойдет по мере проведения реформ. При этом будут постепенно возрастать роль и значение каждой отдельной личности в рамках признаваемых системой объединений (начиная с трудовых коллективов, массовых организаций и кончая коммунистической партией) и одновременно будут возрастать возможности гражданина публично высказывать свое мнение (гласность в смысле свободы слова, критики и так называемого плюрализма взглядов).

Такое расширение автономии отдельной личности это уже не только словесное, но и действительное изменение положения граждан. Гражданин, вкусивший этой расширенной автономии, какое-то время спустя уже не будет пассивно соглашаться на манипулирование им со стороны политической власти, на ее „заботу”. Он будет развиваться как личность и требовать все больше автономии. Это, конечно, длительный процесс, полный противоречий и трудностей, но все же — процесс с реальной перспективой успеха.

Если рассматривать переход к правовому государству с этой точки зрения, то для его развития особенно важно качественно новое положение граждан как субъектов, которым закон гарантирует необходимую степень автономии. С этой точки зрения, главной гарантией успеха на пути к правовому государству является не только правовая реформа в том виде, в каком она осуществляется в СССР, а процесс, называемый в СССР политической гласности. XIX Всесоюзная конференция КПСС приняла отдельную резолюцию о гласности, в которой гласность определяется как реальная возможность для всех граждан и общественных групп получать любую информацию (кроме установлен-

ных законом государственных тайн) и, в то же время, как право и реальная возможность выражать свои взгляды, мнения, критиковать и делать альтернативные предложения в процессе принятия политических решений.

Так понимаемая гласность может стать тождественной свободе слова и свободе печати. Однако специфика гласности вытекает из истории советского общества и советской политической системы (например, в СССР массовые средства информации находятся в руках государства, официальных организаций, составляющих советскую систему и т. п.). В то же время уже сейчас, безусловно, преодолены первоначальные рамки гласности, которая вначале была лишь орудием критики, нужной политике реформ. Сейчас это уже процесс, открывающий возможности для все более широкого диапазона различных, зачастую нежелательных властям взглядов, что создало явление, называемое в современном русском словаре „плюрализмом взглядов” или прямо „свободой совести”. Подготавливается особый закон о „свободе совести”, который должен охватить не только свободу вероисповедания, но и свободу выражения немарксистских (т. е. неофициальных) взглядов, свободу художественного творчества и т. д., что выходит далеко за рамки формулировок Конституции СССР 1977 г.

Лишь в ходе всех этих процессов развития в советском обществе будет постепенно формироваться гражданин как автономная личность и его отношение к политической власти; этого социального явления в сталинистской системе совершенно не было. Только когда такая личность как социальное явление просуществует достаточно продолжительное время, можно будет провести действительный (а не в виде теоретической дискуссии) анализ сходств и различий западноевропейского и советского пути обеспечения прав человека, гражданских и политических свобод.

Январь 1989 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС, июнь 1988 г. — „Коммунист”, № 10, 1988, стр. 70.
- 2 Конституция РСФСР 1918 г.
- 3 Этим проблемам Ленин посвятил работы, написанные перед смертью (например, статью „Как нам реорганизовать рабкрин”).
- 4 Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС, „О демократизации советского общества и о реформе политической системы”, — „Коммунист”, № 10, 1988, стр. 69.
- 5 Там же.
- 6 М. С. Горбачев. Выступление на XIX Всесоюзной конференции КПСС. — „Коммунист”, № 10, 1988, стр. 31.
- 7 Этот принцип был принят, например, в Программе действий КПЧ, утвержденной 5 апреля 1968 г. (см. „Проблемы Восточной Европы” № 23—24, стр. 230—304.)
- 8 Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС, июнь 1988 г. — „Коммунист”, № 10, 1988, стр. 69—70.
- 9 Там же, стр. 87.
- 10 См., например, дискуссию о правовой реформе в: „Правда”, 2 августа 1988 г.
- 11 Об эволюции теоретического понимания права в СССР и о роли концепций А. Я. Вышинского см. подробнее Dieter Pfaff. Die Entwicklung der sowjetischen Rechtslehre. Köln, 1968.

- 12 См., например: В. Зоркин. Советская правовая доктрина. Опыт, уроки. — „Коммунист“, № 2, 1989, стр. 106.
- 13 Цитируется по англ. изд.: Wyshinski: The Law of the Soviet State N. Y. 1954, p. 50. Обратный перевод на русский язык.
- 14 Вышинский утверждает, что „право и государство нельзя рассматривать отдельно. Право получает свою власть и свое содержание (!) от государства”. Там же, стр. 5.
- 15 N. Wiener. Kybernetika a společnost. Praha, 1963, стр. 106.
- 16 При таком понимании права возникает целый ряд теоретических вопросов о сфере действия правовых норм, регулирующих отношения между отдельными учреждениями, в экономической области и т. п. Здесь не место для анализа этой сложной проблемы. С нашей точки зрения, смертный приговор является отрицанием правового отношения между государством и осужденным гражданином.
- 17 Социальный субъект приобретает способность действовать автономно, т. е. способность к самоопределению, не благодаря наличию правовой нормы, а при наличии условий для автономного поведения. Право должно создавать эти условия отдельным лицам, группам и организациям, гарантировать их и предотвращать ограничения или ликвидацию таких условий. Существенную роль играет при этом, например, свобода информации. К. Дейч говорит по этому поводу:
„Общество или содружество, основанные на самоуправлении, должны непрерывно получать полноценный поток информации: во-первых, информацию о внешнем мире; во-вторых, информацию о прошлом с широким диапазоном переходов и новых комбинаций; и, в третьих, информацию о себе и о своих составных частях. В случае продолжительного перерыва в потоке этой информации, ее подавления или засекречивания, общество станет автоматом или движущимся трупом. Оно потеряет контроль над своим собственным поведением, сначала на некоторых участках, а затем над самим собой в целом”.
- K. W. Deutsch. The Nervs of Government. Praha, 1971, стр. 215–216.

НЕФОРМАЛЫ И ВЛАСТЬ

(размышление о судьбах гражданского общества в СССР)*

В самом конце 1987 г. английские тележурналисты из „Темз телевижн“, делая в Москве фильм о перестройке, брали интервью у нескольких активистов неформальных групп. В столице только что отгремело „дело Ельцина“, в котором неформалы приняли деятельное участие (письма с требованием опубликовать материалы октябрьского пленума ЦК, сбор подписей под петициями „в защиту Ельцина“ на улицах, приведший, естественно, к конфликтам с милицией, и пр.). Отголоски этого первого выхода неформалов „в люди“ еще были свежи — и потому вопросы англичан выглядели естественными: что означает весь этот эпизод в контексте перестройки, каковы будут его последствия, что впереди? Ответы были дельные, уверенные, убедительные, не без некоторого, даже интеллектуалистского, изящества (дескать, „знай наших“).

Но вот телевизионщики задали совершенно простой, естественный вопрос: что изменилось в жизни простого „человека улицы“ за время перестройки?

Несмотря на добросовестное желание найти такие перемены, неформалы вынуждены были признать, что ни на рабочем месте, ни в очереди за колбасой, ни в автобусе в часы пик существенных перемен не произошло, а кое в чем стало и хуже.

И все же ощущение каких-то неясных еще, но необратимо начавшихся перемен (пусть еще робких, недостаточных, медлен-

* Статья печатается (с небольшими сокращениями) без ведома автора. — Ред.

ных), растворено сегодня в самом воздухе времени, в воздухе которым дышит и полумифический „человек улицы”, и вполне осязаемый столичный сноб-интеллектуал, и совсем уж конкретный шашлычник-кооператор, раньше всех сообразивший, как повернуться в этой перестройке. И дышится этим воздухом как-то легко, незаметно, быть может, потому, что впервые за жизнь нескольких поколений нас отпустил СТРАХ.

Тот самый страх, вошедший вместе с насилием в самую ткань общественных отношений, ставший тривиальной, как насморк, чертой нашей повседневности и мощнейшим регулятором социального поведения. Его, конечно, еще очень много в подкорке, этого *генетического* страха, проценты с которого позволяли командно-карательному монстру держать в узде колоссальную страну в течение нескольких десятилетий. Но он уже зримо стал отступать, съезживаться, терять свою всепроникающую силу.

То, что ребята из нескольких московских клубов говорили английским журналистам, как и то (а это важнее), что они *говорили* — само по себе было признаком этих мощных сдвигов в общественном сознании. (Хозяйка квартиры, где происходило интервью, мать одного из неформалов, еще ребенком пережившая в 1938 г. арест своего бесследно затем сгинувшего отца, страшно переживала: „А можно ли это делать?” По ее представлениям на такой „контакт с иностранцами” нужно было чье-то разрешение.)

Но еще важнее, что появился новый социальный субъект, который осознал себя независимым от властных структур государства, осмелившийся не только думать, но и говорить и действовать, не спрашивая на то ничего разрешения. Причем не в традиционной российской системе координат „власть — антивласть (оппозиция)”, в которой жили и классические диссиденты 70-х, и те, кто их преследовал, а совершенно в новом измерении, как свободная самоорганизация свободных индивидов, т. е. выстраивая свою позицию не в логике протеста против чего-то, а в логике позитивного самовыражения, независимого движения к независимо выбранным целям.

Их уже очень немало: по некоторым оценкам в стране более 30 тысяч различных по целям и предмету деятельности,

философии и идеологии, формам деятельности и самоуправления неформальных групп. „Экологи́сты” и „оздоровители”, „эко-культурники” и „фольки”, „мирники” и эсперантисты, правозащитные и правопорядковые объединения, целый спектр политико-идеологических групп (от национально-почвенных — до демо-либеральных), адепты самых разнообразных религиозно-философских учений, эстетических и этических систем (последователи Рериха и толстовцы, кришнаиты, дзен-буддисты, йоги), все оттенки субкультурных поколенческих и локальных групп (хиппи и панки, брейкеры и рокеры, „металлисты”, люберы и пр.) — их невозможно исчерпать перечислением многообразного богатства общественной жизни вне официальных структур. Столь же невозможно и описать их все в одном тексте.

Однако же возникают вопросы: „откуда что взялось”, где было все это многообразие раньше? Как к нему относиться? Что с ним будет дальше?

Подобный анализ тем более необходим, что новые явления социальной жизни являют обществу подчас столь отвратительный и угрожающий самим основам социальности лик, что вызывают мощную „отбойную” волну консервативно-охранительной реакции.

„Наци”, качки, „группировки”, десятки разновидностей панкующих и хипующих стай демонстрируют время от времени то дикие взрывы немотивированного насилия, то спазмы тотального социального нигилизма, отвергающего не только существующие формы общественной организации, но и любые культурные нормы, элементарную историческую мораль и сами биосоциальные основы жизни.

Десятки убитых и искалеченных в войне „группировок” в Казани, столкновения „люберов” и „металлистов” в Москве, „Коммуна свободной жизни” в лесу под Ригой, в которой несовершеннолетние девочки устраивают состязания в количестве „пропущенных” через себя партнеров. „Неформальности” сами по себе становятся фактором, тяжело травмирующим массовое сознание. Но при этом они еще встраиваются в угнетающую панораму социальных бед. Забрзжавший на горизонте кровавый кошмар межнациональных столкновений, зловещая тень мно-

жества новых сумгаитов... Массовые драки и культ насилия в армии, общий рост преступности и особенно новых ее видов, обнажившаяся глубина коррупционной гнилости госаппарата, внезапное знание о масштабах и жестокости отечественных мафий... И все это на фоне следующих одна за другой трагических катастроф (Чернобыль, „Адмирал Нахимов”, железные дороги), явной деградации экологической среды, растущей общей жестокости жизни...

Эти и подобные им составляющие социально-психологического климата в стране порождают явление принципиально нового характера. Назовем его условно — *СТРАХ-2*, или страх общества не перед тотальной и беспощадной властью, а *перед самим собой*. СТРАХ-2 — это и страх индивида перед неконтролируемыми и пугающими своими последствиями процессами в недрах социума, и страх общества перед своими детьми, перед призраком развала социального порядка, это ужас традиции, не узнающей себя в зеркале враждебной современности, это растерянность полной потери ориентации в обстановке, когда все пришло в движение и нет никакой надежной опоры... Нет ничего прочного — кроме традиционалистской идеологии „почвы”, старого как мир мифа об оставшемся в прошлом „золотом веке”, когда мир был устойчив, понятен, предсказуем:

Было время — и цены снижали,
И текли куда надо каналы,
И туда, куда надо — впадали.

Так услышал и сформулировал суть самого мироощущения ретрадиционализма человек, ставший великим чувствилищем советской жизни, — Владимир Высоцкий.

СТРАХ-2, порожденный широким диапазоном стихийных и непонятных социальных процессов, несомненно является одной из основ поднимающейся волны массового консерватизма, сопротивления не только идущей „сверху” модернизации, но и растущей „снизу” плюрализации социальной жизни. Корни его глубоки, они уходят в самую глубь российского исторического опыта — с его жестокими обвалами идущих сверху крутых преобразований, не считающихся ни с какой человеческой ценой, если речь идет о достижении державного величия. Каждая реформа таит в себе угрозу ухудшения тяжелого, но привычно-

го уклада жизни, прогресс ассоциируется прежде всего с его непомерной ценой, с бедами и лишениями...

В этом историческом опыте — сила низового народного консерватизма. Но в нем же и опасность для любой последовательной политики модернизации. При дурном обороте событий именно он станет основой „идеологии реставрации”.

Конечно, „почвенный” традиционализм далеко не однозначен, порой его яростная борьба с социальными язвами играет на оздоровление общественной атмосферы больше, чем любые демо-либеральные и прогрессистские проповеди. Можно сказать, что в отношении иных групп, инициатив, движений, он играет роль своего рода „сторожа” общественного мнения. Более того, оформившись как социально-групповой субъект, традиционализм вступает в отношения полемики с другими субъектами и сам способствует той самой плюрализации, которую критикует.

В то же время, обыденное сознание неаналитично по самой своей природе и, как правило, не проводит различий между различными (иногда даже и противоположными) проявлениями одного и того же (в его восприятии) социокультурного процесса. Негативные стереотипы восприятия неформального мира, сформированные шокирующими выбросами ассоциальности в молодежной среде, страхом перед начавшимся накалом межнациональных отношений, опасениями за судьбы социального порядка, автоматически переносятся на любую внеофициальную социальную самодеятельность. Этот неуловимый перенос восприятия осуществляется как бы по принципу „амальгаммы”: *любая* неформальная активность воспринимается как часть процесса плюрализации, „разбегания ценностей”, как угроза мифической органичности традиционного мироустройства. СТРАХ-2 начинает работать против складывания нового социального порядка, блокирует формирование структур гражданского общества.

В этих условиях разблокирование ситуации противостояния консервативного традиционализма прорастающим снизу элементам гражданского общества в СССР требует хотя бы приблизительного теоретического осмысления такого явления как „неформалы”.

Попробуем разобраться в историческом и социальном смысле этого поразительного и все еще непривычного для нас явления, „встроить” его в контекст меняющейся нашей жизни, посмотреть на него извне, так сказать в мировой перспективе, и изнутри, глазами самих участников.

* *

*

В том или другом виде „неформалы” существовали всегда (хотя сам термин вошел в наш оборот совсем недавно, в 1970-е годы). В строго социологическом смысле „неформальная группа” — это группа людей, которых связывают личные, не закреплённые организационно и не оформленные юридически связи. С этой точки зрения, три мушкетера или ватага Дубровского из знаменитой пушкинской повести — типичные неформальные объединения. Так же как бесчисленные „дворовые команды”, возрастные и локальные сообщества, группы, объединяемые интересами и занятиями. Подобные группы были, есть и будут в любом обществе.

Однако рассуждения такого рода, допустимые из западного далека, лишь частично отражают советскую ситуацию последних четырех-пяти десятилетий.

Конечно, и у нас подобные сообщества существовали и, более того, имели совершенно особый, ни с чем не сравнимый социально-психологический смысл. Ибо в России с ее традиционным культом государственной власти лишь в узком, соразмерном личности кругу „своих по духу” только и можно было убежать от давящей тяжести государственной мощи, стремившейся в крутые эпохи (а их не одна была в нашей истории) растворить в себе индивида. Лишь такой круг позволял выжить человеку в условиях, когда государственная машина стремилась к тотальному контролю над ним, над всеми сферами его жизни, включая порой даже интимные отношения с родными, близкими, с Богом, с самим собой, наконец).

Вспомним казанский круг собеседников профессора Штрума в гротесковской эпопее. Без него, без миллионов подобных кружков — чем была бы жизнь человека в жестокое

то время? А что такое круг общения А. Герцена, описанный им в „Былое и Думы”, что такое сообщество славянофилов в те морозные николаевские годы? Ведь это — самые натуральные неформалы: формальной организации у них нет, для государства они существуют лишь как объект полицейской слежки, но отнюдь не как общественный субъект.

На другом уровне локальные и субкультурные группы, моделируя определенные ситуации и отношения, позволяют вынести пустоту существования, тот „нестерпимый холод жизни”, который гениально угадал Пушкин и который сегодня стократ сильнее давит на декультивированную индустриально-провинциальным идиотизмом, лишенную традиционных патриархально-общинных устоев, но отнюдь еще не „социализированную до тла” этим идиотизмом юную личность где-нибудь в Казани или Алапаевске...

Это страшная, пугающая беспросветностью своей проблема, источник жестоких коллизий в молодежной среде — тем не менее не есть специфически наша, исключительно советская проблема. Где-нибудь на периферии Лос-Анджелеса, в предместьях Детройта, Ливерпуля или Сан-Паулу „холод жизни” с такой же непреложностью сбивает в группы подростков, выталкивает их на улицу или в подвалы, пускает по кругу бутыль или сигарету с „травкой”, заставляет пугать прохожих мотоциклетным ревом, хвататься за велосипедную цепь или кусок арматуры при виде чужаков. Это есть, и это, видимо, пребудет, ибо за каждый свой шаг по дороге истории человечество платит судьбами своих детей.

Пустившись по этой дороге, отбросив для скорости дававшие стабильность и устойчивость традиционные культурные нормы и институты, человечество зашаталось, не имея запасной точки опоры. Теперь для устойчивости, как велосипедисту, остается уповать лишь на все большую и большую скорость...

Но у нас есть и наш (специфический для того государственного социализма, который был в недавние годы стыдливо назван „реальным”) аспект „неформальности”, ибо те, кого мы называем неформалами, в большинстве случаев не были бы таковыми ни в одной из цивилизованных стран. Это звучит странно, но это так. Дело в том, что огромное количество „не-

формальных объединений являются таковыми поневоле. В действительности, многие из них совершенно осознанно стремятся к четкому юридическому (а значит — *формальному*) статусу как общественной организации — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Лишь ригидность нашей политической системы, сформированной на развалинах НЭПа в „славные тридцатые”, герметичность ее организационной структуры, оставляющей за рамками нормальной публичной жизни тысячи групп *самостоятельной общественной инициативы* (понятие, отражающее саму суть анализируемого явления), превращает в неформалов потенциально закономерные элементы общественно-политической системы. По внутренней логике развития общественных инициатив, „коммунарское движение”, например, развивавшееся в молодежно-комсомольской среде в 1960—1970-е годы, никак не должно было быть неформальным, поскольку стремилось к официальному признанию себя государством (стало быть — формализации). Неформальным его сделала именно позиция партийно-комсомольского аппарата, с болезненной подозрительностью воспринимавшего все, что росло из жизни, снизу, и не принимало прямого манипулирования этого аппарата. То же можно сказать и о многочисленных природоохранных и эко-культурных инициативах, сообществах альтернативной педагогики и медицины, политических и иных клубах, количество которых лавинообразно увеличивается с середины 1980-х годов.

Мы, современники, почти не осознаем того, чему являемся свидетелями. На самом деле, на наших глазах происходит процесс колоссального культурно-исторического значения — возрождение экспроприированного в 1930-х годах Административной Системой *гражданского общества*.

Правда, было ли оно у нас? Можно ли говорить именно о возрождении? В какой-то мере да, можно. Вспомним: ведь такое же колоссальное богатство социальной самостоятельности страна знала и в 20-е годы. Только в РСФСР, без Москвы и Ленинграда, на 1 января 1928 г. было зарегистрировано почти четыре с половиной тысячи добровольных обществ и союзов с без малого полутора миллионами членов! Эти объединения являлись

выразителями самых разнообразных культурных и духовных потребностей всех основных социальных групп.

Четко работал механизм легализации инициатив. Закон 1922 г. освободил административный надзор за общественными организациями к регистрации и утверждению уставов, т. е. был установлен нормативно-явочный порядок регистрации, при котором лишь несоответствие устава законам могло быть основанием для отказа в регистрации.

Однако стремительное и тотальное огосударствление общественной жизни после сталинского сокрушения нэпа оборвало этот взлет социально-культурной самодеятельности. В 1932 г. принимается новый закон (формально действующий и поныне), ставший основой фактического роспуска всех подлинно самодеятельных организаций и замены их фиктивно-общественными централизованными институтами, в действительности бывшими лишь „колесиками и винтиками” государственного аппарата. Волны репрессий одна за другой смывали пласты культурного слоя, накопленного страной, уходили в небытие краеведы, члены и организаторы творческих, просветительских, художественных, спортивно-физкультурных союзов, национально-культурных ассоциаций, вообще все те, кто не вписывался в жесткий, бесструктурный монолит казарменного идеала общественного устройства. В так устроенном обществе не могли выжить хоть сколь-либо независимые группы и личности: ни „Обэриуты”, ни „Соколы”, ни общество „Старый Петербург”.

Многообразная культурная жизнь общества как живого и суверенного организма, внутри которого протекают разнонаправленные и непредсказуемые процессы, была на десятилетия сведена к одному единственному варианту. Культурная политика государства стремилась заместить собой культурную жизнь общества, а все, что не поддавалось такому замещению, подвергалось „критике оружием”.

Конечно, культурная жизнь не замерла, но она стала носить характер либо запланированного продукта государственной политики, либо культурного сопротивления ей. Была утеряна спонтанность, независимость культуротворческих процессов, их плодотворная гетерогенность. Реальные процессы взаимодействия и борьбы творческих программ и эстетических систем были

сведены к централизованному управлению различными „цехами искусства” и к регламентации потребления произведенных ими продуктов в духе идеологической утопии „всеобщего управления”, уподобляющей и общество и культуру — фабрике.

Столь крутой вираж истории невозможно объяснить, конечно, лишь гениальным злодейством кучки политических авантюристов, маньякальной жестокостью „отца народов” или пороками идеологии как таковой.

Гиперцентрализм Административной Системы (и в политике, и в производстве, и в культуре) — определенным образом соответствовал задачам и самой атмосфере так называемого „догоняющего развития”, точнее — жесточайшему ее варианту — „развитию любой ценой”. Смысл такого развития: предельная мобилизация всех ресурсов страны и концентрация их на нескольких приоритетных направлениях — при практической консервации, а чаще — деградации всего остального массива общественной жизни. Все, что не соответствует задаче „догнать и перегнать”, что не работает на идеологию державного величия — не нужно, подлежит уничтожению.

Социальная самодеятельность народа при таком варианте развития не просто избыточна, она враждебна — и уничтожается вместе со своими носителями. Точно так же уничтожаются целые социальные группы, те или иные категории населения, которые не вписываются в жесткую схему пирамиды власти: субъект управления — государство в лице госаппарата; объект — общество в лице населения (а не народа!). Любая социальная группа, хотя бы потенциально могущая стать независимым от государства субъектом, должна быть уничтожена. Таким образом „устраняются” не только Обэриуты или „Соколы”, но и сама *возможность* их появления.

Колоссальная цена („издержки”!) такого типа развития требует идеологической сакрализации самих его целей: так появляется утопический социальный проект абсолютно однородного общества, полностью самоотожествившегося с государством, и потому — абсолютно управляемого, функционирующего как часовой механизм, не знающего внутренних драм, конфликтов, столкновений, интересов и групп.

Именно этот социальный идеал и стал главным идеологи-

ческим обоснованием „массового усреднения”, насильственного выравнивания общественного и культурного рельефа. Все утопии стоят друг друга, однако, как заметил философ, „дух утопии обретает плоть, лишь будучи оплодотворенным духом опричнины”. Поэтому неудивительно, что именно данный утопический проект общественного устройства был использован для запуска чудовищной технологии власти, обращающей общество в гигантский псевдоиндустриальный муравейник. Государство экспроприирует общество и обращает его в свой главный жизненный ресурс, в свой чернозем, гумус. В этот гумус ушли десятки миллионов Человеков, чьи жизни стали фундаментом муравейника. Сложилась, увы, не новая для России ситуация, о которой Ключевский сказал: „государство пухнет, а народ хиреет”.

Однако достигнутый столь насильственным образом монолитизм культурно-идеологической панорамы не мог продержаться долго, сам объективный ход истории разрушал искусственную однородность.

„Барьер индустриализации” был взят, нижние ветки „догоняющего развития” — пройдены. Сам рост масштабов и сложности производства, усугубленный начавшейся научно-технической революцией, неотвратимо влек за собой усложнение социально-групповой структуры советского общества. „Гонка за лидером” (т. е. за Западом) делала безнадежными попытки законсервировать общественные отношения, нивелировать образ мысли и стиль жизни различных социальных групп. Это и понятно: новые производственные задачи требовали не только новой техники и новых форм организации, но и *нового производителя* с совершенно новыми запросами, культурой, самой структурной личности. И новый производитель и новые задачи требовали иной оргструктуры, иной философии управления. История таким образом еще раз доказала свою склонность к мрачной (ибо не забудем об „издержках”) иронии. Модернизировать производство, сохраняя средневековую организацию общества и растворив личность во властных отношениях, оказалось невозможно.

Противостояние с Западом, которое было идеологической опорой сталинской „антиутопии у власти”, сыграло злую шутку

с ее творцами: стремясь воспроизвести технологию и уровень производства „там”, они медленно, но верно готовили почву для окончательного крушения социокультурного монолитизма.

Стремительное усложнение социально-экономической структуры общества в 1950—1960-е годы повлекло за собой неизбежную дифференциацию не только *интересов* социальных групп, но и их культурных потребностей, появление различных субкультурных и инициативных групп. В этом же направлении действовал и „демонстрационный эффект” иных обществ с их искусительным многообразием и убийственно высоким уровнем потребления (в том числе — и культурных продуктов). Этот эффект „демонстрации-имитации”, хорошо изученный „социологией развития”,* фильтровался в наш принудительно изолированный железным занавесом культурный порядок через „опережающие группы” (также социологический термин) — население столичных и портовых городов, через не контролируемые государством каналы информации.

Последнее нуждается в пояснении: с конца 50-х годов распространение коротковолновых приемников, а затем бытовых магнитофонов привело фактически к потере государством монополии на информацию вообще, и на демонстрацию образцов культуры в частности.

Магнитофон не мог не породить „магнитиздат”, а без последнего не появились бы и такие массовые культурные феномены как движение самодеятельной песни или рок-культура. С той же непреложностью пишущая машинка, например, не могла не породить новой волны давней российской традиции неофициальной литературы, „самиздат” как одну из форм культурной самодеятельности.

*„Эрика берет четыре копии
Вот и все. И этого достаточно.*

.....
*Есть магнитофон системы „Яуза”
Вот и все. И этого достаточно”.*

* „Социология развития” — междисциплинарное научное направление, изучающее закономерности социальной динамики в процессе социально-экономического развития, в особенности на материале развивающихся стран.

отметил новизну и необратимость этой ситуации великий бард удушливых десятилетий Александр Галич. Таким образом процесс внутреннего усложнения культурной панорамы общества, ее *плюрализация*, был запущен самым ходом развития. Пробудившаяся социальная активность первых поколений урожденных горожан, которым уже не нужно было бороться за физическое выживание на грани нищеты и голода, требовала соответствующих каналов самовыражения, прежде всего в сфере свободного времени.

Между тем, начиная с первых „стиляг” 1950-х годов, разнообразные культурные феномены (рок, диско, „дикий” туризм и самодеятельная песня, брейк, аэробика и т. д.) один за другим зарождались, развивались, достигали пика распространения за пределами сферы официальной культуры. Лишь меньшая часть из них находила себе в ней подобие экономической пищи, но обычно — лишь на излете своей популярности, на ниспадающей ветви развития.

Официальная „учрежденческая” культура оказалась совершенно неподготовленной к сколь-либо конструктивному диалогу с новыми социокультурными субъектами. Это и понятно, ведь она *для другого* создавалась. В недрах Административной Системы „учрежденческая культура” выполняла функции, конечно же, не канала самовыражения для тех или иных социальных групп, а почти исключительно — „трансляционной сети” для передачи на Место образцов культуры, создаваемых в Центре. Таким образом, все сводилось к пресловутой „просветительной функции”. Обратной связи не было, она была просто не нужна. Никакой иной „культуры”, кроме вырабатываемой на государственных „фабриках культуры”, и не могло, не должно было быть, поскольку она просто подлежала уничтожению.

В новых же условиях, когда социокультурные инициативы в массовом масштабе порождались самым ходом общественной эволюции, и их уже невозможно было прямо подавлять, сфера „официальной культуры” оказалась в ситуации „монополиста без монополии”, ее шестеренки начали прокручиваться вхолостую, она все больше обслуживала саму себя.

Тому есть несколько объяснений. Сердцевина „официальной культуры” — культпросвет с середины—конца 1960-х годов реально утерял роль лидера досуга. По технической оснащенности клуб все более уступает квартире, по уровню предлагаемых образцов — ТВ, по увлекательности — кино, а ничего специфически клубного, собственно самой атмосферы *клубности* современное культпросветучреждение (КПУ) предложить не может. „Общенческая” составляющая казенного клуба сводится на нет в его модели уже на стадии архитектурного проектирования (через набор помещений и оборудования), а затем всячески искореняется существующими управленческими отношениями, закреплёнными в нормативных документах, системе отчетности, критериях оценки работы, присвоения категорий и др.). Культпросвет, как и прочие подотрасли сферы культуры (исключение, быть может, отчасти составляет кино) совершенно не зависит от тех, кому, вроде бы, обязан служить. Публика никак не влияет ни на набор образцов, занятий, жанров, „живущих” в КПУ, ни на их качество. Оценка идет лишь сверху, по ведомственным отчетным показателям. Самодеятельное, самоорганизующее, самоуправленческое начало сведено в наших „фабриках культуры” к „нулю”, отторгается самой их природой.

И понятны поэтому причины, по которым пробудившаяся социальная активность, побившись лбом в эту стену, некоторое время обтекает эти в прямом и переносном смысле бастионы недвижимости, пробивает себе свое собственное *неформальное* русло.

* *

*

Очевидно, что проблема эта не только и не столько проблема сферы культуры. Корень ее — в том культе государственной власти, ее аппарата и ее производных, который все еще доминирует и в нашем сознании, и в нашей политической организации.

Не будем сейчас искать истоки этого культа власти — они глубоко во тьме российской истории. Важно зафиксировать, что государство, порожденное обществом для выполнения оп-

ределенных в общем-то ограниченных целях, фактически подмяло его под себя, встало *над* этим обществом. Сегодня, когда просыпающееся общество ищет себе адекватные каналы самоорганизации, оно сталкивается с тем, что вне официальных огосударствленных структур никакая деятельность не обеспечена правовой защитой.

Хотя статья 51 Конституции СССР декларирует право граждан на создание общественных организаций, сколь-либо эффективных законов, упорядочивающих кто, как и с какими целями может пользоваться этим правом — не существует, а юридические процедуры легализации (т. е. законного признания) инициатив не разработаны.

Существующая практика регистрации самодеятельных инициатив до сего дня основывается либо на сталинском законе 1932 г., либо на Положении о любительских объединениях, нормативном акте 1984 г., согласованном 12 ведомствами и не имеющем силы закона. Путь легализации инициативы в соответствии с этими документами столь мучителен, неопределен, открыт для ведомственного произвола, что подавляющее большинство групп предпочитает оставаться „вне закона”, т. е. в прямом и точном смысле слова „неформалами”.

Причины подобного состояния дел вполне прозрачны: отсутствие строгой юридической процедуры открывает полный простор для *разрешительного* права, когда для официального признания в каждом случае требуется специальное *разрешение* (либо в форме поручительства организации-учредителя, либо прямо через решение местных властей). Другими словами, „пускать” или „не пускать” — определяют сами местные власти по своему усмотрению. Понятно при этом, что если разрешение на официальную регистрацию, например, выступающей против строительства дамб в Финском заливе группы „Дельта” зависит от ленинградских властей, выступающих за дамбу, то эта группа никогда не получит легального статуса и будет обречена на существование в полутыме вне легальности.

„Разрешительное право” противоречит основополагающему постулату современного цивилизованного правосознания: *разрешено все, что не запрещено законом*. Согласно этому постулату именно закон, а отнюдь не усмотрение тех или иных

властей, определяет пределы допустимого разнообразия норм и отклонений от них в обществе. Правда, подобное отношение к закону характерно лишь для правового государства, которое мы лишь проектируем. Сегодня же у нас отношение управленческого аппарата к закону весьма специфическое: „сами принимаем, сами изменяем, сами решаем, следовать ему или нет”.

Конечно, решение „по усмотрению начальства” весьма удобно: можно игнорировать любую „неудобную” инициативу, не отвечать на ее обращения, не предоставлять ей помещения, разгонять „незаконные сборища” и „перекрывать кислород” тысячами других способов. Но эту группу нельзя ни распустить, ни запретить — именно потому, что, не будучи легализована, она *не существует* с точки зрения правовых норм. Единственная форма эффективной борьбы с ней в таком случае — прямые репрессии.

Однако политический курс нынешнего руководства основан, согласно партийным документам, на решительном отказе от применения силы в общественной жизни, на решении конфликтов исключительно *политическими* методами. Это означает, что, удерживая группы гражданских инициатив *вне* официальной политической структуры, государство лишает себя возможности и воздействовать на эти группы, на процессы, в них происходящие.

В самом деле, трудно ожидать, что та или иная группа (например, природоохранная или эко-культурная) распадется, если ее выгонят из ДК, „просигнализируют” начальству по месту работы ее участников и т. п. Наоборот, подобные меры, как показывают многолетние наблюдения, приводят лишь к росту сплоченности в группе, радикализируют ее, усиливают социально-критические, оппозиционистские мотивы в ее деятельности (в ущерб настроениям конструктивного сотрудничества, поисков взаимоприемлемых компромиссов).

Именно в пережатости практически всех легальных каналов самовыражения, представительства специфических групповых и социальных интересов (культурных, религиозных, экологических и пр.) и лежит главный мотор стремительной полити-

зации неформального мира. Любая попытка сформулировать и защитить свои групповые интересы традиционно воспринимается властными структурами как покушение на аппаратную монополию власти. Самая частная программа, самое конкретное и частное требование вызывает обвинения „в политической деятельности”, за которым в неглубоком подтексте — подозрение в антисоветизме. Так было и с ленинградскими эко-культурными группами, выступавшими против решения городских властей о сносе гостиницы „Англетер” (место самоубийства С. Есенина), и с Движением в защиту Байкала в Иркутске, и с общественным советом „За чистый воздух и воду” в Уфе... Количество печальных примеров подобного рода — неисчерпаемо, ибо список увеличивается с каждым днем.

Избирательная кампания по выборам народных депутатов 1989 г. расширила его поистине до всесоюзных масштабов: достаточно почитать только центральную прессу, чтобы увидеть, как душится низовая инициатива на местах, как отказывают инициативным группам в проведении собраний избирателей, не дают помещений, а уличные митинги разгоняют, опираясь на печально знаменитый закон о правилах проведения массовых мероприятий; как все-таки проведенные митинги объявляют неправомочными, выдвинутые же на них кандидатуры — не регистрируют... Центр не может защитить всех, а „правила игры” таковы, что слишком многое, почти все — в воле именно местных властей. Впрочем, избирательный закон — лишь частный случай отношений суверенной народной ИНИЦИАТИВЫ и властных СТРУКТУР, отношений неравных, несправедливых, разрушительных для нашего общего будущего.

Апелляция к закону почти ничего не дает, ибо местные суды, как правило, манипулируемы местными властями. Последнее слово всегда остается за партийной властью, т. е. решение принимается не легальное, а политическое. В отсутствие правовых механизмов защиты и путей реализации инициативы неформалам ничего не остается как также обратиться к механизмам *политическим*. Митинги, демонстрации, „живые блокады”, петиционные кампании — сегодня это живая общественная практика страны. В ней набирается опыт, выковываются, быть может,

первые за три-четыре поколения кадры „самодетельных политиков”.

Изменяется само отношение к политике как сфере человеческой деятельности, она *реабилитируется* в глазах общественного мнения. И если раньше большинство групп подчеркивало свой внеполитический характер, то теперь, наоборот, даже сугубо культурнические и экологические объединения говорят о своих политических задачах. В политике начинают видеть все больше не жестокое отчуждение общественной воли, не бездушную технологию принуждения, а возможность взаимосогласования разнонаправленных интересов, при помощи которого человек овладевает своей собственной социальной средой. В российских условиях, когда ни индивид, ни первичная социальная общность традиционно не была суверенным хозяином ни над одним элементом среды, пространства и быта, значение такого сдвига в политическом сознании невозможно переоценить.

Самоорганизуются инвалиды, начинают отстаивать свои права — это политика, самоорганизуются любители местной старины — это тем более политика. Вспомним, что эстонское общество охраны памятников было одним из источников и предтеч Народного фронта, а его попытки привести в порядок кладбище, на котором покоились павшие в советско-эстонской войне 1918 г., были восприняты властями как антигосударственный шаг! На этом маленьком примере видно, что в стране, где политикой является *все*, а власть проникает во все клетки не только общественной, но и личной жизни, *любое* общественное действие или движение *неминуемо* превращается в политическое.

Опасаясь политизации „самодельщиков”, управленцы, вряд ли осознавая это, сами *усиливают* ее буквально каждым своим шагом. Пришедшие на смену тотальному запретительству попытки отобрать „хороших” неформалов, „приручить” их (а то и просто организовать своих, „карманных” неформалов по принципу ведомственной принадлежности) оказались совершенно неэффективными.

С одной стороны, если „прирученные неформалы” теряют независимость, то они автоматически теряют и всякую привлекательность для публики. С другой стороны, даже созданные в недрах административного механизма с пропагандистской

целью объединения начинают этой независимости добиваться, ибо без нее в условиях конкуренции с другими группами — не выжить. Да и невозможно заменить никакими льготами и „подогревами” саму мотивационную основу самостоятельной активности — личностную ориентацию на самовыражение.

Естественным образом возникает вопрос о причинах подобной огнестрельной реакции аппаратной толщи на нарождающиеся снизу элементы гражданского общества. „Генетическая” версия, выводящая эту реакцию из исторических условий формирования советской бюрократии, представляется убедительной, но мало говорит о ее сегодняшнем социально-психологическом и организационном смысле.

Вопреки первому впечатлению, этот смысл далеко не однозначен. Конечно, для наиболее закорузлых слоев партийной, советской, комсомольской, профсоюзной бюрократии, не умеющих и не желающих учиться управлять по-новому, неформальный мир враждебен и опасен. В частности и потому, что впервые ставит вопрос о пределах *компетенции* и политической *компетентности* бюрократии. Воспитанные в культуре приказа и запрета кадры старой формации органически не в состоянии выдержать сколь-либо серьезной публичной политической борьбы, полемики, открытой дискуссии. Ни в Армении или Карабахе, ни в Москве „на пушке” (Гайд-парк на Пушкинской площади), ни в Ярославле, Куйбышеве, Южно-Сахалинске или Ленинграде — *нигде* бюрократия не смогла сколь-либо эффективно апеллировать к массам. Ее ораторы проваливались, ее программы отвергались.

Это не могло не вызвать спазм *комплекса политической неполноценности* аппарата, которые прорвались новой вспышкой запретомании, попытками решить важные политические проблемы методами аппаратной интриги и полицейского контроля. Эффективность этих методов в условиях вето, наложенного нынешним политическим руководством страны на открытые политические репрессии, очень низка.

Пути компенсации этой политической недостаточности неожиданно наметились в сфере идеологии — через сферу действия нового феномена общественного сознания, который мы обозначили как СТРАХ-2. Психолого-идеологический фон „но-

вого консерватизма” дал аппаратчикам-иммобилистам уникальный шанс установить негласный и неявный союз с широким и представительным национально-почвенным течением в общественной жизни.

Интервьюирование аппаратчиков среднего уровня в одном из крупнейших городов России дало поразительные результаты: была четко сформулирована установка на борьбу против всех независимых общественных движений, кроме тех, что основаны на национальной идее.

Будучи не в силах противопоставить сколь-либо глобальной альтернативы перспективе раскрепощения общества, консервативная часть аппарата пугает верховную власть угрозой потери контроля над ситуацией.

„Я не вижу в неформалах носителей плюрализма, — заявляет один из подобных идеологов на страницах академического журнала. — Неформалы — это альтернатива власти. Ее основа — это мелкобуржуазность в образе жизни и в мировоззрении, воспроизводящаяся в нашем обществе последние 20 лет. Это — идейно-философская эклектика. Лидеры неформалов — агрессивные посредственности, потерявшие возможность утверждать себя на путях конституционного действия. Поэтому им свойственен экстремизм. Сегодня, даже если они говорят, что их движение — это мирная альтернатива, на самом деле — это борьба за власть. Я знаю одну динамику власти: добровольно ее не отдавал и не отдает ни один правящий институт”.*

Что это — реальный страх или попытка запугать других? А может быть, и то, и другое?

В любом случае, перед нами яркий образчик традиционалистского *репрессивного мышления*, специфическая проекция СТРАХА-2 на властные структуры.

Так СТРАХ-2 сплотил почвенный традиционализм в обществе и аппаратную „почву” бюрократии. Не следует, конечно, преувеличивать силу и сплоченность этого союза, но неслучайно и то, что именно *определенные* писатели встречаются постоянно с *определенными* партийными руководителями.

* „Социологические исследования”, 1988, № 5, с. 13.

И все же новые правила игры требовали нового инструментария, в частности, правового.

Стремление создать новую правовую основу для регулирования социальной самодеятельности, не поступившись при этом ни каплей своей привычной монополии власти, породило созданный келейно, втайне от общественности проект закона об общественных организациях, в котором регистрация по-прежнему оставлялась „на усмотрение” местного начальства, а организации-учредители могли в любой момент распустить непослушные объединения.

Правда, времена уже изменились, и, получив „по своим каналам” один из вариантов этого законопроекта, несколько московских клубов организовали зимой 1987—1988 г. публичное его обсуждение, а затем начали широкую кампанию протеста против безгласной подготовки важнейшего политического решения. Параллельно неформалы подготовили свой, альтернативный проект закона, заложив в него целую систему гарантий независимости инициативных групп от капризов начальственной воли. Им удалось заблокировать принятие антидемократического варианта закона, что, несомненно, было доказательством растущего влияния общественности на характер принимаемых решений.

Не следует, конечно, заблуждаться относительно масштабов этого влияния. Лето и осень 1988 г. показали, что сама *технология* принятия решений по-прежнему остается у нас аппаратной, внепубличной, а самая распространенная реакция аппарата на спонтанную социальную активность — „схватиться за кобуру”. Печальный конец московского Гайд-парка на Тверском бульваре, митинги и демонстрации, запрещенные в десятках городов страны местными властями в соответствии с негласно, без какого бы то ни было обсуждения принятыми указами — все это, увы, говорит о том, что мы сделали лишь один, самый первый шаг к гражданскому обществу и совершенно не гарантированы от драмы попятного хода.

И все же итоги фактически первого выхода неформалов на свет публичности можно считать успехом. Продемонстрировав завидную настойчивость, они навязали свою „легальность”

той части аппарата, которая не желает модернизироваться и учиться управлять по-новому.

В то же время нужно понимать, что успехи подобного рода, как бы ни льстили они самолюбию „самодельных политиков”, значат весьма немного, если не происходит *цивилизация сознания* самих управленцев. А она, в свою очередь, становится возможна лишь там, где инициатива, с одной стороны, и власть — с другой, преодолевают традиционный российский стереотип *противостояния*, конфронтации. Настоящая работа по намыванию культурного слоя гражданского общества начинается лишь тогда, когда обе стороны перестают „перетягивать канат”, одни — в сторону тотального запретительства, другие — в сторону безответственного обличительства, деструктивной критики безо всякого учета реальности.

Что говорить, традиционный раскол на общество и государство, общественность и аппарат, интеллигенцию и бюрократию накопил на обоих полюсах значительный потенциал недоверия и враждебности. В этом неформалы, конечно, плоть от плоти породившего их общества: нетерпимость и отсутствие навыков диалога с властями (даже когда нечастая возможность его появляется), презумпция виновности в отношении любого шага аппарата, почти повсеместное отношение к политике как к сфере свободного выбора решений в соответствии с теми или иными идеалами и, соответственно, полное непонимание внутренней логики реальной политики как искусства *возможного* в данной ситуации.

Все эти черты, родовые пятна длительного полуподпольного существования, воспроизводятся и в отношениях между группами, клубами, направлениями. Собственно, ведь и о движении неформалов говорить сегодня нельзя, ибо то, что существует, скорее можно назвать „неформальным миром”. Периодически вспыхивающие конфликты между группами, борьба за помещения, за популярность, за выход к прессе, взаимная подозрительность и ревность — все это характерные черты этого мира, как, впрочем, и мира формальных организаций...

Между тем, главная проблема создания гражданского общества — становление множества параллельных, независимых друг от друга и от государства организационных структур —

остается нерешенной. Самоорганизующиеся группы граждан все еще не признаются субъектами правовых и политических отношений, а стало быть беззащитны перед госаппаратом. Эту проблему неформалы, как легко понять, ощущают на себе острее, чем кто-либо другой. Как решить ее? Как заставить прислушиваться к себе?

Конечно, первый ответ очевиден: надо стать сильными. Сила — в единстве и солидарности, стало быть — надо стать *едиными!*

Еще год-полтора назад неформалам казалось, что достаточно им объединиться — и они уж если не горы свернут, то, по крайней мере, „клячу истории” сильно поторопят. Об этом много говорилось на их первой информационной встрече-диалоге „Общественные инициативы в перестройке”. Именно сознание значимости происходящего и общности задач заставило тогда по разным причинам далеко не симпатизировавшие друг другу группы выдвинуть одним из принципов отношений — *безусловную антибюрократическую солидарность*. Так, из этого корня родились проекты Федерации Социалистических общественных клубов (ФСОК) и более широкой Ассоциации Кольцо общественных инициатив (АКОИ).

ФСОК действительно была образована, но так и не стала сколь-либо устойчивой и действующей структурой, а АКОИ осталась лишь витающей в воздухе, но нереализованной идеей.

Прошел год. События нашей политической жизни обогнали не только процесс самоорганизации инициативных групп, но и — самое главное — готовность всех общественных институтов и структур (и формальных, и неформальных) принять в себя волну низовой политической активности. Клубная форма оказалась тесна для нее как таковая, никакие союзы и федерации клубов уже не вместили бы ее в себя.

С другой стороны, и сами неформалы на собственной шкуре убедились, что без масс любые их призывы и обращения к власти предрежащей бюрократии (и в ведомствах, и на местах) останутся гласом вопиющего в пустыне. Стать субъектом общественной жизни оказалось возможно лишь вместе с массами. Так родилась идея Народного фронта в защиту перестройки.

Впервые действительно массовое движение под таким

названием появилось и добилось официального признания в Эстонии. Но эстонское движение носит характер национального возрождения, его массовость означает не что иное как осознание эстонцами остроты своих национальных проблем.

Другое дело, когда массовое движение возникает в гораздо более сложной, противоречивой, неоднозначной ситуации российской провинции со множеством локальных специфических интересов, требований, настроений. Здесь трудно представить столь монолитное единство, какое демонстрируют сегодня армяне или эстонцы. Однако острота экологических, продовольственных, правозащитных и иных социальных проблем здесь отнюдь не меньше. Именно поэтому инициативные группы НФ, едва возникнув, смогли организовать в Ярославле, Горьком, Минске, Кишиневе, Южно-Сахалинске митинги по несколько тысяч человек, а в Куйбышеве, где общественность резко выступила против местного партийного руководства, митинги собирали по несколько десятков (по оценке участников — до 100) тысяч человек.

Кое-где, в частности, на Сахалине и в Куйбышеве, эти выступления заставили первых руководителей, вызвавших яростную критику граждан, уйти в отставку. Зато в других местах местные власти начали „давить” саму возможность независимого политического действия с помощью запретов (точнее — „отказов в разрешении” на митинги), порой под самыми экзотическими предлогами. К большому сожалению, Указ Президиума Верховного Совета СССР № 505 дал им в руки соответствующий инструмент.

Давление местных властей на низовых активистов перестройки, не защищенных ни громкими именами, ни столичной прессой, совершенно беззащитных фактически перед бюрократическим произволом провинциальных „городничих”, вызвало вполне предсказуемую реакцию: „возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке”.

Группы практически всех ориентаций, независимо от идеологических различий и отношений между собой оказались заинтересованы в существовании общей в масштабах страны легальной и политической „крыши”. В худшем случае, годился и просто столичный прецедент, поскольку сам гипер-

централизм российской политической культуры давал основания активистам на местах требовать того же, что „разрешено в Москве”.

В этих условиях появление нового общественного образования, которое могло бы политически легитимизировать непризнанные гражданские инициативы, было фактически делом предрешенным.

Региональные инициативные группы Народного фронта под разными названиями появились в десятках городов страны — от Бреста до Сахалина.

В Москве, в свою очередь, возник „оргкомитет НФ”, который, целиком воспроизводя „феномен столичности” нашей политической культуры, пустился „координировать” и „централизовывать” неформалов — сначала в городе, а затем по стране.

Сама история оргкомитета — прекрасная модель для отслеживания норм политической культуры в неформальном мире. С самого начала встала — и не была разрешена — проблема делегирования комитету полномочий от групп, не была разработана процедура принятия решений, не было ясности и в отношении идеологических границ НФ (т. е. какие группы могут, а какие — не могут входить в него). Слабое владение демократическими процедурами, а порой и отказ принять их „неслужебную” самостоятельную ценность резко обострили конфликт между „централистами” — сторонниками сильного, сплоченного, иерархизированного и управляемого движения — и их противниками (в основном из среды наиболее сильных и устойчивых клубов).

Интересно отметить, что „централисты” в своей борьбе в Москве опирались как на наименее политизированные группы, так и на только что возникшие мельчайшие „фантомные группы”, вся задача которых состояла зачастую в получении равного с большими клубами голоса. Когда с помощью этих групп „централистам” удалось обеспечить большинство в оргкомитете, пять наиболее авторитетных и устойчивых клубов покинули его.

Однако полемика и борьба двух тенденций в общественном движении на этом не закончилась.

В августе 1988 г. представители региональных групп НФ собрались в Ленинграде для того, чтобы попытаться, наконец, объединиться во всесоюзном масштабе. Это, как всегда, оказалось непросто.

Привычная, классическая уже борьба между сторонниками сильного центра, жесткой и эффективной структуры — с одной стороны, и принципиальными сторонниками децентрализации общественной жизни — с другой, привела к тому, что они и на этот раз не смогли договориться об организационных формах объединения. В то же время сами по себе принятые резолюции и налаженные контакты, договоренности об обмене информацией и о координации деятельности говорят за то, что в той или иной форме массовое движение за перестройку начало складываться. У него свое, пусть непростое, но несомненно большое будущее. Когда это будущее состоится, о движении гражданских инициатив будут писать, быть может, как о равноправном элементе политической системы, вне связи с явлением „неформальности”. Но это будет уже совсем другой сюжет.

ПОЛОЖЕНИЕ В ВЕНГРИИ

Последнее десятилетие экономическая, социальная и политическая обстановка постоянно ухудшалась, но медленными темпами. В последние три года темпы упадка ускорились. В связи с этим стало всеобщим требование отставки Яноша Кадара, который в течение своего долгого правления оказался бессильным осуществить необходимые перемены. И внутри партии, и вне ее пробудилась надежда, что реформистские усилия Горбачева в СССР создадут политическую и международную атмосферу для возобновления реформ, начатых Кадаром на заре его правления. Однако ничего подобного не произошло, и в результате быстро снизился и личный престиж Кадара, и престиж Венгерской социалистической рабочей партии (ВСРП). В партии распространились сомнения, разочарование, участились выходы из партии.

В такой ситуации в мае 1988 г. ЦК ВСРП созвал внеочередной пленум. На этом примечательном пленуме Кадар получил „пинок вверх”: он был назначен на специально созданный для него пост председателя партии, полномочия которого определены не были. Кадар известен как политическая лиса, и на своем новом посту он может совершить немало проделок. Однако, все его сторонники и ставленники были практически изгнаны из политбюро, и туда вошло много новых людей. Первым секретарем стал бывший премьер-министр Карой Грос. Общество обнадежили тем, что сторонники реформ — Имре Пожгай

и Реже Ньерш (вдохновитель прежних экономических реформ) стали членами политбюро и членами правительства.*

Внеочередной пленум породил всплеск надежды, что само руководство ВСРП немедленно начнет активизировать процесс реформ, однако надежды эти вскоре угасли. Руководство скорее отдает дань реформистской риторике, нежели готовит коренные перемены. В парламенте лежат многочисленные проекты реформ, включая новую конституцию, но с этим нерешительно медлят, а тем временем экономический, социальный и политический кризис углубляется. Есть опасения, что кризис может привести к взрыву, в котором будут утрачены даже прежние незначительные достижения. Однако очень важно, что сейчас, то ли в силу обстоятельств, то ли намеренно ВСРП и правительство исключительно терпимы к политической и социальной оппозиции, очень разросшейся в Венгрии. Множество организаций, как давно действовавших, так и только народившихся, создают чрезвычайно многоцветную гамму проектов реформ. Чтобы дать представление о разнообразии общественной жизни, рассмотрим несколько ее аспектов:

I. Политические и общественные организации.

II. Печать.

III. Экономика.

В заключение мы попытаемся дать синтез всех этих аспектов. Обзор программ ведущих организаций дает представление об образе мыслей и философии их участников — документы говорят сами за себя.

I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В течение нескольких последних лет возникло множество групп демократической оппозиции, особенно — за последние два года. Их можно разделить на следующие группы:

возрожденные партии политической коалиции 1945—1948 гг.;

крупные общественные объединения с тенденцией превращения в политические партии;

группы, объединенные общими интересами;

группы по специальным проблемам;

клубы.

* В конце июня 1989 г. Ньерш стал главой нового руководящего органа партии — Президиума ВСРП. — Ред.

Похоже, что среди возрожденных политических партий эпохи 1945—1948 гг. наибольшей жизненной силой обладают социал-демократическая партия и партия мелких сельских хозяйств. Эти и другие партии, вроде национальной крестьянской партии (партия Петефи), считают, что они не нуждаются в разрешении на свою деятельность, ибо они никогда не были формально распущены. Время покажет, насколько они эффективны и смогут ли они привлечь массы. Вероятно, социал-демократическая партия, членство которой в Социалистическом интернационале сохранили ее изгнанные из страны лидеры, имеет наибольшие шансы возродить свое бывшее значение.

Из крупных политических объединений подробнее будут рассмотрены Демократический форум (МДФ) и Союз свободных демократов (СДС). МДФ — массовая популистская организация, привлекавшая наибольшее число сторонников. Другое объединение — СДС — группа интеллектуалов, весьма преуспевающая в самиздате, но гораздо менее привлекательная для масс.

Среди групп по интересам будет описан Союз молодых демократов (ФИДЕС), так как он привлек внимание широких слоев населения, и Демократический профсоюз научных работников — первая крупная независимая профсоюзная организация.

Группы специальных проблем включают Комитет исторической справедливости (который отстаивает интересы жертв режима Кадара, живых и мертвых, и борется за их реабилитацию), „зеленые”, Комитет борьбы против энергетического проекта Бош—Надьмарош и многие другие.

Большинство клубов — это маленькие объединения активистов реформ, однако клуб имени Ференца Мюнниха объединяет политиков-сталинистов, бывших офицеров тайной полиции и другие реакционные элементы.

Венгерский демократический форум (МДФ)

МДФ зародился как кружок писателей в сентябре 1987 г. и с тех пор его влияние и масштабы непрерывно растут. В небольшом городке Лакитеке (к юго-востоку от Будапешта) 27 сентября 1988 г. состоялся митинг, на котором присутство-

вало 150 человек — все активные участники венгерской оппозиции. Собравшиеся решили создать независимую организацию, которая, на основе свобод, гарантированных конституцией, со всей ответственностью будет выявлять и обсуждать проблемы, влияющие на жизнь венгерского народа. Было решено, что если и когда организация наберет 10 тысяч активных членов, будет созван учредительный съезд, который определит форму будущего движения, его устав и программу. Такой момент наступил, и 11–12 марта 1989 г. в Будапеште состоялся первый съезд МДФ. Он проходил в университете имени Карла Маркса. Характерно и судьбоносно, что как раз в университете, носящем имя Карла Маркса, признанный лидер движения Шандор Жери сказал аудитории, что „реальные перемены могут быть достигнуты, только когда память о большевизме и о том, что называют гнилым социализмом будет смыта в Венгрии и в умах ее граждан”.¹

На съезде присутствовали 750 делегатов, представлявших 13 тысяч членов форума. Проект устава, обсуждавшийся на съезде, провозглашал намерение освободить Венгрию от пережитков сталинизма и мирным путем осуществить коренные перемены. Народ нуждается в новой политике, ибо „ему нужны новые права, новые институты и новые возможности”, — заявил один из руководителей МДФ Золтан Биро. Однако тон и резолюции съезда были примирительными: движение хочет быть партнером правящей партии, а не заменой ее. Оценивать результаты съезда еще рано, но значение МДФ и провозглашенной им политики можно охарактеризовать следующим образом:²

- МДФ — крупнейшая общественно-политическая организация Венгрии;

- она стремится действовать мирными средствами в рамках действующей конституции;

- особенно внимательно участники МДФ изучают ход событий в послефранкистской Испании, где тоталитарный режим мирно сменился демократией, без репрессий и актов мести. Лидеры МДФ, несомненно, сознают различия экономических систем Венгрии и Испании;

- МДФ стремится не только устранить пережитки сталинизма, но и открыть новые горизонты путем создания плюра-

листического общества с демократическим парламентским управлением. Однако участники МДФ готовы к компромиссу с режимом ради мирной, без противостояний, эволюции в направлении демократии.

МДФ — скорее массовое движение, включающее разномыслящих людей, нежели организация, отстаивающая интересы какого-либо социального слоя. МДФ занимается проблемами, касающимися народа в целом, и готов сотрудничать с оппозиционными группами, отстаивающими интересы более четко определенных общественно-политических образований.

МДФ разрабатывает скорее программу „массового движения”, нежели управления. Эта программа, как предполагается, не будет входить в детали устройства общества и хозяйства, а также решения накопившихся социальных проблем, ибо у МДФ нет ни полномочий, ни сил для осуществления каких-либо реформ. Однако его участники ведут поиски эффективных путей и средств решения этих вопросов. Организация намечает решения на долгосрочную перспективу. Например, в экономике МДФ предлагает изменения в направлении рыночных отношений. Однако, движение не поддерживает стремление либералов к неограниченным экономическим свободам, ибо, по мнению МДФ, экономические реформы нельзя рассматривать отдельно — они должны быть увязаны с решением социальных проблем.

Значительное число членов МДФ видит его в будущем как политическую партию. Писатели, поэты и художники, входящие в МДФ, предпочитают сохранить его как массовое движение, цель которого — моральное и интеллектуальное возрождение. Специалисты по политическим наукам, историки, социологи, наоборот, хотели бы преобразовать его в политическую партию, но они рассматривают переход от массового движения к структуре политической партии не как самоцель, а как возможный шаг, если общественность потребует этого.

МДФ испытывает финансовые трудности. Регулярно собираемых членских взносов недостаточно, чтобы покрыть расходы движения.

МДФ готовится к участию во всеобщих выборах, дата которых еще не установлена.

МДФ поддерживает журнал „Хитель” („Доверие”), выходящий раз в два месяца,³ но этот журнал не является его официальным органом, и форум испытывает острую нужду в собственной печати.

Союз свободных демократов (СДС)

Привлекательность СДС для масс значительно меньше, чем МДФ, но Союз — привлекает горячую симпатию самых утонченных умов страны, подлинных демократов, отважных активистов оппозиции, создавших мозговой центр для решения политических, экономических и социальных проблем страны. Большинство лидеров Союза в 1956 г. были слишком молоды, чтобы сохранить личные воспоминания о революции. Для них величайшим и жестоким потрясением было подавление движения за реформы в Чехословакии в 1968 г. Самая первая совместная акция небольшой группы, постепенно разросшейся в нынешнюю массовую организацию, была связана с Прагой: 9 января 1977 г. более тридцати представителей интеллигенции подписали и направили письмо Павлу Когоуту, представителю Хартии—77 по связи с общественностью. Это был протест против преследований членов Хартии. Письмо заканчивалось словами: „Мы убеждены, что защита прав человека и гражданина — общее дело всей Восточной Европы”. С тех пор одной из наиболее привлекающих симпатии черт этого движения является его солидарность с демократическими чаяниями и демократическими движениями других стран Восточной Европы.⁴

Небольшая группа, составившая письмо, выросла численно, и круг ее деятельности расширился. Ее участники продолжали акции в поддержку Хартии—77, а затем стали критиковать и политическую ситуацию в Венгрии. Движение сделало решительный шаг к организационному оформлению. Самый решительный шаг был предпринят 8 сентября 1987 г., когда в парламент было направлено письмо ста членов демократической оппозиции. Письмо это было, по существу, манифестом о неэффективности и коррумпированности правительства с предложениями об исправлении положения. Далее, 17 марта 1988 г. был опубликован призыв к созданию Объединения свободных инициатив

(СКГ). В документе, перечислявшем основные провалы правительства, так объяснялась необходимость создания СКГ: „Мы рассматриваем СКГ как открытый форум сотрудничества и приглашаем всех, кто разделяет наши взгляды, присоединиться к нам, подписав документы в его поддержку, участвуя в дискуссиях, присоединяясь к нашим мероприятиям или хотя бы следя за ними”. Уже в этом заявлении содержались многие идеи „Декларации о принципах”, выпущенной 24 октября 1988 г.

Таким образом, СКГ начал свою деятельность как свободная федерация групп, клубов и отдельных лиц. Чтобы не связывать себя путами организации и возникающих при этом административных проблем, члены СКГ полагали более удобной связь через общие идеи и цель, а не через формальную организацию. Однако с ускорением темпов событий в Венгрии терпимость к оппозиции со стороны режима повысилась, и соответственно расширилась сфера потенциальной активности оппозиции. Это поставило лидеров СКГ перед необходимостью наладить более тесные связи центра с членами Объединения, как индивидуальными, так и коллективными. Быстрая консолидация МДФ в строго организованное объединение вызвало чувство соперничества; в итоге было решено, что Конфедерация, ранее называвшаяся „Объединение свободных инициатив”, должна принять форму единой организации. 13 ноября 1988 г. был созван первый учредительный съезд, проходивший в будапештском театре „Юрта”, и „Объединение” было преобразовано в Союз свободных демократов (СДС).

Декларация о принципах⁵

В ходе подготовки к учредительному съезду, 24 октября 1988 г. был опубликован проект „Декларации о принципах”. Он был утвержден съездом 13 ноября и стал официальным документом СДС. В декларации говорится:

„Мы — последователи венгерских демократов — всех тех, кто хотел сделать политической реальностью принципы, оставленные нам в наследие Французской революцией. Мы хотим вновь стать частью той Европы, которая за последние двести

лет достигла большего прогресса, чем человечество за все прежние времена. Мы хотим независимого, демократического, процветающего государства.

Мы — порождение эры Великих реформ (1825—1848 гг.), которая вывела Венгрию из средневековья и заложила основы современной нации. Наши предтечи — Иштван Сеченьи и Лайош Кошут...⁶

Кроме того, мы наследники:

венгерских либералов — таких, как Йозеф Отвош;

буржуазных радикалов — таких, как Оскар Яси;

европейских и венгерских социал-демократов — таких, как Анна Кетле;

венгерских популистов — таких, как Иштван Бибо, и Золтан Сабо;

внутренней оппозиции Имре Надя в партии 1953—1956 гг.;

тех, кто как Ференц Донат, заявляет о солидарности с Хартией—77.

Мы, продолжатели борьбы, длящейся уже десять лет, — борьбы венгерской демократической оппозиции за осуществление прав человека и политических прав, гарантированных конституцией.

Вехами движения и образцами, которым надлежит следовать, мы считаем три венгерских революции — 1848, 1918 и 1956 гг., ибо:

в 1848 г. был положен конец рабству и учреждено народное представительство;

в 1918 г. были провозглашены политические свободы, освобождение рабочего класса и первая земельная реформа;

в 1956 г. воля венгерского народа материализовалась в четкой форме плюрализма — в многопартийной системе и самоуправлении; в полно выраженной форме независимости малой нации — нейтралитете.

Однако до настоящего времени не реализованы полностью ни программа народного представительства 1848 г., ни совокупность политических свобод, провозглашенных в 1918 г., ни выдвинутое в 1956 г. требование многопартийной системы, ни программа двух революций — право рабочих создавать орга-

низации для своей защиты и для политического представительства.

Обязанности граждан оправданы только если они являются возмещением прав, которыми граждане пользуются. Подлинная задача государственной власти — обеспечить пользование этими правами. Права граждан — это предел государственной власти.

Цели нашей борьбы:

права личности и свободы, которые охраняют граждан от тирании: свобода совести, свобода слова, свобода собраний и объединений;

свобода обладать и распоряжаться коллективной и частной собственностью;

свобода рабочих распоряжаться собой и своим трудом;

свобода самоуправления сообществ — территориальных, религиозных, этнических;

свобода выбора в присоединении к таким сообществам и в их формировании;

охрана окружающей среды;

национальный суверенитет — государственная независимость, демократические отношения между народами, роспуск военных блоков в Европе, солидарность с венгерскими меньшинствами, живущими в других государствах.

Мы боремся за то, чтобы Венгрия, вместе с другими народами Центральной и Восточной Европы осталась частью Европы.

Ближайшие шаги к осуществлению этих целей: в союзе со всеми демократическими силами добиваться резкого сокращения власти государства, чтобы обеспечить обществу контроль над государственной властью;

добиться публичного обязательства правительства не препятствовать общественным инициативам иными, нежели политическими, мерами;

узаконение принципа легальности политической оппозиции как основной составляющей любой жизнеспособной демократии — только в демократическом обществе оппозиция станет партнером правительства, а не просто его оппонентом.

Никакой политический диалог невозможен, если партнеры не в состоянии получать информацию друг о друге из откры-

тых источников; следовательно, необходимо решить проблему доступности средств информации.

Со своей стороны, мы должны продемонстрировать, что возможна политическая активность для сотрудничества с властью, с партнерами и с друзьями, на основе компромиссов без отказа от своих четко сформулированных принципов.

Программные концепции СДС

Концепция СДС исходит из того, что и после ухода Яноша Кадара созданная им система осталась неизменной, а, следовательно, продолжается экономический застой, огромная задолженность Западу, снижается жизненный уровень. Новое политическое руководство продолжает политику Кадара, не понимая, что укрепить систему посредством малых изменений невозможно. Проекты реформ, выдвигаемые режимом, носят скорее риторический, нежели содержательный характер, что неизбежно ведет к быстрой дегенерации общества. Нынешние правители бессильны противостоять нарастанию недовольства, успокоить волнения и удовлетворить требования различных слоев общества.

„Очевидно, что скрытый социальный кризис дошел до предела, и явный кризис составляет серьезную угрозу.

Права, полученные в виде уступок, — это не то, в чем мы нуждаемся!

Нужна не риторика, которая является лишь приправой к реформам, а коренной поворот”.⁷

Один из основных тезисов СДС состоит в том, что угроза кризиса не может быть предотвращена лишь внутренними средствами. Кризис угрожает дестабилизацией не только Венгрии, но всему международному сообществу и на Востоке и на Западе. Венгрия нуждается в терпимости со стороны Востока и в щедрости — со стороны Запада. Только так можно помочь решению венгерского кризиса.

Страны Восточной Европы должны понять, что нарастающая неустойчивость в Венгрии может стать опасной для них самих и что эту „ползучую” дестабилизацию можно остановить лишь политической демократизацией.

Западу следует материально поддержать коренные перемены, ни в коем случае не откладывая их.

Со своей стороны, венгерское правительство должно понять, что кризис может быть предотвращен только политическими средствами, а не административными мерами. Отсюда — требования СДС:

1. Свобода объединений, свобода формирования политических движений и партий.

2. Внеочередные всеобщие демократические выборы с участием новых политических партий и движений в учредительное собрание для изменения конституции.

3. Сокращение состава и бюджета вооруженных полицейских сил, роспуск рабочей милиции, единственной функцией которой являются политические репрессии.

4. Переговоры относительно новых форм объединения с членами Организации Варшавского договора.

5. Переговоры о выводе советских войск из Венгрии.

6. Сокращение военных расходов.

7. Принятие мер по сокращению бремени внешней задолженности.

8. Переговоры со странами Западной Европы в связи с преобразованиями, намеченными Общим рынком в 1992 г., об экономической координации с Венгрией и ее последующей интеграции.

„Или мы исчезнем с исторической сцены, или мы присоединимся к объединенной, демократической, демилитаризованной Европе...”⁸

Из устава СДС⁹

„СДС принимает в качестве своих членов лиц, готовых к активной деятельности для осуществления своих либеральных и демократических убеждений и отрицающих все формы национального, политического и социального угнетения.

СДС — имеющая статус юридического лица независимая общественная организация, основанная на съезде 13 ноября и руководствующаяся „Декларацией о принципах”, датированной 24 октября 1988 г.”.

Деятельность СДС

Союз использует политические средства для осуществления „Декларации о принципах”, мобилизуя на это своих членов и всех своих сторонников. Он систематически делает оценки политической обстановки и предалает их гласности. Союз намерен влиять на политические решения как на общенациональном, так и на местных уровнях. В ходе выборов он поддерживает или критикует выдвигаемых кандидатов, а если возможно, выдвигает своих. Союз анализирует решения правительства по социальным вопросам, составляет альтернативные предложения и публикует их; организует общественные дискуссии, поощряет обмен мнениями политически активной публики; расширяет свое членство, поддерживает создание и работу других групп, принимающих его цели; сотрудничает с другими независимыми демократическими организациями.

Союз готов к диалогу с правительством, не поступаясь при этом своими принципами. Он намерен установить регулярные контакты с объединениями венгров, живущих за пределами государственных границ ВНР, чтобы поддержать их усилия в защиту прав человека и национальных меньшинств.

Союз устанавливает международные контакты, сотрудничает с независимыми демократическими движениями в странах Восточной Европы.

Деятельность Союза основывается на уважении принципов конституции, уголовного кодекса и свода законов.

Членство в СДС

Любой взрослый гражданин Венгрии, а также лица, проживающие в Венгрии, могут стать членами СДС при условии принятия „Декларации о принципах” и заполнения вступительной анкеты.

Индивидуы и юридические лица, находящиеся в Венгрии или за ее пределами и желающие оказать СДС моральную или финансовую поддержку, но не участвующие в его работе, могут стать ассоциированными членами Союза. Венгры, проживающие в соседних странах или в других местах заграницей, а также

участники демократических движений в странах Восточной Европы могут быть приняты в СДС в качестве его почетных членов съездом или решением Совета Союза.

Организация СДС

Организационная основа СДС — индивидуальное членство. Члены Союза могут свободно создавать территориальные или проблемные группы в составе не менее 5 человек. Высшим руководящим органом Союза является съезд. Съезд выбирает своего председателя, обсуждает и проводит резолюции на основе документов СДС. Для изменения „Декларации о принципах”, роспуска Союза или присоединения его к другой организации необходимо согласие двух третей делегатов съезда. Съезд выбирает Совет, оценивает его работу, утверждает или отвергает его резолюции.

Съезд выбирает администраторов СДС и ревизионную комиссию из членов Совета.

Каждый член СДС имеет право выступать и голосовать на съезде. Выборы проводятся тайным голосованием. Совет обязан созывать съезд ежегодно.

Совет является исполнительным органом СДС, его 35 членов выбираются съездом сроком на один год. Совет проводит ежегодно не менее 12 сессий. Кворум составляет не менее 60% членов Совета. Член Совета, пропустивший без объяснения причин три сессии, может быть выведен решением Совета из его состава. Задачи Совета: оценка политической ситуации и деятельности СДС; надзор за администрацией СДС; инициирование политических акций и кампаний, назначение ответственных за их проведение; создание рабочих групп для оценки действий и/или планов правительства, подготовка альтернативных проектов; контакты с местными группами Союза и другими демократическими организациями; решения о поддержке Союзом кампаний других организаций; назначение представителей СДС за рубежом; разработка бюджета.

При необходимости Совет создает рабочие комитеты; как правило, такие комитеты должны возглавляться одним из членов Совета. Административный комитет, информационный

комитет и комитет по проведению кампаний являются постоянно действующими.

Административный комитет состоит из 9 членов. Их выбирает съезд членов Совета. В обязанности администраторов входит представительство СДС и подготовка проектов резолюций. Кворум на заседаниях административного комитета — 5 администраторов. Административный комитет принимает решения по срочным вопросам между заседаниями Совета. Съезд выбирает ревизионную комиссию в составе трех человек для наблюдения за бюджетом и финансами. Делопроизводство СДС ведет координационное бюро.

Союз свободных демократов (ФИДЕС)

Это объединение было учреждено 30 марта 1988 г. и сразу же стало весьма заметным средоточием активности молодых венгерских демократов, действующих мирными средствами. Членом этого движения может стать любой гражданин в возрасте от 16 до 35 лет, но в настоящее время большинство участников составляют студенты и молодая интеллигенция. Учредительный документ Союза подписали 37 человек, в том числе: 27 студентов вузов и техникумов, 2 экономиста, математик-программист, инженер-механик, 5 юристов, учитель.¹⁰

1 апреля 1988 г. вновь созданный союз провел международную пресс-конференцию, на которую собрались представители многих газет и журналов, задававших много вопросов об организации. 8 апреля пятерых членов руководства союза вызвали в управление полиции, где их предупредили, что они ведут „деятельность по созданию незаконной организации“. Вызванные составили жалобу на действия полиции. Реакция средств информации на это была весьма широкой: телевидение и радио, центральная и местная печать, МТИ (Венгерское Телеграфное агентство) — все описали происшедшие события. Одна из крупных ежедневных газет опубликовала обширный комментарий. Так, благодаря полиции, организация получила общенародную известность, которой она не могла бы обеспечить себе сама.

Примечательны и реакции различных лиц и групп на создание ФИДЕС. Экономическая секция Союза коммунисти-

ческой молодежи — официальной молодежной организации — 12 апреля публично осудила полицейскую акцию против руководителей ФИДЕС. Союз поддержали в этом два студенческих общежития. 20 апреля МДФ выпустил декларацию с предложением поддержки и сотрудничества с ФИДЕС. Полицейскую акцию осудила также партийная организация Института социологии. Заявление в поддержку ФИДЕС подписали 70 профессоров будапештских вузов, а также писатели, историки и социологи. Таковы были немедленные последствия создания ФИДЕС.

10 апреля 80 членов Союза встретились для обсуждения его будущей деятельности. Они отправили письма об учреждении Союза высшему руководству правительства и партии, в парламент и в печать. Их тактикой было и по сей день остается: расширение числа членов, самая широкая информация о деятельности союза, а также строгое соблюдение законов. По их мнению, это обеспечивает ФИДЕС максимальную безопасность.

Манифест от 30 марта 1988 г. гласит, что, в соответствии с положениями конституции, эта независимая молодежная организация могла бы объединить молодых радикальных реформаторов и стать альтернативой КИС — союзу коммунистической молодежи.

В интересах молодежи ФИДЕС готов сотрудничать с другими молодежными организациями, действовать в соответствии с конституцией во имя обновления Венгрии. ФИДЕС представляет эту новую Венгрию как страну со смешанной экономикой, где соотношение между частной, коллективной и государственной собственностью будет регулироваться рациональными экономическими процессами. Союз действует на демократической основе и стремится к демократическому устройству Венгрии, при котором отдельные лица и группы будут иметь представительство для выражения и защиты своих интересов на основе свободы объединений. В новой Венгрии должны быть обеспечены национальные гарантии эффективной экономики и общественного равенства на основе социальной справедливости.

Обновленная Венгрия должна быть способна защитить венгров, живущих за пределами страны. „Венгрия должна участвовать в создании концепции демократической Европы на

основе национальной независимости и солидарности с народами Восточной и Центральной Европы”

ФИДЕС намерен широко пропагандировать свою позицию в отношении всех основных общественных, экономических и политических проблем. Союз надеется влиять на политические решения правительства, на политическое мышление молодежи и добиваться, чтобы как можно более широкие ее слои поддерживали идеи Союза. ФИДЕС ориентирует своих членов на активное участие в политической деятельности.

В манифесте указывается, что нынешний кризис в Венгрии может затянуться. Молодежь не отвечает за ошибки прошлого, и она требует для себя возможности влиять на будущее.

Манифест призывает молодежь присоединиться к ФИДЕС, а интеллигенты старше того возраста, который допускает членство в ФИДЕС, приглашаются поддерживать его. Коммунистический союз молодежи (КИС) тоже приглашается поддерживать ФИДЕС всей своей политической и финансовой мощью, что сделало бы молодежное представительство значительно более широким, чем ныне.

„Сегодня ФИДЕС не заинтересован действовать *против* кого бы то ни было; он хочет работать в поддержку реформ”.¹¹

II. ПЕЧАТЬ¹²

Печать в стране полностью контролируется Венгерской социалистической рабочей партией (ВСРП). Но в прессе гласность, пожалуй, укоренилась более чем в других сферах жизни. Однако не следует принимать гласность за свободу печати. До достижения этой цели путь еще долог. Тем не менее, в 1988—1989 гг. контроль над средствами информации был существенно ослаблен, и многие прежде запретные политические темы ныне открыто обсуждаются и вызывают горячие дискуссии.¹³ Но все-таки старые правила и законы не были отменены, и старая „надежная” гвардия по-прежнему стоит на страже.

Деятельность прессы регулирует закон № 11, изданный в 1986 г., а выдача лицензий на периодические издания определяется подзаконными актами по надзору за печатью. В соответствии с ними разрешения на публикацию отечественной перио-

дики выдает Бюро Совета министров, как и на распространение иностранной периодики, на создание телевизионных студий, радиостудий и других систем передачи информации. Министерство культуры выдает разрешения на публикацию книг, учебных пособий и учебников, а также на выпуск фильмов и видеокассет. Местная печать контролируется местными органами власти".¹⁴ Столь строгая централизация и строгий контроль не изменились, хотя этого ждали от обещанного нового закона о печати. Но до сих пор еще не опубликован даже проект этого закона.

С ослаблением партийного контроля изменился стиль официальной печати и появились новые газеты. Многие из них называют себя „независимыми". Среди новых периодических изданий самый большой тираж имеет „Реформа". Этот еженедельник был основан при финансовой помощи западногерманского концерна Шпрингера, но большая часть акций находится в руках различных коммерческих организаций ВСРП. Это иллюстрированное издание сочетает эротико-развлекательные сюжеты со статьями, ориентированными на реформы.

После восьми лет отчаянной борьбы Венгерский демократический форум получил, наконец, с октября 1988 г. разрешение на выпуск выходящего два раза в месяц „Хителя" („Доверие"). Таким образом, трибуну получили представители демократического политического мышления в Венгрии. Однако широкое распространение неофициальных самиздатских публикаций показывает, что существуют многочисленные группы и оттенки идеологий, не имеющих своих официально разрешенных органов.

Самиздатская деятельность в Венгрии сходна с русской, а непосредственное влияние на нее оказал польский самиздат, машинописные периодические издания которого восходят к 1977 г. В 1980—1981 гг. некоторые общественные группы, связанные с „Солидарностью", стали издавать журналы самиздатским способом. Венгерские активисты изучили технику неподконтрольной издательской деятельности в Польше и стали настоящими специалистами в офсетной печати и ксерокопировании. Переворот Ярузельского глубоко потряс венгерскую оппозицию. Разочарование было настолько сильным, что даже вызвало

сокращение численности активистов самиздата; однако, многие диссиденты продолжали работу. Из независимых изданий наибольший тираж имеет „Бесело”,¹⁵ самый старый из самиздатских журналов. Последний выпуск этого ежеквартальника вышел в 6000 экземплярах. Редколлегия „Бесело” полагает, что с усилением экономического кризиса общественность сможет принудить власти к определенным уступкам. Требования „Бесело”: ограничение власти правящей партии, обеспечение прав человека и гражданских свобод. Идее „Бесело” о возможности компромисса между обществом и политическим руководством посвящен специальный выпуск журнала с подзаголовком „Общественный договор”.¹⁶

Ежемесячник „Аб Хирмондо” („Вестник”)¹⁷ регулярно выходит с 1983 г. Он знакомит своих читателей с документами современных общественных движений, публикует репортажи и политические комментарии. По скорости реакции на актуальные события в жизни страны и резкой критике происходящего „Аб Хирмондо” больше похож на периодическое издание, нежели „Бесело”. В 1988 г. появилось много новых периодических изданий, например, „Хиани” („Требования”), „Модьяр жидо” („Венгерский еврей”), некоторые политические объединения публикуют свои бюллетени без лицензий.

Наряду с самиздатскими периодическими изданиями выходят и неподцензурные книжные публикации. Самое старое и наиболее продуктивное независимое книжное издательство „АБ Фюггетлен Киадо”¹⁸ начало свою деятельность в декабре 1982 г. Оно выпустило серии публикаций „Дополнения к истории Восточной Европы”, „1956”, „Гулаг и Польша”, а также „Ферма Анимал” и „Статьи о Каталонии” Джорджа Орвелла, повести Милана Кундеры, произведения Вацлава Гавела.

Венгерское руководство не желает ставить себя в неловкое положение перед обществом арестами видных деятелей оппозиции, однако оно ориентирует полицию на поиски путей прекращения самиздатской деятельности. Обыски, кратковременные аресты и т. п. регулярно проводятся с 1981 г. За эти годы были уничтожены тысячи экземпляров самиздатских изданий, конфискованы горы копировального и офсетного оборудования. В 1988 г. многочисленные обыски и аресты были проведены

перед демонстрациями 15 марта (в память венгерской революции 1848 г.) и 16 июня (в ознаменование годовщины казни премьер-министра Имре Надя и его ближайших сподвижников).

Сформировавшиеся в самое последнее время независимые профсоюзы, политические партии и другие организации не имеют доступа к средствам массовой информации. Союз свободных демократов и ФИДЕС тоже не имеют разрешения на печатные органы, но первый уже опубликовал два выпуска своего информационного бюллетеня. Чтобы оппозиционное движение в Венгрии, ныне очень активное, осталось мирным движением за реформы, необходимо изменить систему выдачи лицензий на издания и сделать решительные шаги к действительной свободе печати.

Публикации „АБ Фюгтетлен Киадо” (1981–1989 гг.)

<i>Редактор и издатель – Габор Демский</i>	<i>Число</i>
Книги	27
Журналы	2
Документы, очерки, исследования	4
Художественная литература	13
Серия „О венгерских меньшинствах”	6
Серия „Венгерский Гулаг”	2
Серия „Дополнения к истории Восточной Европы”	4
Серия „Гулаг и Польша”	8
Серия „Перспективы Восточной и Центральной Европы”	10

III. ЭКОНОМИКА¹⁹

Нынешняя экономическая политика ВСРП и правительства — конечный результат продолжительного и противоречивого развития. После „поворота течения (1947–1948 гг.), как называют консолидацию коммунистической власти в Венгрии, началась жесткая советизация экономики страны. Этот процесс ускорился осенью 1948 г. в связи с подготовкой к войне с Юго-

славией. Период первого правительства Имре Надя (1953—1955 гг.) обозначил первые бреши в монолитной экономической системе. При нем замедлилось развитие капиталовложений в тяжелую промышленность в пользу легкой промышленности и производства предметов потребления, крестьянам было позволено покидать принудительно созданные коллективные хозяйства, были предприняты и другие шаги того же рода. Этот процесс приостановила перегруппировка сил сталинистов в начале 1955 г. Такова была общая ситуация, когда вспыхнула революция.

Вторая советская агрессия в конце октября 1956 г. была попыткой перевести назад часы истории. Однако уже в декабре 1956 г. режим Кадара, навязанный народу Советами, в качестве первого самостоятельного шага разработал программу экономических преобразований, сходных с теми, которые пыталось провести первое правительство Имре Надя. Реформа преследовала две цели: нужно было поднять страну из руин после опустошительного советского вторжения; вторая цель носила политический характер. Чтобы заложить основы своей легитимации, режим Кадара нуждался в плане существенных преобразований, не связанном с революцией. Однако план экономических реформ выдохся с оживлением сталинистских сил и кампаний террора весной 1957 г.

Но как только пыль осела, вновь встала на повестку дня необходимость экономических реформ. С тех пор, какие бы преобразования ни проводил режим Кадара, импульсом их была революция 1956 г., тень которой висела над Кадаром и заставляла его переходить от террора к более гуманным методам правления. Планам реформ Кадара способствовали новые веяния из СССР.

В конце 50-х годов экономическая мысль в Советском Союзе оживилась. Советские ученые разрабатывали решения основных проблем экономики, основанной на централизованном распределении ресурсов (Аганбегян, Канторович, Немчинов). Однако горячие дискуссии об оптимальном планировании и целевых функциях показали, что общая теория сталинизма, предусматривающая рост благосостояния людей, по-прежнему далека от совершенства. Эти дискуссии привлекли внимание венгерских экономистов и политиков. Они исходили из того,

что экономика в Венгрии — отсталая и несбалансированная, связанная по рукам системой жесткого регулирования. Никто не верил и в торжественное обещание, что следующее поколение будет жить в обществе равноправия, справедливости и благосостояния и что приносимые ныне жертвы — очереди, бесплатные сверхурочные часы, обязательные займы „на дело мира” — оправдаются достижением этой цели.

Революция 1956 г. не преследовала целей возвращения к капитализму — революционные организации единодушно восстали против политики „гигантомании” в области капиталовложений и против перенесения в Венгрию архаической системы, сложившейся в СССР в 1930-е годы, против оценки „успехов” по абсолютным показателям, не дающим представления о фактических затратах и покрытии спроса потребителей.

Экономические реформы Кадара дали значительно лучшие результаты чем кто-либо ожидал в 1956 г., поскольку они сопровождались политическими преобразованиями. В 60-е годы была проведена амнистия политических заключенных, после чего западные страны стали проявлять интерес к идеям, идущим из Венгрии, и развитием ее экономики. В 60-е годы венгерская экономическая политика продемонстрировала интересные эксперименты. Несмотря на сохранение директивного сталинистского механизма и старые концепции экономической политики, пробились новые идеи. Эти идеи, а также некоторое послабление в области идеологии, дали возможность венгерским экономистам под руководством Реже Ньерша разработать новую экономическую модель, новый экономический механизм (НЭМ), который вступил в действие в январе 1968 г. Однако чехословацкие события того же года затормозили процесс реформ.

Венгерская экономическая политика в 60-е годы показывает, какие перемены могут быть внесены в экономический механизм и политические концепции хозяйства, ориентированного на рынок и открытого, но при этом планового и некапиталистического. Внедрение новых концепций в практику показало, что НЭМ эффективнее, чем директивная модель.

Основные идеи НЭМ можно сформулировать следующим образом:

В относительно развитом промышленном обществе с

широким внутренним и международным разделением труда, наиболее эффективная организация экономической деятельности — система рыночного обмена, безотносительно к господствующей форме собственности.

При общественной собственности на средства производства можно регулировать рынок так, чтобы не допустить сбоев, которые время от времени нарушают экономические процессы в системе частного предпринимательства.

Основным контрольным инструментом социалистической рыночной экономики является макроплан. План исходит из целей и задач, предусматриваемых правительством, и указывает, какие инструменты для их достижения имеются в его распоряжении. Рынок и система в целом подают плановикам соответствующие сигналы. План работает лишь как корректирующий механизм экономики рыночного типа.

Показателем успеха и автоматическим регулятором распределения доходов является прибыль.

Неотъемлемой частью механизма регулирования рыночного равновесия является конкуренция.

Такая экономика нуждается в относительно свободной системе цен. Хозяйство не может работать надлежащим образом без автоматического регулирования путем постоянного учета сравнительных цен.

Принятие решений должно быть децентрализовано. Решения на макроуровне, принимаемые центральной властью, должны быть ограничены определенным минимумом, так как решения на микроуровне, принимаемые предприятиями, должны непосредственно обеспечивать эффективное достижение поставленных задач. Приведенные выше экономические соображения немислимо воплотить в жизнь без соответствующих политических реформ. Возможно, что когда через несколько лет консерваторы осознали это, именно поэтому процесс обновления замедлился. Некоторые аспекты НЭМ стали затушевывать, а затем и весь план коренных экономических реформ был положен на полку. Реже Ньерша отстранили от принятия решений и перевели на скромную должность — сотрудника исследовательского института. Однако дух реформ не угас, и в Венгрии по-прежнему делают упор на концепции рынка и сотрудничество с пред-

приятиями Запада. Сотрудничество с фирмами развитых стран стало одним из важнейших направлений экономического развития, ибо, согласно официально провозглашенному лозунгу, „необходимо любой ценой найти замену импорту”.

В 1970 г. Венгрия выдвинула идею партнерства с иностранными фирмами, в том числе с фирмами промышленно развитых стран Запада, ради сокращения бремени импорта, развития экспорта и урегулирования платежного баланса. В октябре 1972 г. министерство финансов опубликовало правила для совместных предприятий в Венгрии, придав им форму акционерных компаний или фирм с ограниченной ответственностью. Пределы иностранного участия в таких компаниях установлены не были, однако вначале оно не превышало 49,9% капитала, но это ограничение разрешалось ослабить, особенно если иностранная фирма готова была принять участие в сбыте продукции; на практике сейчас случается, что все 100% капитала принадлежат западным фирмам.

Любопытной деталью декрета было признание права иностранного партнера обращаться к Национальному банку Венгрии за гарантиями на владение собственностью против возможных прямых или косвенных акций венгерского правительства или венгерского партнера.

К сожалению, в 70-е годы стал возрастать внешний долг Венгрии. В той или иной степени все страны мира были затронуты потрясениями, происшедшими в мировой экономике на рубеже 70-х и 80-х годов. В результате приостановки экономического развития многие страны-должники не смогли обеспечить выплату долгов и покрыть дефицит текущего платежного баланса.

В то время как развитые страны рыночной экономики быстро приспособились к новым обстоятельствам и смогли избежать серьезных трудностей с ликвидными активами, многие слабо- и среднеразвитые страны не смогли сделать это своевременно, и возникли проблемы с оплатой процентов по долгам. В итоге трудности увеличивались с непредвиденной остротой. Потрясение усложнило развитие хозяйств и вызвало потерю доверия к кредитоспособности многих стран.

В Венгрии и Польше внешний долг на душу населения

примерно одинаков. В 70-е годы Венгрия легко получила кредиты на 17 млрд. 218 млн. долларов.²¹ По данным некоторых венгерских экономистов, реальный внешний долг Венгрии в марте 1989 г. приблизился к 21 млрд. долларов. Считается, что эти займы были получены благодаря отличным отношениям Яноша Фекете из Национального банка Венгрии с рядом банкиров Уолл-стрита и других международных финансовых центров. Существенная часть заемных капиталов поступила из японских банков.

Возникает вопрос: куда ушли эти деньги? Дело в том, что на рубеже 70-х и 80-х годов Кадар отчаянно поддерживал иллюзию улучшения экономического положения Венгрии, чтобы создать впечатление успеха своей политики „гуляш-коммунизма”. Ради этого значительная часть полученных в долг средств была затрачена на закупку потребительских товаров.

Коммунистические представители обратились к антитезе их первоначальной догмы, гласящей, что деньги следует расходовать на тяжелую промышленность, а не на потребительские товары. Однако они не учли, что в долг следует брать только на разумные расходы.

В настоящее время в Венгрии проводятся эксперименты с введением системы прогрессивного подоходного налога и допущением безработицы. Министерство финансов объявило, что начиная с января 1988 г., около 200 тыс. работников окажутся на улице, если не пройдут переквалификацию.

Среднегодовой заработок венгерского рабочего составляет примерно 1630 долларов, средняя ставка подоходного налога составляет 8%. Даются некоторые льготы на детей, но лишь после первых двух. Кроме того, налагается 8%-ный налог в форме акциза, что обременяет в первую очередь бедную часть населения. Около пятой части населения Венгрии имеет вторую, а то и третью работу. До сих пор доходы от таких работ были свободны от налогов, но теперь с этим покончено. Предельная ставка налога иной раз доходит до 60%.

В социалистических странах прежде никогда не увольняли рабочих. Полная занятость была провозглашена историческим завоеванием социалистической системы. В соответствии с этой догмой, безработица часто была скрытой за дверьми предприятий

и учреждений. Естественно, иллюзию полной занятости должно было оплачивать все население. Численность работающих в Венгрии составляет 4,9 млн. человек. Согласно оценкам, примерно 10% можно освободить без ущерба для производства. Следовательно, согласно новым концепциям экономики, можно ожидать, что если новая политика начнет осуществляться, в стране появится примерно еще полмиллиона безработных.

Все это — большое несчастье для Венгрии, результат действий реакционных сил, остановивших Новый экономический механизм.

Ныне Реже Ньерш — создатель НЭМ, вновь введен в члены политбюро и назначен министром. Ему придется преодолеть немало трудностей, чтобы вывести венгерскую экономику на путь разумного хозяйствования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель настоящего очерка — дать читателю возможно более широкое представление о выработанных в Венгрии документах, а выводы он уж сделает сам. Разумеется, автор находится в благоприятной ситуации, поскольку в его распоряжении в изобилии имеются первоисточники: манифесты, декларации и другие документы, в которых четко представлены идеи, цели, стратегия и тактика ведущих объединений демократической оппозиции. И хотя главной целью автора было ознакомление читателя с документами, некоторые обобщения все же возможны и, пожалуй, необходимы.

1. Венгрия переживает социальный, экономический и политический кризис, который скорее углубляется, нежели слабеет. Один из главных симптомов кризиса в том, что Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСРП) — главный рычаг власти в тоталитарном государстве — потеряла уверенность в себе, и в настоящее время раздираема сомнениями, неуверенностью, апокалиптическими предчувствиями. Члены партии покидают ее десятками, другие остро критикуют ее изнутри, оппозиция держит ее в осаде снаружи. Партия потеряла перспективу, старые идеи больше не работают, дерзких новых идей нет. Партия укрывается за лозунгами и риторикой, события скорее

влекут ее, нежели находятся под ее управлением. Вот пример, во время визита в США в июле 1988 г. генеральный секретарь ЦК ВСРП Грос утверждал, что однопартийной системы изменить нельзя, ибо это традиционная венгерская форма правления, но уже в конце года правительство объявило о введении многопартийной системы.

2. Оппозиция полностью осознает закат ВСРП, но ни одна из выдвигаемых программ не предусматривает свержения несправедливого и неэффективного режима; вместо этого главные организации оппозиции предлагают переговоры с правящей партией в поисках выхода из кризиса, настаивая лишь, чтобы переговоры велись на основе равноправия.

3. Программы всех ведущих демократических объединений включают пункт о необходимости содействия общества и правительства венграм в соседних странах в восстановлении их национальных, человеческих и гражданских прав. Все солидаризуются с демократическими движениями в соседних странах и почти все считают необходимым, чтобы Венгрия и ее соседи были интегрированы в демилитаризованную демократическую Европу.

4. Все демократические оппозиционные объединения ориентируются на достижение своих целей мирными средствами, под защитой закона и конституции и в атмосфере уважения к ним. Это стремление к легальности вызвано весьма интересным обстоятельством. Навязанная Советами конституция, сформулированная по советской модели, содержит весьма существенные права и гарантии свобод, которые прежде не принимались всерьез как пригодные для практического применения. Конституции должны были служить лишь целям пропаганды, в основном за рубежом. Но ныне, когда началась борьба за гражданские права, эти страные конституции советского образца могут служить некоей защитой для оппозиции.

5. Кроме постоянных ссылок на „конституцию”, другой любопытной чертой документов оппозиции является полное отсутствие в них термина „социализм”. Напрасно искать этот термин в каком бы то ни было документе. Все программы

сосредоточены на экономической ситуации, на положении рабочих, жизненном уровне и т. п. Дальше всех в этом направлении зашел манифест ФИДЕС, в который включено требование уважать все формы собственности — коллективную, государственную и частную, соотношение которых в национальной экономике должно определяться реалиями экономической жизни. Иными словами, признается, что государственная и коллективная собственность должны сосуществовать с частной собственностью. Если упростить понятие социализма, сведя его лишь к отношению людей к средствам производства, то можно сказать, что ни одна из главных программ не требует ликвидации государственной собственности, то есть, упрощенно говоря — социализма. Но при всем этом самого термина „социализм” просто не существует. Вряд ли может быть более убедительное свидетельство об идейном крахе социалистической системы советского образца: лидеры венгерской демократической оппозиции, подавляющее большинство которых примерно сорокалетнего возраста и, следовательно, выросли при этой системе, стесняются даже упомянуть о социализме. Это не означает, разумеется, что все они сохраняют нейтралитет по различным вопросам социального значения. Напротив, венгерская демократическая оппозиция вполне сознает необходимость социальных реформ, в том числе устранения неравенства, от которого выигрывает „новый класс”. Демократы хотят преодолеть нищету и обеспечить достойный уровень жизни для как можно большей части населения; иными словами, основная социально-экономическая концепция большинства оппозиционных объединений — это государство социальной помощи, государство плюралистическое, демократическое, государство общественного равенства, в котором исключаются как крайняя нищета, так и чрезмерное обогащение.

* *
*

От мудрости СССР и ВСРП зависит осознание необходимости радикального преобразования политической, экономической и социальной жизни и предоставление демократам возможности

выработать необходимую для этого политику на развалинах потерпевшей неудачу тоталитарной системы, чтобы обеспечить мирный переход к новому строю. Альтернативой является использование слепой силы, подавление демократических тенденций, что приведет вновь к кровавому насилию и к возвращению самой отвратительной сталинистской модели. И тот и другой поворот событий вполне возможен в Венгрии. Однако насилие и ретроградство нанесет ущерб не только благосостоянию Венгрии, но и положению СССР в мире. Может быть, в отличие от прошлого, разум, наконец, восторжествует на Дунае.

Будапешт, 26 июня 1989 г. Неформальная организация "Венгерский демократический форум" решила стать независимой политической партией и выдвинуть своих кандидатов на выборах в государственное собрание и в местные органы власти.

Представитель руководства "Венгерского демократического форума" заявил, что форум потребует доступа к национальным средствам массовой информации и начнет издавать осенью собственную газету.

По словам представителя, более 80% членов "Форума" проголосовали за создание политической партии. Вместе с тем ожидается, что численность членов "Форума", составляющая сейчас 17 тыс. человек, сократится примерно на 10% после его преобразования в партию.

Оппозиционные партии действуют в Венгрии легально. Ожидается, что в конце лета будет принято законодательство, регулирующее их деятельность.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Сообщение агентства Рейтер 12 марта 1989 г.
2. Интервью с д-ром Рудольфом Йо, историком и одним из лидеров МДФ, „Еженедельник мировой экономики” (венг.), 28 января 1989, стр. 62.
- 3 Подробнее см. раздел „Печать”.
- 4 Здесь и далее цит. по: „Информационный бюллетень СДС” (венг.) №№ 1—2, 1989, стр. 41.
- 5 Там же, стр. 13—14.
- 6 Иштван Бибо (1911—1979 гг.), государственный деятель — популист и политический писатель, сторонник „третьего пути” для Венгрии, министр в правительстве Имре Надя в 1956 г.; Ференц Донат (1913—1986 гг.) — коммунист, сторонник реформ, близкий соратник Имре Надя; Йожеф Отвош (1813—1871 гг.) — либеральный государственный деятель, министр просвещения и религии в правительствах 1848 г. и после 1867 г. Составитель наиболее либеральных законов в области просвещения и о положении национальных меньшинств; Оскар Яси (1875—1957 гг.) — радикальный буржуазный политик и политолог. Министр по делам меньшинств в революционном правительстве 1918 г. Автор современной концепции Дунайской конфедерации; Анна Кетле (1889—1964 гг.) — лидер социал-демократов в межвоенный период, министр в правительстве Имре Надя в 1956 г.; Лайош Кошут (1802—1894 гг.) — либеральный государственный деятель, руководитель венгерской революции 1848—1849 гг.; Имре Надь (1896—1958 гг.) — коммунист, сторонник реформ, дважды премьер-министр Венгрии (1953—1954 гг., 1956 г)

Золтан Сабо (1912—1984 гг.) — писатель-популист, социолог; Иштван Сеченьи (1791—1860 гг.) — отец венгерского либерализма, ученый и государственный деятель.

- 7 „Информационный бюллетень СДС”, стр. 17.
- 8 Там же, стр. 17—18.
- 9 Там же, стр. 14—17.
- 10 „АБ Хирмондо” („Вестник”) № 25, 1988 (1), стр. 26.
- 11 Там же, стр. 26.
- 12 Глава написана на основе неопубликованного меморандума Габо-ра Демского „Доступ к информации в Венгрии” от 4 марта 1989 г.
- 13 Так, ЦК ВСРП назначил комиссию под председательством Имре Пожтая, члена политбюро и министра, чтобы „исследовать истори-ческие события последних десятилетий и нынешнее положение и дать им оценку. Результаты работы будут обсуждены на XIV съезде партии”. Первая редакция доклада подкомиссии № 1 по истории недавно опубли-кована. События 1956 г. рассматриваются в докладе с подзаголовком „Народное восстание 1956 г.”. Революция не реабилитируется, наоборот, указывается, что, начавшись как подлинное „народное восстание”, позд-нее она приняла крайне правый курс. Доклад опубликован в „Социоло-гическое обозрение. Теоретический и политический журнал ВСРП”. т. 44, спец. выпуск 89.
- 14 См. Miklos Radvanyi „The Press Law in Hungary”, Budapest, 1987.
- 15 Главный редактор — философ Янош Киш.
- 16 Июнь 1987 г.
- 17 Главный редактор Габор Демский.
- 18 Редактор и издатель — Габор Демский.

- 19 Глана написана при участии Пауля Йонаша, профессора экономики Университета штата Нью-Мексико (Альбукерк, штат Нью-Мексико).
- 20 Bela K. Kiraly „The Aborted Soviet Military Plans against Tito’s Yugoslavia”, in Wayne S. Vucinic (ed.): *At the Brink of War and Peace: The Tito—Stalin Split in a Historical Perspective*. New York, Columbia University Press, 1982, pp. 273—288.
- 21 World Bank, 1989 Development Report. *The World Economic Outlook, A Survey by the Staff of the International Monetary Fund* (Washington, D. C., International Monetary Fund), April 1988.

ГЛАСНОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ: НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ

После избрания Михаила Горбачева Генеральным секретарем произошли интригующие изменения в советской внешней и оборонной политике, но все же в этой сфере эффект нового мышления даже отдаленно не напоминает потрясающего пришествия гласности на внутреннем фронте. Причины этого очевидны. Даже в демократических обществах внешняя политика предполагает какую-то меру соблюдения секретности. Существу здесь неограниченная открытость, не было бы нужды и в дипломатии; если бы взаимоотношения между государствами строились в соответствии с предписаниями пророка Исайи или Нагорной проповеди, никому не понадобились бы военные бюджеты и постоянные сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы.

Основные действующие факторы во внешней и оборонной политике Советского Союза не могут не сохранять стабильность безотносительно к любым внутренним нововведениям. Это утверждение справедливо для всех стран, но оно тем более сохраняет силу по отношению к советскому политическому режиму. Так было и задолго до Горбачева; если что-то изменилось после его прихода, то разве лишь в плане усиления отмеченной тенденции. Новые лидеры отнюдь не пренебрегают международными делами и будут использовать любой удобный случай для укрепления советского влияния и безопасности СССР. Руководители СССР полностью согласны между собой в том, что сегодня необходимо сосредоточить усилия на домашних делах — сильная страна сможет укрепить со временем свои внешние позиции, в

то время как слабая или застойная экономика неминуемо будет ослаблять и международное положение государства. Принимая все это во внимание, не имеет смысла говорить, как часто делают на Западе, но практически никогда в Советском Союзе, о наступлении эры гласности в советской политике. Правильный термин для обозначения нового советского подхода к международным делам — „новое мышление”. Этот термин стали использовать задолго до прихода к власти Горбачева.¹

Новое мышление можно определить как отступление от негативизма, характеризовавшего советскую внешнюю политику в начале 80-х годов, к частичному признанию важности общих для Запада и Востока глобальных проблем — таких как ядерное разоружение, экология или эпидемии. В идеале этот сдвиг не должен был бы игнорировать глубинный классовый характер советской международной политики и стратегии, направленных на уменьшение опасности мировой войны и ослабление стран, расцениваемых в Советском Союзе как его главные противники. Однако сегодня этот подход несколько изменился, что, впрочем, случалось и раньше, прежде всего в практическом, а не в теоретическом классовом содержании советской внешней политики. В 1988 г. партийную линию проследить труднее, чем десять или двадцать лет назад. Идеология стала менее монолитной, более расплывчатой. Отношения между СССР и Западом, особенно между СССР и Соединенными Штатами, в начале 1980-х испортились настолько, что почти во всех областях переговоры заканчивались практически безрезультатно. Даже в ретроспективе не так-то легко установить, было ли это сознательной политикой советских руководителей или, что кажется более вероятным, они сами загнали себя во внешнеполитический эквивалент внутренней стагнации. К 1984 г. в стране постепенно стали все яснее понимать, что милитаризация советской внешней политики ведет к самоизоляции и что такая политика противоречила насущным интересам СССР. Это и обусловило постепенный отход от политики бойкота, начавшийся при Андропове и продолжавшийся при Черненко.

Первые внешнеполитические заявления Горбачева были столь же осторожны, как и его высказывания по всем прочим вопросам. Это верно, что во время XXVII съезда КПСС, год

спустя после прихода Горбачева к власти, в московских кругах заговорили о необходимости тактической гибкости и проявляли готовность вступить в диалог с Западом, чтобы достичь взаимоприемлемых компромиссов.² Однако Горбачев сопровождал эти замечания обычными заклинаниями относительно углубляющегося кризиса загнивающего и паразитического империализма (имея при этом в виду не только Соединенные Штаты, но и западную Европу с Японией), который якобы уже поставил капиталистический мир на грань революции. Он даже охарактеризовал Соединенные Штаты как движущую силу милитаризма, как систему монополистического тоталитаризма. Хотя в СССР не отрицали, что капиталистический мир сохранил способность развивать производительные силы, все это сопровождалось утверждениями об эго исторической обреченности вследствие неспособности решить основные социальные проблемы, такие как растущая безработица. Подчас советская пропаганда апеллировала даже к идее глобальной взаимозависимости и намекала на возможность сотрудничества в решении представляющих взаимный интерес проблем, задавая риторические вопросы о разумности многомиллиардных военных бюджетов. Однако подобные намеки были лишь осторожным зондажем. Если Горбачев уже тогда решил возродить разрядку, это не проявлялось в его заявлениях. Более того, дух разрядки еще меньше чувствовался в высказываниях официальных лиц, являвшихся признанными рупорами советской внешней политики, таких, скажем, как Вадим Загладин и Анатолий Добрынин.³ Они делали упор на „всемирную историческую миссию рабочего класса” и „революционный дух нового мышления”, но более всего на то, что фокусом советской внешней политики должно быть ее классовое содержание, а отнюдь не какие-то общечеловеческие аспекты. Не наблюдалось никакого смягчения антизападной, особенно антиамериканской пропаганды: Пентагон обвиняли в появлении и распространении СПИД’а; трагедию в Джонстауне, где около тысячи членов одной из американских религиозных сект совершили коллективное самоубийство, объявляли акцией ЦРУ; утверждали, что именно американцы ответственны за все случаи убийств иностранных лидеров, когда те погибали при невыясненных обстоятельствах, скажем, в

авиакатастрофе или при нападении террористов.⁴ Ливийского правителя Муамара Кадаффи представляли советской публике в качестве „товарища Кадаффи” — эпитет, ранее резервировавшийся только для членов коммунистических и союзных с ними партий.⁵

В 1985—1986 гг. советская зарубежная пропаганда отнюдь не делала из гласности всемирного шоу, гласность использовалась исключительно для внутреннего потребления. Советская пресса утверждала, например, что Советский Союз продемонстрировал возможность быстрого решения национального вопроса — „одной из самых драматических проблем человечества”, что советская конституция гарантирует право на жилье; пресса перевозносила бесплатную советскую медицину и обещала, что к 1990 г. реальные доходы советского населения вырастут примерно на треть. Среди многочисленных советских достижений перечислялись и такие, о которых никогда не упоминали раньше: „советские люди гордятся тем, что наша страна сохранила звание последнего в мире оплота романтической любви”.⁶ Все понимают, конечно, что любая страна стремится выглядеть как можно лучше в своей внешней пропаганде, но все же заявления подобного рода явно выходят за общепринятые рамки хорошего тона и элементарного правдоподобия.

Если бы творцы советской внешней политики принимали пропаганду такого рода за чистую монету, отношения Советского Союза с Западом никогда не сдвинулись бы с места. Однако они доказали обратное уже во время визита Горбачева в Лондон в 1984 г., когда он еще не был Генеральным секретарем. Советская дипломатия демонстрировала готовность к установлению более тесных отношений как с Западом, так и с Японией и Китаем. Это проявлялось прежде всего в переговорах по контролю над вооружениями. Советская сторона предложила также развивать торговые отношения посредством создания совместных предприятий. Представители Советского Союза высказали готовность заниматься „представляющими взаимный интерес гуманитарными вопросами” и неоднократно заявляли о намерении вывести советские вооруженные силы из Афганистана.

На Западе новый советский стиль работал великолепно.

Британский премьер Маргарет Тэтчер первой заявила, что Горбачев ей понравился и что с ним можно вести дела. Вскоре в том же духе высказался и французский президент Франсуа Миттеран. Федеральный канцлер Гельмут Коль был особенно впечатлен личностью Горбачева, его умением входить в детали. В конце концов, и президент Рейган не устоял перед обаянием супругов Горбачевых во время их визита в Вашингтон в декабре 1987 г. Западные средства массовой информации и общественное мнение тоже были поражены новым советским стилем.

Но при всем этом многие разгогласия не исчезли, прежде всего по главному вопросу — о смысле сближения. Является ли оно лишь временным тактическим приемом, рассчитанным на несколько ближайших лет, или это реальный перелом и долгосрочная переориентация советской внешней политики? Казалось, некоторые советские комментаторы склонялись ко второй оценке, подчеркивая, что подлинное улучшение отношений с Западом нереалистично до тех пор, пока не удастся найти замену традиционной идее неустранимого взаимного антагонизма и образу подлежащего разгрому и уничтожению внешнего врага.⁷ Впрочем, большинство советских представителей предпочитали оставить этот вопрос открытым.

Были и другие противоречия. В соответствии с новыми политическими оценками, американцы должны были утратить свое влияние, а западная Европа и Япония, напротив, превратиться в альтернативные центры мирового могущества. Советские лидеры, однако, вели переговоры преимущественно с Вашингтоном, чья роль в качестве партнера (и антагониста) все еще далеко превосходила значение остальных регионов. Хотя в Советском Союзе желали оторвать западную Европу от США и призывали к независимой европейской политике, одновременно СССР выступал против любых шагов западноевропейских государств, направленных к их более тесному военному и политическому сотрудничеству между собой. Что касается контроля над вооружениями, то прослеживалось противоречие между желанием ограничить распространение и уменьшить число некоторых систем оружия вследствие их непомерной и все растущей стоимости и намерением не уступить ни одного из военных преимуществ, достигнутых в ходе гонки вооружений в 1970-е гг.

Нужно признать, что в 1988 г. уже появились признаки самокритицизма в советской внешнеполитической мысли. Так, например, в последнем разделе тезисов ЦК КПСС к XIX партийной конференции, посвященном внешнеполитическим вопросам, был подвергнут критике ряд не признававшихся в прошлом ошибок. Публикации отдельных авторов стали более конкретными. Один из них, Вячеслав Дашичев,⁸ показал на нескольких примерах нелепость утверждения о безупречности советской внешней политики былых времен. Так, он высказал мнение, что мюнхенская политика западных держав накануне второй мировой войны была мотивирована не только антикоммунизмом, но и убеждением, что после того как Сталин обезглавил командный состав Красной армии его нельзя рассматривать в качестве надежного союзника. Аналогично, не следует обвинять лишь Запад за его реакцию на сталинский послевоенный экспорт советской системы (в духе бланкистско-троцкистских традиций) и недоверие к лозунгам, прославляющим советскую борьбу за мир. Дашичев также отметил, что в 1960-х—1970-х годах не существовало четкого понимания собственно советских интересов, в результате чего они нередко приносились в жертву в погоне за второстепенными и эфемерными внешнеполитическими приобретениями в странах третьего мира.

Однако от отдельных признаний такого рода еще очень далеко до фундаментальных изменений советского внешнеполитического курса. Переосмысление прошлых ошибок даже в лучшем случае не будет развиваться быстро и вряд ли выйдет за определенные границы. Даже Дашичев, ныне наиболее радикальный выразитель нового мышления, дал ясно понять, что он ни в коей мере не защищает „социалистический изоляционизм”.

Внешняя торговля была другой областью, где прогресс шел нелегко. В СССР были серьезно заинтересованы в расширении торговых связей с Западом ради модернизации советской экономики. Эта цель не раз провозглашалась и на XXVII съезде партии и после него. Но на деле в 1985—1987 гг. торговля СССР с его основными западными партнерами заметно сократилась. Так, торговля с ФРГ упала на 20%. Произошло это из-за падения международных цен на нефть — главный предмет советского экспорта, из-за снижения курса доллара и по ряду других причин.

Чтобы компенсировать уменьшение поступления твердой валюты, советское руководство решило пойти на создание совместных предприятий с западными и японскими корпорациями. Этим хотели воспользоваться в начале 20-х годов, во времена НЭПа, но нынешняя попытка возродить эту традицию представляется не слишком хорошо продуманной, а потенциальные зарубежные партнеры проявили минимальный интерес к таким предприятиям из-за бюрократических и иных сложностей.

Основным направлением советской внешнеполитической активности стал контроль над вооружениями: Советский Союз выдвинул ряд инициатив, далеко вышедших за рамки предложений предшественников Горбачева.⁹ Эти новые идеи включают сокращение стратегических вооружений наполовину (октябрь 1985 г.) или хотя бы на 30% (июнь 1986 г.), постепенный демонтаж всех систем ядерного оружия к 2000 г. (январь 1986 г.) и сокращение обычных вооруженных сил и вооружений в Европе (июнь 1986 г.). Эти предложения сформулированы неопределенно, особенно в области проверки – важнейшем вопросе контроля, но все-таки они в совокупности с рядом других предложений помогли советским участникам переговоров вернуть себе дипломатическую инициативу, создавая при этом образ Горбачева-миротворца, противостоящего каменному упорству Рейгана и его нежеланию пойти на сколько-нибудь значительные уступки для достижения всеобщего мира. Укреплению такого впечатления в какой-то мере способствовали итоги рейкьявикской встречи в верхах в октябре 1986 г. Советская сторона предложила 50%-ное взаимное сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет в течение пятилетнего срока и их полное уничтожение к концу столетия, а также согласилась на нулевой вариант по ракетам средней дальности. Американцы в принципе приняли эти предложения, и конференция завершилась неудачей лишь потому, что советская сторона обусловила их отказом от рейгановской стратегической оборонной инициативы (СОИ или „Программа звездных войн” в популярной лексике). После Рейкьявика многие западные эксперты полагали, что Горбачев сделал свои далеко идущие предложения, будучи уверенным, что формула „или все или ничего”, требовавшая прекращения работ по СОИ, будет неприемлемой для американцев. Однако

в дальнейшем его позиция смягчилась, и ни американское упорство в вопросе о СОИ, ни менее решительная советская оппозиция этой программе не помешали успешному завершению переговоров о ликвидации ракет средней дальности. Этот договор был подписан на вашингтонской встрече в верхах в декабре 1987 г. Никак не пострадали и переговоры о межконтинентальных баллистических ракетах.

Впрочем, ни запутанные переговоры о вооружениях, ни страхи и сомнения на Западе относительно ослабления европейско-американских военных связей и усиления уязвимости Европы перед атакой обычными вооруженными силами не являются первостепенными среди разбираемых здесь проблем. Следует обсудить лишь, пусть кратко, в какой мере советская оборонная политика отражает „новое мышление”. Ныне советские вооруженные силы уже не играют той роли, какую они имели во времена Брежнева — этот политический факт уже давал о себе знать различными путями.¹⁰ Нет сомнений, что и Горбачев за сильную оборону. Однако он, в противоположность Брежневу, сомневается в качестве управления советскими вооруженными силами и обоснованности военных расходов. Сознавая куда лучше нежели его предшественники сложность экономического положения Советского Союза, Горбачев не мог не подвергнуть критическому пересмотру ряд ранее не дискутировавшихся вопросов: наилучшим ли образом используются экономические ресурсы, выделяемые военным; не растрачивают ли они эти средства, равно как и человеческие ресурсы, впустую, и, если это действительно так, на какие изменения и реформы следует пойти? Это повело к фундаментальной переоценке советской стратегической мощи, а именно — насколько силен СССР по отношению к его потенциальным противникам? Такие вопросы ставились и при Хрущеве, и в итоге было проведено сокращение военных расходов. Судя по всему, Горбачев воспринимает международную ситуацию с куда меньшей тревогой, чем советские военные руководители, которые в 1985—1986 гг. в своих выступлениях стремились создать впечатление, что напряженность в международных отношениях чревата взрывом и что мир столзает на грань глобального военного кризиса.

Первоначальной реакцией большей части старших воена-

чальников на гласность и перестройку было вежливое безразличие. На словах они воздавали им должное и подчас вставляли в свои речи новые лозунги, но в общем позиция вооруженных сил оставляла впечатление уверенности в том, что реформы предназначены исключительно для гражданского сектора. В лучшем случае признавалась целесообразность отдельных изменений в структуре и управлении вооруженных сил. Но не допускалось и мысли о вмешательстве в это гражданских лиц. Военное руководство негодовало и на прессу, если та без должного почтения писала о состоянии дел в армии. Эта критика касалась лишь ведения афганской войны и обращения с возвращавшимися на родину ветеранами, но еще никто не осмеливался детально обсуждать причины затяжного характера этой войны, хотя в обществе уже широко распространилось недоумение по поводу того, что могущественная советская армия, крупнейшая военная сила в мире, в течение семи лет не смогла нанести решительное поражение слабо вооруженным и плохо обученным отрядам афганцев. Даже намеки на это вызывали явное недовольство военных, которые, со своей стороны, жаловались на недостаточную моральную поддержку деятелей советского образования и прессы. Ряд кинорежиссеров и писателей, таких как Александр Проханов, сделали карьеру на прославлении подвигов советских военных в Афганистане и прочих местах. Однако большинство писателей избегали этих тем, и армейское начальство улавливало пацифистские (в духе Ремарка) нотки у некоторых широко известных авторов, например, у А. Адамовича. Не вызывали восторга военного командования и высказывания ряда ведущих ученых по поводу непродуктивности призыва способных студентов, лишаящего страну (т. е. в конечном счете, и государственную оборону) возможности использовать их таланты в лучшие годы их научной карьеры. В средства массовой информации проникали жалобы, что сыновья влиятельных родителей ставились в привилегированное положение во время военной службы. Кроме того, широко критиковалось унижительное обращение с солдатами первого года службы, преимущественно не со стороны офицеров, а со стороны сержантско-старшинского состава и особенно со стороны солдат старших сроков, некогда страдавших от подобного же отношения к ним са-

мим, а офицеры предпочитали закрывать на это глаза.¹¹ Коротко говоря, высшее командование стало ощущать немало неудобств от гласности и перестройки. Отсюда его пассивное сопротивление, продолжавшееся вплоть до начала 1987 г.

На январском пленуме Центрального комитета Горбачев угрожал понижением в должности тем, кто не желал способствовать его реформам. Еще раньше произошла перетасовка в высшем военном руководстве и в министерстве обороны. Эта перетряска сильно повлияла на отношения в военной среде, в немалой степени потому, что новые назначенцы отнюдь не всегда следовали по рангу за сменяемыми ими лицами, но все имели репутацию сторонников реформ. После того как молодой пилот из Западной Германии неожиданно посадил свою „Чессну-172” на Красной площади, маршал Соколов был заменен на посту министра обороны генералом Дмитрием Язовым, который в своей речи обвинил своих коллег, никого не называя по имени, в неспособности устранить негативные тенденции в развитии вооруженных сил: „Мы должны посмотреть правде в глаза: некоторые из нас утратили чувство долга и ответственности, необходимые для выполнения наших задач и обязанностей”.¹² (Обр. пер. с англ. — Ред.)

Каковы бы ни были долговременные результаты подобных предостережений, военные, начиная с весны 1987 г., стали проявлять в своих речах и статьях приверженность новой политике реформ. Они поняли, что недооценили решимость гражданского политического руководства в проведении реформистской политики.

Что касается военной доктрины, то и здесь советские военные лидеры, хотя и не все, стали склоняться к компромиссу с гражданскими стратегическими специалистами, пользующимися очевидной поддержкой Горбачева. Различные авторы стали задавать ранее совершенно немыслимые вопросы, например, относительно размещения ракет СС-20 в странах Восточной Европы. Ведущий комментатор Александр Бовин отметил, что создание и установка этих ракет было очень дорогостоящим делом. „И коль скоро уж мы согласились на их уничтожение, встает вопрос, зачем их вообще надо было делать? Я не единственный,

кто задает подобные вопросы, и хотелось бы получить на них компетентный ответ". (Обр. пер. с англ. — Ред.)

Советским военным руководителям было труднее, чем гражданским, принять аргументы в защиту реформ, в особенности идею, что в отличие от времен Клаузевица и Ленина, в атомный век термоядерная война уже не является продолжением политики иными средствами и что в ней не может быть ни победителей, ни побежденных. Некоторые военные писатели продолжали утверждать, что несмотря на все произошедшие с XIX в. изменения, отказ от классической марксистской концепции справедливых и несправедливых войн был бы делом как минимум преждевременным. Кроме того, всегда следует опасаться внезапного нападения — концепция, занимавшая центральное место в советских военных трудах начала 80-х годов.¹³

Эти споры были, очевидно, абстрактными, но неизбежно приводили к важным практическим вопросам: сколько следует тратить на оборону, каким будет характер следующей войны, кто будет обладать превосходством в гонке вооружений и есть ли необходимость в новой военной доктрине. Постановка этих вопросов не прошла незамеченной западными стратегами и политиками. Но на Западе были склонны рассматривать эти споры как зеркальное отражение собственных аналогичных дискуссий, что верно лишь наполовину.

Некоторые советские военные руководители сопротивлялись очевидному желанию Горбачева пойти на уступки Вашингтону на переговорах по контролю над вооружениями, например в отношении моратория на ядерные испытания.¹⁴ Иногда возражения даже подчеркивались — открыто или с использованием эзоповского языка. Можно допустить, что еще сильнее было скрытое сопротивление, не проникавшее в печать, и им было трудно пренебречь. Такие установки отражали уверенность маршала Николая Огаркова, который до 1984 г. был начальником генштаба, и практически всех его предшественников, что международная обстановка является критической, в любой момент может привести к войне и только советское превосходство гарантирует успешную оборону и, в конечном счете, победу. Однако война так и не наступала, а военное ведомство поглощало все больше ресурсов и, несмотря на превосходство в ряде облас-

тей, достигнутое Советским Союзом, оно было недостаточным для обеспечения решающих преимуществ.

Как сказал однажды А. Добрынин,¹⁵ эти рассуждения выливались в острые конфликты и резкие дискуссии, различия во мнениях становились болезненными, более радикальные новые теоретики намекали на возможность новой системы всемирной безопасности и даже исторического компромисса (Федор Бурлацкий), однако так далеко заходили лишь аутсайдеры. Стратегов „главного потока” больше интересовало обсуждение пределов разумной достаточности обороны, начатое в первые месяцы 1987 г. Этот термин был введен новым начальником генштаба Сергеем Ахромеевым, и он сделался частью официальной доктрины, когда члены организации Варшавского договора использовали его в резолюциях этой организации.¹⁶ Оставался, однако, вопрос интерпретации самой достаточности; что касается термина „паритет”, то его использовали не часто. Военные руководители все еще подчеркивали растущую опасность империалистического нападения и „по политическим мотивам тяготели к преувеличению западных преимуществ в некоторых областях”.¹⁷ Вряд ли колкости гражданских лиц оказывали заметное влияние на ответственных за политическую обработку состава вооруженных сил. Так, редактор армейской газеты „За родину” А. И. Кириллов писал: „Империализм готовится к войне. Никто не может отрицать этого”. (Обр. пер. с англ. — Ред.)¹⁸

Более просвещенные военные руководители сознавали, что советское верховное командование должно быть заинтересовано в успехе политики реформ, которая приведет к модернизации экономики и, в конечном итоге, — к укреплению вооруженных сил. Эти военные круги были готовы принять низкий уровень достаточности обороны, несмотря на то, что американцы, по их мнению, эту идею не одобряют. Некоторые теоретики из военных и многие гражданские специалисты по стратегическим проблемам утверждали, что для обеспечения достаточной обороны нет необходимости добиваться паритета с Западом во всех направлениях военного строительства. Установка на такой паритет, по их мнению, даже противопоказана „в силу того, что американцы были бы рады измотать нас таким образом” (Обр. пер. с англ. — Ред.)¹⁹ Кое-кто из представителей гражданских

ведомств доходил даже до утверждений, что разумную достаточность следует интерпретировать как способность предотвратить войну, сдерживать потенциального агрессора и успешно защищать собственную страну (эту формулу использовал и Горбачев), не доводя при этом боевые ресурсы до уровня, необходимого для ведения наступательных действий.²⁰

Все эти подходы сверкали новизной в сравнении со стратегической доктриной 1970-х годов. В течение первых лет правления Горбачева советская внешняя политика, безусловно, стала неизмеримо динамичнее, но это сомнительный комплимент, поскольку так же, как с гласностью, точка отсчета была очень низкой. В начале 80-х годов Советский Союз сам себя загнал в крайне неудобную позицию. Так что интенсивные дипломатические переговоры и государственные визиты, сопровождавшие внутреннюю перестройку, не могли не произвести впечатления за рубежом. Советские дипломаты заговорили на новом языке, следуя примеру свыше. Они стали высказывать готовность к обсуждению ранее запретных тем, они стали даже время от времени шутить и улыбаться. Создавалось впечатление, что решающий прорыв в отношениях между Востоком и Западом — дело близкого будущего.

Надежды эти оказались преждевременными. Советская дипломатия, действительно, сделала попытку улучшить отношения с Соединенным Королевством и Западной Германией, которая уже в 70-е годы была излюбленным западным партнером Москвы. Однако ни эти усилия, ни визиты советских руководителей в Скандинавию, Испанию, Латинскую Америку и другие части земного шара, ни относительная умеренность тона советских средств массовой информации²¹ не привели немедленно к серьезным переменам. Впрочем, по всей вероятности, этого и не ожидали и в Кремле. Главной задачей было „поднять флаг” нового курса, создать представление о Советском Союзе не только как сверхдержаве, но и ответственной, умеренной и заслуживающей доверия международной силе.

Преимущество продолжала определять и советскую дальневосточную политику. Вновь всплыла идея всеазиатского форума. Во владивостокской речи в июле 1986 г. Горбачев подчеркнул роль Советского Союза как тихоокеанской державы,

Однако эти идеи не так уж сильно отличались от недоношенной брежневской схемы дальневосточной системы коллективной безопасности (июнь 1969 г.). Реакция азиатских стран в 1986 г. была не намного более положительной, чем семнадцатью годами ранее, хотя произошло некоторое сближение с недавно добившимися независимости странами региона. Несмотря на визит советского министра иностранных дел в Токио, СССР не проявил готовности к уступкам по территориальным вопросам, но пошел на ряд второстепенных уступок в переговорах с Китаем — согласился на определение китайско-советской границы по середине русла Амура и Уссури, а не по китайскому побережью; кроме того, были даны обещания о шагах навстречу китайской позиции в трех главных пунктах противоречий — по поводу Афганистана, Камбоджи и уменьшения концентрации войск вдоль общей границы протяженностью в 7,5 тысяч километров. Нормализации отношений способствовал и рост торговли между двумя странами. Китай направил делегацию в Москву на празднование 70-летней годовщины Октябрьской революции. Горбачев назвал Китай „Великой социалистической державой”, а китайцы умилили тон критики в адрес СССР. Однако даже если удастся найти удовлетворительные решения по всем главным проблемам, разделяющим сейчас эти ведущие державы коммунистического мира, взаимная подозрительность между ними укоренилась настолько, что возвращение к близости времен Сталина и Мао представляется совершенно нереальным.

Заметно улучшилась общая атмосфера и на Дальнем Востоке, и в Европе, хотя не было прогресса в решении существенных противоречий. Советские лидеры с самого начала имели мало надежд на это и не считали отсутствие драматических позитивных сдвигов неудачей. Из опыта прошлых лет они усвоили, что отношения между ведущими странами густо замешаны как на конфликтах, так и на общих интересах, что исключает возможность радикальной переориентации союзников. Творцы советской внешней политики гибко и настойчиво преследуют определенные фундаментальные цели — например, стремятся предотвратить коалицию потенциальных противников. Были приняты действительно серьезные усилия по выводу советских войск из Афганистана, но в целом, советская внешняя политика претерпела

меньше изменений, чем политика в других сферах. Этого и следовало ожидать: даже если Горбачев и его коллеги заинтересованы в глубокой переориентации советской внешней политики, они не могли осуществить эту цель, по необходимости уделяя основное внимание внутренним делам. Приоритет внутренней политики над внешней был очевиден с самого начала. Не подлежало сомнению, что менее всего Генеральный секретарь нуждался в открытии второго фронта, когда только что началась борьба на фронте внутреннем.

Министерство иностранных дел СССР отдало ритуальную дань гласности и перестройке, возобновило публикацию собственного органа, „Вестника”, издававшегося в 1918 г., но давно закрытого, а Эдуард Шеварднадзе произнес речь с призывами к проведению внутренних реформ в министерстве, необходимость которых пояснил следующим примером: Долгие годы в МИДе работал некий эксперт по неким проблемам большой важности (даже в эпоху гласности министр не отважился на более конкретную информацию). Этот человек, будучи скромным, не занимался саморекламой, и поэтому его таланты так и не нашли достойного применения, и теперь ему вскоре предстоит выход на пенсию. Что за непозволительная растрата талантов!²²

История невеселая, но такое случается в нашем мире почти повсюду. Рассказав этот случай, советский министр иностранных дел продемонстрировал свою заботу о людях, однако при этом обнаружил и собственное понимание гласности и перестройки. Но как ни скромны были предлагаемые Шеварднадзе реформы, даже они вызвали ощутимое сопротивление аппарата министерства. В том же выступлении Шеварднадзе сказал, что многие бывшие и нынешние сотрудники министерства возмущены его политикой открытости и гласности, считая, что она подрывает авторитет советского внешнеполитического ведомства. Можно не уточнять, что сам Шеварднадзе не разделял этого мнения. С его точки зрения, новый дух подлинной партийности не только требует творческого развития марксизма-ленинизма и профессиональной компетентности, но поощряет высказывание собственных взглядов, невзирая на критику как изнутри, так и извне министерства.

Запад с энтузиазмом приветствовал гласность. Сперва, впрочем, там проявляли сдержанность — ведь в свое время средства массовой информации возлагали слишком много надежд и на избрание Андропова. Было сказано немало приятных слов даже о здравом смысле и хладнокровии Черненко. Ввиду последовавших за этим разочарований некоторая осторожность казалась вполне уместной. Лишь через год после прихода Горбачева к власти заговорили о новом стиле советского руководства. В 1987 г. стал постепенно проявляться и подлинный энтузиазм — утверждалось, что политический климат наконец-то изменился, что „холодная война” ушла в прошлое и что горбачевская революция — это один из величайших поворотных пунктов советской истории.

Как всегда, здесь имелись нюансы и различия: мера энтузиазма была куда выше в США и Западной Германии, чем во Франции и Италии. Мало кто из экономистов разделял оптимизм прессы по поводу перспектив горбачевских реформ. Либеральные политические обозреватели, такие как Теодор Дрейпер (писавший в „Диссенте”) предупреждали против преувеличенных надежд. Московский корреспондент одной из английских газет Мартин Уолкер, один из самых оптимистичных западных наблюдателей советских событий, присоединился к предупреждениям Дрейпера. После лекционного турне по Соединенным Штатам он не скрывал изумления по поводу готовности американских советологов не только соглашаться с его предположениями относительно будущего курса горбачевских реформ, но даже заходить в своем оптимизме еще и дальше. В восторг от этого он не пришел: „Никогда не следует недооценивать способность американских средств массовой информации создавать на потребу дня очередные мифы, чрезмерно приукрашивая банальные события и освящая вполне мирские дела”. Он выражал опасение, что маятник американского общественного мнения, ныне пребывающего в состоянии эйфории, может быстро качнуться назад, от уверенности к отчаянию и от веры к отрицанию.²³

Как объяснить искренние восторги по поводу Горбачева

и его нового курса, расточаемые отнюдь не только теми кругами на Западе, которые постоянно приветствуют советскую политику? Конечно же, горбачевский стиль и его политическая программа — огромный шаг вперед по сравнению с брежневской эрой, не говоря о более ранних главах советской истории. И в прошлом не раз ожидали и прогнозировали решительный поворот советской политики к лучшему — так было после вступления СССР во вторую мировую войну в 1941 г., после победы союзников над странами оси, после смерти Сталина в 1953 г., и по поводу ряда других событий, последним из которых по времени было избрание Андропова генеральным секретарем ЦК КПСС. Каждый раз надежды оказывались преждевременными, что мешало сохранению непомерного запаса оптимизма по отношению к Советскому Союзу, который, рано или поздно, должен все-таки превратиться в демократию европейского типа.²⁴

Последствия такого исторического поворота тоже казались очевидными: более безопасный мир, исключение возможности ядерной войны, огромная экономия в расходах на вооружение, свободное от страхов и более обеспеченное существование. Потенциальные приобретения от демократизации и либерализации Советского Союза выглядели поистине впечатляющими. Неудивительно, что западные средства массовой информации с их постоянной слабостью к преувеличениям, превращали эти надежды и возможности в факты, в достоверность. Наконец, всегда в высшей степени присущая западной прессе и телевидению тенденция к персонификации политических проблем нашла в Горбачеве великолепного кандидата — „звезду“, как точно выразился журнал „Шпигель“ уже в 1985 г., „человека года“ в американских журналах новостей. Наконец-то появился советский лидер, которого западные корреспонденты смогли признать за человека своего круга: хорошо смотрится на публике, женат на привлекательной женщине, компетентен, разумен, быстро реагирует, хочет мира, обладает здравым смыслом, чувством юмора и прекрасными способностями к общению. По популярности он занял ведущее место в западных странах, иногда потеснив и их собственных лидеров.

Президент Картер назвал Горбачева „самым гуманным из всех мировых лидеров“. Харизма советского руководителя так

потрясала кое-кого из журналистов, как если бы они имели дело с человеком королевской крови. Один из журналистов так описал встречу с ним:

„Пронесся гул всеобщего возбуждения и в комнате появились супруги Горбачевы. Все выглядело так, будто появилась чета монархов или звезды телеэкрана. Подлинный их облик — молодежавших, улыбающихся, с прекрасным цветом лица, излучающих уверенность — был гораздо привлекательней их изображений. Горбачев на газетных фотографиях казался массивным, крепко сбитым человеком с тяжелой челюстью. Наяву же он просто излучает энергию, целеустремленность и теплоту прирожденного харизматического лидера, знающего себе цену и наслаждающегося отражением своей значимости в глазах окружающих”.²⁵

Такого рода реакции Горбачев в значительной мере обязан естественному обаянию. Ни Егор Лигачев в Париже, ни Николай Рыжков в Стокгольме и Осло, ни Шеварднадзе в Латинской Америке, ни прочие советские руководители никогда не вызывали такого экстаза у публики.

Отношение к руководителю неизбежно влияет и на оценку его политики. Как же можно было сомневаться, что Горбачев — симпатичный и порядочный человек, заслуживающий безусловного доверия? Почему же насторожены по отношению к нему западные лидеры? Критики такой позиции утверждали, что Горбачев взялся осуществить наиболее далеко идущее обновление советской системы за целых полстолетия, и продвижение Советского Союза навстречу давним пожеланиям Запада создавало совершенно новые возможности в международной политике.²⁶ Запад же вместо того, чтобы признать и использовать эти изменения, выбрал тактику „поживем — увидим”. Другие комментаторы в таких же терминах подчеркивали важность советских реформ и предупреждали „против чрезмерно скептического реагирования”, могущего замедлить дальнейший прогресс Советского Союза”.²⁷ Такая критика не была обоснованной. Ведь ни один советский руководитель со времен второй миро-

вой войны не награждался такими аплодисментами и не стал символом западных надежд на внутренние изменения в Советском Союзе. Как отмечала газета „Вашингтон пост“, „Генри Киссинджер и несколько американских сенаторов предупреждали, что в случае успеха Горбачева пострадает безопасность западных демократий“, но их возражения были „лишь одинокими головами в хоре всеобщего одобрения“.²⁸

Несмотря на доброжелательность и симпатию, Запад выбрал выжидательную позицию, как, собственно, и советская публика, судя по всей имеющейся информации.²⁹ В прошлом жителей Советского Союза слишком часто призывали к реформам. Западные лидеры, от Маргарет Тэтчер (назвавшей в ноябре 1987 г. Горбачева отважным человеком) до Денниса Хили, от западногерманских социал-демократов до лидера консерваторов Франца-Йозефа Штрауса не скупилась на лестные замечания о Горбачеве. Если бы они обняли его еще крепче, итогом вполне мог бы быть поцелуй смерти. Точно так же и капитаны западной экономики не заслуживают упрека в отсутствии у них доброй воли. Американские банкиры были готовы предоставить СССР займы под более низкий процент, чем, скажем, Бразилии.

Сам президент Рейган за несколько дней до прибытия Горбачева в Вашингтон в декабре 1987 г. задал тон, заявив по национальному телевидению, что Горбачев отказался от коммунистической идеи мирового господства, выступает за всеобщее ядерное разоружение и не отвечает за войну в Афганистане.³⁰ Чего же еще можно требовать от человека, который в свое время назвал Советский Союз „империей зла“?

Один из рупоров западного капитализма, английский журнал „Файнаншиал Таймс“ опубликовал восторженную рецензию на книгу Горбачева „Перестройка“. Джордж Кеннан также преисполнился энтузиазма:

„Горбачев предпринял наиболее серьезную на сегодняшний день попытку изменить некоторые факторы и политику, вызывавшие здесь (в США) столь негативную реакцию... Пока эта ориентация Горбачева остается в силе, перспективы существенного улучшения советско-американских отношений будут куда лучше, чем в любое время после революции“.³¹

Газета „Нью-Йорк Таймс” назвала книгу Горбачева „публикацией года”; лишь газета „Уолл-Стрит Джорнэл” не выражала восторга.³² В Западной Германии — стране, отнюдь не знаменитой крупными издательскими гонорарами, за публикацию „Перестройки” было уплачено 1,5 млн. марок. Через несколько дней стало ясно, что риск издателей был оправдан, ибо еженедельник „Шпигель” уплатил еще 1 млн. 200 тыс. за право публикации ее журнального варианта.

Мнения разделились даже в среде живущих на Западе эмигрантов из Советского Союза. В некоторых эмигрантских журналах слова „гласность” и „перестройка” помещали в кавычках. Владимир Буковский назвал Горбачева новым сталинистом у власти. В начале кампании за гласность десять видных эмигрантов призвали Горбачева предоставить ощутимые доказательства существенных изменений в Советском Союзе. Они в свое время эмигрировали не по какой-то трагической ошибке, но вследствие глубоких расхождений с режимом, не желавшим уважать свободу самовыражения творческих личностей. Не сохранится ли подобный контроль и в будущем?

Ко всеобщему удивлению, газета „Московские новости” напечатала это письмо, снабдив его длинной ответной статьей. Куда менее странным было, что сверху редактору выразили неудовольствие, так как публикацию сочли политической ошибкой. Однако он не был смещен, что, конечно, само по себе демонстрировало определенный сдвиг в направлении гласности.

Другой писатель из эмигрантов, активист правозащитного движения Борис Вайль, опубликовал статью, озаглавленную „Гласность: наполовину выигранная битва”. Он предупреждал своих собратьев по эмиграции против „одностороннего негативизма”: „Предъявляя Горбачеву свои максималистские претензии, мы напоминаем собственных же оппонентов: не чистый ли это большевизм, требовать от него, чтобы он завтра же закрыл КГБ и ввел многопартийную систему?”³³ Некоторые из новоприбывших из СССР, такие, как Натан Щаранский, встали на куда более скептические позиции, выражая опасения, что Западу грозит искушение советской гласностью. Западные политики и журналисты не смогли устоять перед обаянием горбачевской политики, близкой по стилю к их собст-

венному. Горбачев принес с собой надежду и новые возможности, но только, если видеть его таким, каким он на деле является. Для обитателей Запада это было психологически нелегким делом. Другие недавние эмигранты, однако, проявляли меньше скепсиса и просили о выдаче им советских виз. Большинство получило разрешение вновь посетить свою прежнюю родину.

Последователи Троцкого также не могли прийти к единому мнению относительно смысла событий в Советском Союзе. Международный комитет IV Интернационала объявил Горбачева злейшим врагом рабочего класса, обвинив в недостаточном сочувствии революционным движениям за пределами СССР, их слабой поддержке и трусости — как он смел подписать соглашение с Вашингтоном о контроле над вооружениями? Однако Эрнест Мандель, ветеран троцкизма, приветствовал Горбачева как „представителя наиболее просвещенного крыла бюрократии”. Другие, подобно Хили и Банде из рабочей революционной партии, пошли даже дальше, встав на практически тождественные с коммунистами позиции: в СССР нет никакой капиталистической реставрации, напротив страна находится на пути к изменениям огромной социальной и политической значимости.³⁴

Крайне левые нетроцкистского толка тоже встретили горбачевские реформы с одобрением. Их поощрили к этому статьи Бориса Кагарлицкого и нескольких других левых диссидентов из Москвы и Ленинграда, опубликованные в таких английских журналах, как „New Left Review“, и в американском „In These Times“. Согласно этим источникам, по всему Советскому Союзу молодежь ринулась в социалистические клубы и, куда меньше интересуясь правами человека, нежели диссиденты 70-х годов, озабочена главным образом возвращением к „позитивному марксизму”. Один из таких левых писал, что за пределами СССР большой сенсацией стало возрождение массового левого движения, напоминающее западную радикализацию 60-х годов. Мнение это, мягко говоря, было большим преувеличением. Горсточка молодых интеллигентов заинтересовалась идеями Маркузе, Грамши и Даже Бакунина через двадцать лет после того, как они вошли в моду на Западе. В начале 80-х годов несколько человек были за это арестованы.

Есть основания считать, что датированный 21 ноября 1985 г. ленинградский манифест движения за социалистическое обновление, наделавший шума в некоторых западных органах массовой информации, вышел из этих же кругов.³⁵ Манифест призывал к системным изменениям и содержал немало крупномасштабных предложений. Осталось, однако, неясным, сколько человек (пять, пятнадцать, или, возможно, даже пятьдесят) стоит за этим манифестом и были ли они в действительности членами партии. В начале 1988 г. Кагарлицкий признал, что лишь немногие проявили интерес к их идеям. С одной стороны, выросла популярность неосталинизма, с другой — советские радикальные либералы остались „культурниками“, оставив экономические проблемы консерваторам.³⁶

В итоге большинство западных наблюдателей обнаружили в Советском Союзе то, что желали там найти. В столь неопределенной ситуации это неудивительно. В Советском Союзе столько противоречивых тенденций, что хватит поистине на всех. Нелегко было выделить в путанице противоречивых сведений отражающие подлинную советскую действительность, а не западные предпочтения. Коснемся, наконец, реакции на происходящее в СССР других коммунистических режимов в Европе и остальном мире. Румыния и Куба с самого начала твердо противостояли реформистскому движению, однако остальные высказались за перестройку, хотя Восточная Германия и Чехословакия отнюдь не спешили с одобрением наиболее смелых выступлений Горбачева. Польша и Венгрия стали проводить реформы задолго до 1986 г. — первая по необходимости, вторая в силу собственного выбора. Исходящие из Москвы инициативы эти страны приветствовали как подтверждение правильности их собственной позиции. После некоторых колебаний ревностным сторонником экономических реформ стала и Болгария. Более того, в конце 1987 г. советским братьям пришлось предупредить Тодора Живкова о необходимости большей осторожности и меньшей амбициозности; никто не предлагал, чтобы партия отказалась от тотального контроля над экономикой.

Для Северной Кореи реформа явно не представляла интереса. Китай развивал собственные гласность и перестройку, которые во многом отличались от советских. В Чехословакии

с течением времени, после назначения преемника Густава Гуса-ка стали проявлять чуть больше энтузиазма. Однако немцы ГДР остались несокрушимыми. Они по праву заявляли, что их экономика — самая сильная во всей Восточной Европе, и что такое положение дел было результатом их жесткой централизации — концентрации всех промышленных предприятий в рамках 150 объединений. Зачем же менять то, что и так неплохо работает, во всяком случае, по восточноевропейским стандартам? На деле, впрочем, представление о Восточной Германии как об экономическом богатыре было во многом иллюзорным. Экономический рост этой страны оставался более чем скромным, ее торговля с Западом непрерывно падала, а отставание от Западной Германии за последние 20 лет увеличилось.³⁷ Но, в отличие от Польши, ГДР никогда не стояла перед опасностью банкротства.

По словам Курта Хагера, члена восточногерманского политбюро, отвечающего за вопросы идеологии, если ваш сосед меняет обои в своей квартире, следует ли отсюда, что и вы должны делать то же самое? Это сравнение вряд ли пришлось по вкусу московским сторонникам реформ, но у них были куда более срочные задачи, нежели полемика с восточногерманскими соратниками.

То, что было только что описано — это реакция восточноевропейцев на советскую перестройку; что же касается гласности, то она нигде не вызвала особого энтузиазма, если не считать Польши и Венгрии. Напротив, повсеместно распространились опасения, что результатом развития гласности может стать дестабилизация лояльных к Советскому Союзу режимов: небольшие диссидентские группы в Восточной Германии и других странах региона почувствовали поддержку в новом курсе Горбачева и даже стали апеллировать к авторитету советского лидера. Руководство Восточной Германии не колебалось ни секунды: если Горбачев освободил политических заключенных и разрешил академику Сахарову вернуться из горьковской ссылки, то Эрих Хоннекер санкционировал массовые аресты и высылку десятков пацифистов и религиозных активистов в Западную Германию. Правительство Чехословакии, со своей стороны, было обеспокоено попытками Москвы (впрочем, пока еще не публичными) ответить на вопрос, была ли военная интервенция

1968 г., положившая конец пражской весне, оправданной и хорошо продуманной акцией. Официальные лица стали немедленно утверждать, что ситуация в Чехословакии в то время радикально отличалась от нынешней советской перестройки: в противоположность ей, реформистское движение в этой стране („социализм с человеческим лицом“) было инспирировано внутренними и внешними реакционными силами.

Ситуация и вправду была иной. Исторически советский коммунизм был явлением доморощенным, а в Восточную Европу он был принесен на штыках Красной армии во время и после второй мировой войны. Если жители СССР уже в какой-то мере свыклись с коммунизмом, то этого нельзя сказать о восточноевропейцах. Здесь всегда существовало скрытое национальное недовольство: хотя, возможно, диссиденты и были немногочисленны, они могли рассчитывать на серьезную общественную поддержку и, начав с пальца, откусить всю руку и даже куда больше. Центробежные силы оставались значительными даже в такой относительно стабильной коммунистической системе, как восточногерманская. При этом довольно высокий уровень жизни этой страны, имеющиеся там большие возможности по части развлечений (в форме западного телевидения) и рекорды по плаванию и легкой атлетике не играли особой роли.

В конечном счете, внутреннее спокойствие коммунистических режимов всегда зависело от умиротворения масс. Развитие же гласности и демократизации не могло не возыметь обратного эффекта, создавая существенное беспокойство и неуверенность. Не так уж удивительно поэтому, что фильм Абуладзе „Покаяние“ сурово раскритиковали в Восточной Германии, а в большинстве восточноевропейских стран он прошел незамеченным. Пресса назвала его „исторически ошибочным“ и „бесчеловечным“. Дело представили так, что картина подрывает единство партии с массами и льет воду на мельницу антикоммунистических сил.³⁸

Возбуждение, охватившее часть восточноевропейских интеллектуалов вследствие новых советских свобод в культурной сфере, охладили высказывания их партийного руководства, что как раз этому советскому примеру следовать не стоит. Что

касается Венгрии и Польши, то они уже имели такую гласность, которую, как полагали их партии, они могли себе позволить политически. В любом случае, в этих странах гласность началась задолго до Горбачева. В прочих же странах партии восприняли гласность как нечто враждебное и подрывающее основы.

Таким образом, налицо определенная неоднородность восточноевропейского политического ландшафта. Большинство здесь одобряет прагматические перемены в экономике, но возражает против гласности и политических реформ. Это разнообразие можно было бы интерпретировать как вселяющее надежду: по крайней мере, ушло в прошлое насильственно утверждаемое монолитное единомыслие сталинских времен. Не следует забывать, однако, что этот монолит дал первые трещины уже после отлучения Тито и отхода от советского курса Румынии и Албании.

Перестройка, действительно, породила некоторое рассогласование в Восточной Европе: Советский Союз может достичь большей интеграции со своими восточноевропейскими союзниками только если эти страны начнут проводить у себя реформы более или менее в советском духе. Не станет ли настоящей необходимостью ближайших лет выработка какой-то общей идеологической основы, отличной от традиционных клише? Никто не может с легкостью ответить на эти вопросы.

Взгляд в будущее

Несомненно, гласность означает нечто большее, чем демонстрацию положенных много лет назад на полки фильмов и публикацию после десяти—двадцатилетней задержки запрещенных некогда романов. Советские средства массовой информации стали обсуждать положение дел в стране гораздо свободней, нежели в прошлом. Однако, как показывает опыт предреволюционных лет, даже сравнительно высокая степень культурных свобод вполне может сосуществовать с авторитарической политической системой. Но что будет после того, как выйдут все прежде запрещенные фильмы и книги и превратятся в общие места разоблачения положения дел в сельском хозяйстве и не-

достатков здравоохранения? Главные запретные зоны все еще никем не отменены. Это не только все связанное с нынешним руководством страны, но и история компартии, и роль КГБ.

В самом деле, скептики могут утверждать, что именно здесь большинство действительно серьезных вопросов, затрагивающих существо режима. С этой точки зрения, публикация в 1988 г. „Доктора Живаго” и даже книг Платонова, Замятина, Орвелла, так же как выставки абстрактной живописи и концерты современной музыки — большие достижения, которые, однако, важны лишь для незначительной части советского населения. Новые правители страны допускают эти свободы, поскольку они не представляют политической угрозы режиму.

Но даже если гласность не вышла бы за пределы перечисленных явлений, она все равно чрезвычайно интересное событие, поскольку благодаря гласности расширились знания Запада о происходящем в Советском Союзе. Что сулит она в будущем? Гласность не является необратимой. При отсутствии подлинных демократических гарантий данное однажды может быть взято назад. Судя по всему, гласность уже достигла своих пределов. Но вполне возможен частичный регресс, итогом которого станет сужение этих рамок. Пока что гласность означала откровенный разговор о недостатках советской политики, общества и различных сторон жизни в Советском Союзе. Что произойдет, если эти споры и разоблачения не приведут к улучшениям? В основе гласности лежала надежда. Для многих она была глотком свежего воздуха после удушающих лет стагнации. Но без реальных изменений надеждам суждено будет развеяться, и воздух вновь приобретет застойный запах.

Реформы советского общества вряд ли приведут к успеху в ближайшие пять—десять лет. Экономические и социальные проблемы страны имеют структурный характер, а политические изъяны глубоко укоренены в ее прошлом. Для обеспечения подлинных перемен потребовалось бы нечто вроде культурной революции. В истории такие революции случаются, но не часто, и нет никаких намеков на нечто подобное в ближайшем будущем в Советском Союзе. Ситуация в стране могла, по словам Горбачева, стать почти критической, но все-таки кризис не достиг уровня, необходимого для стимулирования истинно ради-

кальных реформ. Нет никакого сомнения в том, что итогом „эффекта новой метлы”, как называют его некоторые экономисты, т. е. большей энергии нового руководства и провозглашенных им новых инициатив, будут какие-то частичные улучшения. Однако новизна метлы будет с каждым годом идти на убыль и опасности для гласности будут возрастать, ибо она делает управление страной более трудным по сравнению с прошлым. Сегодня выходят на поверхность ранее скрытое национальное и социальное напряжение и конфликты. В итоге неизбежны столкновения и нарушения порядка, что будет наруку тем, кто уже давно утверждал, что советский народ не готов к политической свободе, и, возможно, не дорастет до нее еще в течение поколений. Они будут доказывать, что только авторитаризм, господствовавший на протяжении практически всей истории России, соответствует ее устоям. Конечно, это будет просвещенный авторитаризм, но все же не система, основанная на свободе, широком и добровольном участии общества в управлении страной. Чем серьезнее будут проблемы, которые встанут перед лидерами СССР в ближайшие годы, тем сильнее будет искушение вернуться к прежнему способу руководства.

Возможны радикальные перемены в руководстве, но они не неизбежны. Если социально-экономические реформы не приведут к желаемому результату, в Советском Союзе всегда могут заявить, что и западные страны, не говоря уже о третьем мире, тоже испытывают (и, безусловно, будут испытывать) серьезные затруднения. Следовательно, при всех осложнениях Советский Союз не находится в худшем положении: если его экономический прогресс замедлен и если у него хватает социальных проблем, то ведь то же самое справедливо и по отношению к большинству других стран. Только в сравнительном контексте можно решить вопрос о банкротстве той или иной социально-политической системы. Если бы весь окружающий мир пребывал в состоянии устойчивого роста и процветания, если бы там наблюдалось постоянное ослабление национальных противоречий и социальной напряженности, тогда, действительно, Советский Союз через несколько лет оказался бы в безвыходном положении. Поскольку же перспективы Запада не столь безоблачны, то и будущее советской системы предстает в не столь уж мрачном свете, во всяком случае, до конца нашего

столетия — до тех пор, пока в США будет продолжаться рост неоизоляционизма, пока Китай будет заниматься преимущественно своими внутренними делами, пока Западной Европе не удастся добиться значительного прогресса в ее интеграции, статус сверхдержавы Советскому Союзу по-прежнему гарантирован.

Судя по всему, какого-то прогресса СССР все же добьется, что вновь укрепит авторитет партии и государства. Что бы ни происходило в дальнейшем, какая-то степень гласности все же, несомненно, останется, и общая атмосфера в стране будет менее удушающей по сравнению с 60-ми и 70-ми годами. Время от времени интеллигенция будет испытывать границы гласности, пытаясь их несколько расширить, по мере утраты шансов на осуществление ярких надежд. Вероятно, будет усиливаться отход интеллигенции от общественной деятельности в частную и профессиональную жизнь, как уже бывало в прошлом.

Этот сценарий представляется наиболее вероятным, но, разумеется, мыслимы и иные варианты. Советское руководство может пойти и на установление диктаторского режима, если оно почувствует опасность лишиться контроля над страной. Сопротивление нерусских наций господству Москвы, забастовки рабочих, дальнейшее падение дисциплины в молодежной среде, подрывающие привычное послушание сомнения интеллектуалов — все это может породить ощущение нарастания кризиса и, как следствие, привести к жестким мерам, хорошо опробованным в прошлом. Тогда гласности наступит конец и ее будут осуждать как либерально-буржуазное извращение ленинизма. Подобный ход событий выглядит возможным, но не слишком вероятным. Еще сомнительнее появление какой-то военной диктатуры „русской партии”. Влияние подобных сил не стоит преуменьшать, но они могут действовать скорее в качестве тормоза, нежели в качестве альтернативного правительства. Они выражают определенные общественные настроения, но у них нет программы, и отношения к ним в стране настолько поляризованы, что у власти они могли бы оставаться, лишь применяя чрезвычайные меры. Возвращение типично сталинского режима тоже выглядит невероятным, поскольку нынешние верхи и без того держат в своих руках все нужные рычаги для

установления полного контроля над страной в любое время. Впрочем, внутренняя напряженность в СССР может быть более взрывоопасной, чем это можно заметить со стороны, и положение руководства — более шатким, чем оно выглядит в настоящее время. Если это так, обнаружение подобных сдвигов лежит за пределами возможностей внешних наблюдателей.

Последняя, тоже маловероятная возможность, состоит в том, что реформы увенчаются успехом. Не подлежит сомнению, что такой итог был бы оптимальным и для Советского Союза, и для всего мира. Точка зрения, что заметное укрепление СССР неминуемо означало бы ослабление Запада, представляется неубедительной. Можно ли сегодня всерьез обсуждать перспективу успеха реформы? Большинство знающих наблюдателей и внутри СССР, и за его пределами согласны в том, что нынешние реформы следовало провести уже давно и что они являются шагом в правильном направлении, но никто не ожидает крупного успеха в близком будущем.

Все это высказано не для того, чтобы вызвать недоверие к доброй воле и даже к идеализму представителей как высших, так и низших сфер советского общества, которые, испытывая искреннее недовольство состоянием своей страны, хотели бы добиться подлинного разрыва с прошлым. Я от всей души желаю им успеха, но препятствия на их пути очень велики. Нужно надеяться, но при этом, как писал доктор Джонсон, не слишком доверять этой надежде — „ведь надежда сама по себе счастье, и сколь бы ни были частыми разочарования, все же они менее ужасны, нежели смерть самой надежды”. „Вера, говорил он, способна сдвинуть горы и сотворить чудеса”.

Советский Союз тоже подвержен действию закона перемен. Для коммунистических, как и для всех иных режимов, время не останавливается.

Итак, я повторяю вновь: есть причины полагать, что эра гласности в СССР уже достигла высшей точки и в ближайшем будущем не следует ожидать крупных сдвигов. При благоприятном течении событий удастся избежать значительного отступления от уже достигнутого уровня гласности, но даже этот вариант нельзя считать само собой разумеющимся. Опять-таки, если повезет, когда-нибудь будет предпринята новая попытка

расширить параметры свободы. Дальше этого никакие реалистические прогнозы идти не могут: возможно, время чудес еще не ушло в прошлое, но лишь полностью отчаявшиеся люди могут на них рассчитывать.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Например, см. Анатолий Громыко и Владимир Ломейко. „Новое мышление в ядерный век”. М., 1984. Считается, что именно эти авторы изобрели данный термин на конференции в Гамбурге в 1984 г.
- 2 „Правда”, 7 марта 1986 г.
- 3 В. В. Загладин („Вопросы философии”, № 2, 1986), Анатолий Добрынин („Коммунист”, № 16, 1986).
- 4 Истории о СПИДе, вызвавшие особое недовольство в Вашингтоне, повторяли обвинения каких-то африканских источников, основывавшихся на высказываниях анонимных франко-алжирских медиков и никому не известных восточногерманских ученых; например, см. „Собеседник”, 52, 1987. В случае американских протестов советские представители всегда могли заявить, что советская пресса лишь воспроизвела сведения, уже распространявшиеся средствами массовой информации других стран.
- 5 „Известия”, 3 марта 1987 г.
- 6 V. S. Gurevich and V. T. Tretiakov, *Seventy Years of Soviet Government*. Moscow, 1987, pp. 65, 78, etc.
- 7 Е. Плимак („Правда”, 14 ноября 1986 г.). Различные официальные философы выражали подобные взгляды в течение 1987 г. См., например, „Вопросы философии”, № 10–12, 1987.
- 8 Вячеслав Дашичев („Литературная газета”, 18 мая 1988 г.)
- 9 Брежнев в речи в Туле в 1977 г. отказался от идеи победы в ядерном конфликте и отверг достижение военного превосходства

в качестве политической цели. Однако этот шаг не возымел большого значения, поскольку, столкнувшись с генеральской оппозицией, так и не сделался официальной советской линией на переговорах.

10 Dale R. Herspring, „Gorbachev, Yazov and the Military...”

11 В 1987 г. советская пресса публиковала бесконечные статьи и письма на эту тему. См. также широко обсуждавшуюся повесть Юрия Полякова „Сто дней до приказа” („Юность”, № 10, 1987). Официальные представители армии отвергли это произведение из-за якобы нетипичности изображенного в ней, но в других кругах оно получило полное одобрение.

12 „Красная звезда”, 19 июля 1987 г.

13 Среди главных участников этой дискуссии были Александр Бовин (см. написанную им статью „Война” в „Философском энциклопедическом словаре”, М., 1983), Л. Флористов („Коммунист”, № 15, 1986), Д. Проектор („Московские новости”, 26 апреля 1987) и В. Загладин („Проблемы мира и социализма”, № 5, 1987). Эти и другие авторы защищали ту точку зрения, что ядерная война не является подходящим средством для достижения политических целей. Противоположные взгляды высказал генерал Табунов в „Коммунисте вооруженных сил” (№ 13, 1987). Гражданские специалисты по стратегическим вопросам утверждают, что в ядерный век внезапное нападение в высшей степени маловероятно (В. Журкин и др., „Коммунист”, № 1, 1988) и что в ядерной войне невозможна даже успешная оборона (Е. Велихов, „Коммунист”, № 1, 1988). Некоторые известные комментаторы исходят из такого понимания в размышлениях об осуществимости всемирного правительства, причем точка зрения Г. Шахназарова более оптимистична по сравнению со взглядами А. Бовина (см. „Правда”, 15 января 1988 г. и 1 февраля 1988 г.).

14 См., например, статью генерала Шеврова („Советская Россия”, 23 августа 1986 г.).

15 „Коммунист”, № 9, 1986.

16 „Советская Россия”, 21 февраля 1987 г.

17 Л. Семейко. Указ. соч.

- 18 „Правда”, 16 марта 1987 г.
- 19 Е. Примаков, Новая философия внешней политики, „Правда”, 10 июля 1987 г.
- 20 М. Горбачев („Известия”, 18 сентября 1987 г.).
- 21 Советская пресса, наряду с традиционным антизападным освещением событий, сейчас публикует и какую-то объективную информацию. Подчас советские средства массовой информации признают, что где-то что-то можно позаимствовать у Запада.
- 22 Первоначально это выступление было опубликовано в „Вестнике Министерства иностранных дел” (№ 1, 1987). Здесь излагается по: „Аргументы и факты”, 36, 1987.
- 23 The Guardian, 30 сентября 1987.
- 24 Edson W. Spencer, *International Herald Tribune*.
- 25 Joice Carol Oates, *The New York Times*, 3 января 1988.
- 26 Joseph S. Nye, Jr., Выбор слова „обновление”, „перестройка” (Revamping) нельзя признать удачным, поскольку словари определяют его как „наложение заплаток”.
- 27 Robert Levgold, *Times* (London), 18 ноября 1987.
- 28 *The Washington Post*, 30 ноября 1987.
- 29 Согласно международному опросу, проведенному в декабре 1987 г. институтом Гэллага, 22% советского населения полагали, что 1988 г. будет лучше предшествующего, 49% не ожидали существенных изменений, и 15% думали, что ситуация изменится к худшему. Для Соединенных Штатов соответствующие цифры составляли 56%, 8% и 25% („Daily Telegraph”, December 31, 1987).

- 30 Charles Krauthammer, „The Week Washington Lost its Head“, *New Republic*, 4 января 1988.
- 31 George Kennan, *The New York Review of Books*, 31 января 1988.
- 32 Archie Brown, *Financial Times*, 26 ноября 1987 г., Richard Pipes, *The Wall Street Journal*, 2 декабря 1987 г.
- Пайпс назвал эту книгу „набором клише, полуправд и прямой лжи, типичным для советской пропаганды былых времен“. Книга рассчитана на аудиторию очень низкого уровня, которая, как, вероятно, полагают советские эксперты, представляет общий знаменатель западного невежества и склонности к самообману.
- 33 *Times* (London) 1 июля 1987 г.
- 34 „Was geht in der Sowjet Union vor sich? Gorbachev und die Krise des Stalinismus“, *Inprekorr*, April 1987.
- 35 Первоначально этот манифест появился в „The Guardian“, 22 июля 1986 г., и впоследствии обсуждался в других периодических изданиях и книгах как документ большого значения.
- 36 См. интервью с Александром Кокбурном, „New Statesman“, January 29, 1988.
- 37 „The Economist“, 20 февраля 1987 г.
- 38 „Neues Deutschland“, 30 октября 1987 г.

СТАЛИН В ВОСПОМИНАНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ДИПЛОМАТА

(беседа английского политолога Джорджа Урбана
с бывшим британским послом в СССР
Фрэнком Робертсом*)

„Дядя Джо” и Прибалтийские государства

Урбан: *Я бы хотел завершить наш портрет Сталина как руководителя и как человека. Вы встретились со Сталиным в 1951 г., через несколько месяцев после того как Гитлер приступил к осуществлению своего плана „Барбаросса” и Сталин оказался в весьма затруднительном положении.*

Робертс: Да. В сущности, я бывал в России и прежде, когда был вместе с Уильямом Стрэнгом, советником нашего посла на англо-французских переговорах с русскими. Целью переговоров было добиться от русских сотрудничества в деле предотвращения гитлеровского нападения на Польшу. Тогда я пробыл в Москве лишь неделю и не видел Сталина. Моя первая встреча с ним состоялась во время визита в Москву Антони Идена в декабре 1941 г. Немцы стояли у ворот Москвы, и поражение Советского Союза рассматривалось как весьма

* Послом в СССР Робертс был в 1960—1962 гг.; в 1945—1947 гг. он был британским посланником и поверенным в делах в Москве; в 1947—1949 гг. — главным личным секретарем министра иностранных дел; в 1949—1951 гг. — заместителем Верховного Комиссара в Индии; в 1954—1957 гг. послом в Югославии и в 1963—1968 гг. послом в ФРГ.

вероятное. Ситуация на фронте была столь ненадежной, что, приехав в Москву через остров Медвежий, Мурманск и далее — вниз, вдоль финской границы, мы не знали, сможем ли мы вернуться назад тем же маршрутом, или нам придется возвращаться через Дальний Восток.

Первый контакт в военное время между британским правительством и советским руководством состоялся через Бивербрука, за месяц или два до нашего прибытия. Он отправился в Москву для выяснения, в чем больше всего нуждается Сталин, чтобы продержаться. К изумлению Идена, на первой же встрече Сталин начал с того, что поднял вопрос о послевоенных границах Советского Союза. Он заявил нам: „Я хочу ваших гарантий в том, что, когда наступит момент мирных переговоров, вы поддержите мои претензии на Прибалтийские государства, Восточную Польшу (разумеется, он упоминал эту территорию не как Восточную Польшу), Бессарабию и часть Финляндии”.

Урбан: *То есть Сталин хотел добиться от западных союзников того, чего, как ему казалось, он добился от Гитлера на основании секретных соглашений 1939 г.*

Робертс: Да, и это было мне особенно интересно. Дело в том, что когда Стрэнг и я вели с русскими переговоры в 1939 г., у Сталина было достаточно причин прервать эти переговоры и начать их с Гитлером, и одна из них, несомненно, заключалась в том, что в наши намерения не входило предоставление ему Прибалтийских государств и, уж тем более, — восточных территорий нашего союзника — Польши.

Урбан: *Сталин достаточно ясно заявил о своих претензиях в 1939 г.?*

Робертс: О, более чем! Это был один из главных вопросов. Сталин сказал: „Нас беспокоит германское влияние в пограничных с нами странах — Литве, Латвии и Эстонии, точно так же, как вы, в Англии, обеспокоены тем, что происходит в Бельгии и Голландии. Поэтому мы хотим поддержки с вашей стороны. Мы хотим, чтобы вы уважали наши интересы на тех

территориях, которые раньше входили в состав царской России". Он не сформулировал свои требования на включение этих территорий в состав СССР буквально, но из его слов было очевидно, что советский контроль над этими странами должен быть установлен.

Когда мы прибыли в Москву, мы привезли с собой инструкции французскому послу (и это весьма необычный комментарий к отношениям между Чемберленом и французами), который должен был присоединиться к нам в этих переговорах. (Вы только представьте себе, что бы сказал Де Голль, если бы англичане привезли инструкции его послу!) Когда французский посол прочел то, что мы привезли, он тут же сказал: „Здесь чего-то не хватает. Что мы будем делать с Прибалтийскими государствами? Разве мы не отдаем их русским?". Мы были несколько шокированы. Как мы могли отдать Сталину независимые государства? Тогда посол сказал: „Ну что ж, в таком случае мы напрасно тратим время", и он был прав. Он знал, что было у Сталина на уме.

Таким образом, мы имели перед собой Сталина, который в 1939 г. потребовал от нас отдать ему Прибалтийские государства, и которые мы ему дать не могли. А Гитлер мог, поэтому Сталин и решил иметь дело с Гитлером. Затем Гитлер напал на Польшу, и Сталин получил от него то, что хотел. Но когда Гитлер напал на Россию в 1941 г., он забрал все это назад.

Урбан: *Так что у вас не вызывают большого доверия заверения советской стороны в 1988 г., что у СССР не было никаких дурных намерений по отношению к Прибалтийским государствам в 1939 г., а также утверждения некоторых советских официальных представителей (Валентина Фалина, например), что в советских архивах не обнаружено никаких секретных протоколов?*

Робертс: Абсолютно никакого доверия. Как я уже сказал, Сталин хотел получить от нас Прибалтийские государства еще в 1939 г., а тексты секретных протоколов (от 23 и 28 августа 1939 г.) есть в Германии и повсеместно опубликованы. Если политика гласности будет продолжаться, то у меня нет

никаких сомнений, что рано или поздно, эти документы найдутся и в советских архивах. В любом случае, Юрий Афанасьев, выдающийся советский историк, выступая в Таллине 23 августа 1988 г., признал, что секретные протоколы должны быть присоединены к документам Пакта Молотова—Риббентропа, и что присоединение Эстонии к СССР было результатом этих протоколов.

Но давайте вернемся к моему рассказу — мы вели переговоры со Сталиным в декабре 1941 г., немцы были буквально в 20 км. от Москвы, а Сталин по-прежнему настаивал на том, что когда война закончится, он хочет получить назад Прибалтийские государства и Восточную Польшу. Эта грубая сталинская прямота подтолкнула меня на размышления о нашей собственной политике в польском вопросе. В течение всей войны, когда я занимался этой проблемой в министерстве иностранных дел в Лондоне, я остро ощущал, что мы должны сделать все возможное, чтобы добиться соглашения между поляками и русскими прежде, чем Красная Армия займет все эти территории. В какой-то степени нам это удалось: мы вынудили Сталина и Сикорского подписать договор, согласно которому польские войска были выведены из России. Но затем наступили три катастрофы, разрушившие абсолютно все: обнаружение захоронения польских офицеров в Катыни, смерть Сикорского и, наконец, нежелание Сталина поддержать варшавское восстание 1944 г.

Урбан: *Тот факт, что Сталин поднял вопросы, касающиеся столь далекой перспективы, когда немецкие войска находились на расстоянии 20 км от Москвы, показывает нам, что это был человек с железными нервами, которого трудно смутить чем-нибудь, или, по крайней мере, который умел использовать деликатные ситуации с выгодой для себя и производить впечатление на свою аудиторию. Было ли у вас тогда такое ощущение? В июне и июле, через несколько недель после немецкого нападения, Сталин, как нам известно из свидетельств очевидцев, был явно испуган и растерян. Но к моменту вашей встречи к нему, похоже, вернулось самообладание, хотя ситуация на фронте оставалась отчаянной.*

Робертс: Сталин совершенно не выглядел испуганным. В сущности, к моменту нашего прибытия в Москву немецкое наступление было остановлено и свежие сибирские войска начали весьма успешное контрнаступление. Пожалуй, за несколько месяцев до того Сталин мог пребывать в несколько ином расположении духа. Как бы там ни было, его решение начать разговор с обсуждения послевоенного статуса Прибалтийских государств и Восточной Польши всех нас удивило. Иден сказал ему: Г-н Сталин, может быть, нам лучше поговорить о том, как выиграть войну, прежде чем мы начнем обсуждать, что делать, когда она закончится? Мне хотелось бы продолжить разговор, начатый лордом Бивербруком, о том, чем мы можем вам помочь". В любом случае Иден не ответил ни положительно, ни отрицательно на требование Сталина. Он просто отметил, что в настоящий момент это не самая подходящая тема для разговора.

Урбан: *Насколько я понимаю, Сталин не упоминал другие страны Восточной и Центральной Европы, которые он хотел бы включить в свой послевоенный пояс безопасности?*

Робертс: Нет, он был одержим тем, что при иных обстоятельствах он мог бы определить как традиционные русские имперские владения. И, я полагаю, он хотел произвести впечатление умеренного человека, поскольку, к примеру, он не запрашивал всю Финляндию.

Урбан: *Джилас в своих воспоминаниях о разговорах со Сталиным говорит, что, согласно сталинской схеме мира, территориальные пределы Советского Союза были недостаточно обширными, Красная Армия должна была обеспечить экспорт советской системы, хотя эта мысль могла быть сформулирована в иных выражениях. Я полагаю, что в декабре 1941 г. Сталин еще не мог высказать подобного рода точку зрения. В любом случае, скажи он это Идену, британская сторона отреагировала бы на такое заявление крайне отрицательно.*

Робертс: Декабрь 1941 г. был неподходящим моментом для спора об экспорте советской системы. Но это было именно

то, что больше всего беспокоило лондонских поляков: в сущности, одной из причин, по которой переговоры между нами и Сталиным в 1939 г. были прерваны, было требование Сталина позволить ему послать войска в Польшу для ее защиты. Согласно сталинской логике, это была весьма разумная идея. К ней трудно было придаться, когда он утверждал: „Если я должен оказать Польше военную помощь против Гитлера, то у меня должно быть право выдвинуть свои войска для того, чтобы сделать это. То есть у меня должно быть право ввести свои войска на польскую территорию”. Однако с польской точки зрения это представляло собой наибольшую опасность. Лондонские поляки совершенно справедливо подозревали, что как только сталинские войска окажутся на польской территории, они приступят к осуществлению того, для чего, согласно сталинским словам Джиласу, они были предназначены — к установлению новой политической системы и ликвидации прежней.

Урбан: *Какое впечатление произвел на вас Сталин как человек? Один из его бывших секретарей Борис Бажанов сказал мне, что он был человеком средних умственных способностей, но задиристым интриганом и хитрым аппаратчиком. С другой стороны, Аверелл Гарриман сказал, что это был величайший лидер, хорошо осведомленный во всех делах.*

Робертс: Одна из причин, по которой Сталин не произвел на западных лидеров отрицательного впечатления, заключается в том, что он, в отличие от Гитлера и Муссолини, не вел себя как истеричный диктатор. Он был спокойным человеком. Он был небольшого роста, хотя на фотографиях ему всегда старались придать вид высокого и массивного человека. Я, помнится, даже обратил внимание на то, что он меньше меня ростом, т. е. чуть больше пяти футов, и что у него очень тихий голос. Я не знаю, как он разговаривал со своими людьми, когда те находились непосредственно перед ним, но у меня почему-то такое впечатление, что он никогда не кричал на них. Когда же Сталин разговаривал с иностранными визитерами, он, конечно же, никогда не повышал голос. И это впечатляло. Никаких напыщенных тирад или бредовых речей, а'ля Гитлер и Муссолини не было.

Был ли он в курсе всех дел? У меня всегда было такое впечатление. Он приходил на встречи с нами прекрасно подготовленный; он никогда не обращался, да и никогда не испытывал в этом нужду, к своей свите за подсказкой. Вообще, это было характерно для советского руководства. Если Сталин вел переговоры, то Молотову очень редко позволялось сказать что-нибудь, а Вышинскому — никогда. Но если Молотов возглавлял советскую делегацию, то Вышинскому никогда не давали слово, и уж тем более — кому-либо из профессиональных дипломатов. Кто бы ни вел переговоры, он всегда был хорошо подготовлен и великолепно ориентировался в теме переговоров, и Сталин — лучше, чем все остальные. Он совершенно не производил впечатление человека, который только что перенес чудовищное поражение и был, как говорится, поставлен на колени. Антони Иден, который всегда выступал за то, чтобы иметь дело с русскими, был этим очень впечатлен.

Урбан: *Бивербрук после первой поездки в Москву заметил, что Сталин, конечно же, — злодей, но веселый злодей. В этом замечании чувствуется восхищение тем, что должно быть абсолютно чуждым и предосудительным для джентльмена, но в то же время является крайне интригующим. С таким человеком нельзя провести выходные дни где-нибудь в дорсетском имении, но это — парень что надо, когда речь идет о том, чтобы дать по морде япошкам и фрицам!*

Робертс: Конечно же, Сталин бывал веселым, особенно во время ночных банкетов, которые он так любил устраивать. Я думаю, что его злодейские черты не проступали явственно, когда он обращался с западными лидерами в те годы. Я все время вспоминаю историю (по-моему, она описана в вашей книге) о том, какие дни Сталин считал прожитыми не зря: задумать ловушку для ничего не подозревающего „врага”, в которую тот попадет, когда он, Сталин, будет спокойно спать в своей постели. Что ж, когда бы мне ни доводилось разговаривать со Сталиным лично, я всегда пересчитывал свои пальцы, чтобы быть уверенным, что я не потерял ни одного из них за время разговора, и я всегда говорил себе: „Слава Богу, что я — западный дипломат:

по крайней мере, я в безопасности”. Но политические лидеры Запада выносили из разговоров со Сталиным совершенно другое впечатление о нем.

Урбан: *Когда вы вели переговоры со Сталиным, отдавали ли вы себе отчет в том, что вы разговариваете с одним из величайших тиранов и преступников в истории? Может быть, мне следует сформулировать этот вопрос несколько иначе, поскольку вы, конечно же, отдавали себе в этом отчет. Но играл ли какую-то роль тот фактор, что Сталин был деспотом и убийцей, когда вы готовились к переговорам и старались предугадать, как он будет вести себя, если вы поможете ему? Аверелл Гарриман сказал мне, что его вообще не интересовала репутация Сталина в области внутренней политики, хотя ему было известно о его деяниях. Для него Сталин был союзником в кровавой войне, которую нужно было выиграть. Он сказал, что его исключительно интересовала политика Сталина во время войны, а не то, что он совершил до войны или совершит после войны.*

Меня заинтересовал этот вопрос, когда я прочел у профессора Вячеслава Дашичева, одного из наиболее известных советских историков реформистского толка, что провал англо-французской попытки договориться с СССР в 1939 г. во многом объясняется отношением Запада к сталинской репутации и его личным качествам. „Англии и Франции... трудно было, — пишет он в „Литературной газете” (18 мая 1988 г.), — иметь дело с верховным правителем, растоптавшим всякую человеческую мораль, учинившим ради утверждения своей авторитарной власти невиданные репрессии с применением жестоких, преступных методов”. Похоже, это противоречит тому, что сказал Гарриман.

Робертс: Я очень хорошо знал о действиях Сталина, особенно в 1937 и 1938 годах и прекрасно отдавал себе отчет в том, на что этот человек способен. Мою точку зрения разделял Джордж Кеннан, который во время моего первого назначения в Москву был посланником и часто — поверенным в делах в 1945—1947 годах, то есть являлся моим американским коллегой. От него я много узнал о России и Советском Союзе. Кеннану и мне было, конечно же, легче, поскольку нам не нужно было

почти ежедневно встречаться со Сталиным, как это делали наши послы: Гарриман — с американской стороны, и сэр Арчибальд Кларк-Кэрр — с британской. Мы оба отличались от наших послов в восприятии ситуации. Несмотря на то, что нашей главной заботой было выиграть войну и помочь Сталину разгромить немцев, мы оба сказали себе: мы сами не должны забывать и не допустим, чтобы наши правительства забыли, с кем мы имеем дело, поскольку имелась опасность, что сущность Сталина и сталинизма будут забыты. Позвольте мне забежать вперед, в 1944 г., для пояснения, что я имею в виду.

Когда Черчилль и Рузвельт начали иметь дело со Сталиным, они были склонны, несмотря на разногласия по вопросу о втором фронте и зачастую весьма грубые послания, исходившие от Сталина, потакать ему, что сказалось и на их личных встречах. Черчилль и Рузвельт полагали, что если они будут относиться к „дяде Джо” как к члену Клуба, то он рано или поздно начнет вести себя как член Клуба. Они совершенно забыли о том, что у „дяди Джо” есть свой собственный Клуб, и что он не хочет становиться членом нашего Клуба. Рассуждениям такого рода наступил конец в 1944 г. Сначала от этого заблуждения избавился Черчилль, а потом, значительно медленнее, — Рузвельт. Однако пока оно длилось, оба деятеля весьма упорно его придерживались.

Урбан: *Хью Томас в своей великолепной истории раннего периода „Холодной войны” („Вооруженное перемирие”, 1986) показывает, что даже после 1944 г. Черчилль время от времени подпадал под очарование Сталина и страстно стремился найти с ним общий язык. 7 ноября 1945 г. он сказал в Палате Общин: „Как счастливы все мы от сознания, что генералиссимус все еще крепко держит кормило власти... Лично я не могу испытывать ничего иного, кроме глубокого восхищения этим поистине великим человеком, отцом своей страны, вершителем ее судеб”.*

Робертс: Когда Гитлер напал на Россию, Черчилль, несмотря на свое потрясающее антикоммунистическое прошлое, заявил, что он готов иметь дело с самим дьяволом, если это поможет

разгромить нацистскую Германию. Но, как это часто случается под воздействием полярно противоположных исторических сил, наши позиции становятся более бескомпромиссны, чем того требует ситуация. Образ Сталина в сознании наших политиков в значительной степени был сформирован под впечатлением вышеупомянутых внешних качеств: что это спокойный человек с тихим голосом, который всегда был в курсе всех дел, который, казалось, все знал и держался скромно. Это впечатление было настолько сильным, что некоторые из наших руководителей начали относить те ужасы, которые говорили о Сталине эксперты по советским проблемам, к кому-то другому. Это было очень опасно.

Что касается Черчилля, дела обстояли несколько иначе, поскольку его иллюзии удерживались в рамках разумного нашими отношениями с поляками. Сталин, точно рассчитывая улыбки в адрес западных союзников, так и не смог вести себя прилично по отношению к полякам, и, как я выше уже сказал, по-моему, Черчилль окончательно убедился, что политика потакания Сталину является ошибочной, что к Сталину следует относиться как к потенциально опасному противнику, когда тот летом 1944 г. отказался поддержать варшавское восстание, особенно, когда он отказался позволить нам и американцам посадить наши самолеты на советской или польской территории, чтобы оказать поддержку осажденным полякам. Именно тогда Черчилль сказал: „Отныне мы должны относиться к Сталину иначе”.

Урбан: *Можете ли вы привести такой же пример из вашего собственного опыта?*

Робертс: В конце войны я был поверенным в делах в Москве. Г-жа Черчилль приехала в этот город получить советскую награду за средства, которые она, вместе с английским Красным Крестом, собрала для советского Красного Креста. В завершение визита русские хотели устроить в ее честь праздничный концерт в Большом театре. Но менее чем за сутки до концерта пришла телеграмма от Уинстона Черчилля, в которой говорилось, что Черчилль ни в коем случае не желает, чтобы его жена стала символом дружбы в советской столице, поскольку

Сталин вел себя отвратительно и его отношения со Сталиным серьезно осложнились. Я должен был передать это послание г-же Черчилль. Я не решился позвонить ей, поскольку она остановилась в русской гостинице, которая, как мы знали, была до отказа забита подслушивающей аппаратурой. Когда я вручил ей послание Уинстона (с тех пор я восхищаюсь ею), она, взглянув на него, сказала: „А бывает ли, что телеграммы опаздывают?“ Я сказал: „Да, такое случается“. „А могло бы так случиться, что эта телеграмма пришла бы завтра, после концерта?“ „Могло бы, — ответил я. — Но как мы это объясним?“ „Что ж, — сказала она, — я напомню Винни о Нельсоне в битве при Копенгагене.* Я думаю, это ему понравится!“ И она в назначенное время явилась на праздничный концерт. Она действительно не могла поступить иначе.

Я рассказываю вам эту историю, поскольку она свидетельствует, что к 1945 г. отношение Черчилля к Сталину было очень, очень плохим.

Урбан: *В какой момент войны в министерстве иностранных дел начали осознать, что альянс с Советским Союзом может превратиться в бумеранг? Люди вроде вас имели то преимущество, что наблюдали советскую реальность изнутри и понимали ее. Но как и когда стал возможным скепсис или даже критические замечания об альянсе с СССР, и были ли какие-нибудь разговоры об альтернативе этому альянсу?*

Робертс: Трудно сказать. С июня 1941 г. до конца войны мы были союзниками. Мы, конечно же, крайне подозрительно относились друг к другу, и отсюда, среди всего прочего, было наше нежелание связываться с немецким сопротивлением. Мы думали, что Сталин может понять это иначе и, в конце концов, преподнести нам новый пакт Молотова—Риббентропа. С другой стороны, существовала сила общественного мнения, которое было на пользу России, поскольку русские потеряли миллионы людей и несли основное бремя войны. Было бы трудно повер-

* Нельсон во время этой битвы сказал: „У меня только один глаз, и иногда я могу не видеть... Я не вижу сигнала“.

нуть против Советского Союза, независимо от того, сколь сильные возражения мог вызвать тот или иной шаг Сталина.

Урбан: *Но была ли реальная нужда в том, чтобы утаивать Катынь, например?*

Робертс: По мнению Черчилля, — была, особенно потому что в тот момент не было надежных доказательств. Он просто не желал усложнять отношения со Сталиным в критический момент войны.

Кроме того, существовала точка зрения, которой Рузвельт придерживался даже тверже, чем мы: что, когда война будет выиграна, нам придется управлять Германией и Австрией, а также другими частями мира вместе с очень необычным союзником, но это был единственный серьезный союзник, который у нас был. Поэтому для нас было жизненно важно заставить русских вести себя хотя бы чуточку лучше, чем, как мы опасались, они намереваются вести себя в Восточной Европе. Более того, очень важно было убедить русских вступить в войну с Японией, поскольку в то время еще никто не знал, сработает атомная бомба или нет, и если да, то приведет ли это войну с Японией к быстрому окончанию. Американцы опасались, что при высадке на острова и завоевании самой Японии будет потерян миллион жизней. Наконец, следует понять, что в тот момент все думали (хотя сегодня это кажется удивительным), что будущее мира зависело от успеха Организации Объединенных Наций, в которой, в отличие от Лиги Наций, участвовали бы как США, так и СССР, как ведущие силы этой организации.

По всем этим причинам в Лондоне считали, что, несмотря на опасения Черчилля, стоит попытаться. Между прочим (я опять забегаю вперед), эту точку зрения разделяло лейбористское правительство, несмотря на крайне сдержанное отношение Эрни Бевина к коммунизму. Будучи лидером профсоюзов, он познал на себе тактику коммунистов и с тех пор не выносил их. Тем не менее, в начале 1946 г. Бевин, будучи министром иностранных дел в лейбористском правительстве, прислал в Москву нового посла с текстом договора на 50 лет, который должен был прийти на смену альянсу военных лет. Он был не одинок в этих усилиях.

В 1946 г. как Трумэн, так и госсекретарь Бернс следовали тем же курсом, все еще надеясь, что мы сможем договориться с Советским Союзом вместе править миром.

Урбан: *Похоже, после смерти Сталина Черчилль очень хотел возобновить диалог с наследниками Сталина о воссоединении Германии. Считал ли он, что у него было больше шансов договориться с ними, чем со Сталиным, и что таким путем он укрепит безопасность весьма ослабленной Британии? Или же это был лишь очередной взлет богатого воображения Черчилля — внезапный взрыв активности на склоне лет?*

Робертс: Инициатива Черчилля, вероятно, была вызвана всеми этими причинами. Из этого, конечно же, ничего не вышло, и я вам честно скажу, нам следует радоваться, что из этого ничего не вышло, поскольку гамбит Черчилля повлек бы за собой поворот на 180 градусов в политике, проводимой тогда американским, британским и французским правительствами, которые, в согласии с западногерманскими властями, стремились к восстановлению суверенитета Западной Германии и ее интеграции в структуру западного демократического мира. Уже в 1952 г. Сталин сам сделал предложение, которое можно было интерпретировать как проект воссоединения Германии. Западные правительства и, разумеется, Аденауэр увидели в этом предложении тактический ход, вызванный теми же побуждениями, что и приведшие к блокаде Берлина в 1948 г.

В лучшем случае предложение Черчилля могло поставить под угрозу интеграцию Западной Германии в свободный мир, в худшем же оно дало бы советским руководителям столь желанную для них возможность отделить западных союзников от немцев и вызвать раскол между ними. Советские лидеры хотели уклониться от свободных выборов в Германии так же ловко, как они это сделали в Польше, и сосредоточить дискуссию на назначении всегерманского правительства, у которого не было бы свободы определять собственную политику и которое было бы сковано режимом нейтралитета.

Всем, кто определял в тот период политику Запада по отношению к Германии, а также Аденауэру и его коллегам в

Бонне, риск подобного поворота политики казался слишком большим. У Запада и у Востока в их отношении к Германии в то время была одна общая черта: для обеих сторон синица в руках была гораздо важнее журавля в небе. Если бы гамбит Черчилля был принят, наша синица могла бы улететь, а журавль по-прежнему оставался бы высоко в небе. Западная Германия была ключевым элементом в плане Маршалла по экономическому возрождению Западной Европы.

Черчилль и поляки

Урбан: *Вернемся к 1945–1947 годам. Похоже, у вас и Джорджа Кеннана был чрезвычайно интересный опыт, поскольку вы, занимавшие в соответствующих посольствах посты № 2, могли высказываться более откровенно, чем ваши послы.*

Робертс: Да, в 1946 г. Джордж Кеннан и я, когда нам доводилось замещать послов, предупреждали свои правительства, что сотрудничество с русскими будет нелегким и что поведение советских руководителей нельзя измерять нашими мерками. Это несколько напоминало предупреждения дипломатов Чемберлену, что при ведении переговоров с Гитлером он не должен забывать, с каким типом человека он имеет дело. Чемберлен никогда не мог до конца осознать, что Гитлер и его веселая команда не будут эволюционировать (как он ожидал) в направлении грубоватого, но, в принципе, приемлемого правительства. Только Фултонская речь Черчилля покончила с колебаниями в этом вопросе, даже если Бевин отнесся к ней критически, полагая, что для речи был избран неподходящий момент.

Урбан: *Наталкивались ли ваши сообщения из Москвы на сопротивление в министерстве иностранных дел? Как широко распространялись ваши донесения? Кеннан в своих мемуарах рассказывает, что порой такое случалось в Государственном Департаменте.*

Робертс: Я очень тесно сотрудничал с Джорджем Кеннаном, и, если вы прочтете наши предостережения из Москвы, то

заметите, что они были очень похожими. Я никогда не получал из министерства иностранных дел таких ответов, что, мол, вы ошибаетесь, вы слишком откровенно не симпатизируете нашему русскому союзнику. Отнюдь. Взаимопонимание было полным. Я ни в коем случае не плыл против течения. Так что, наряду с мнением, что мы должны продолжать наши попытки, нарастало убеждение, что наладить сотрудничество с русскими не удастся, и что лучше заранее подготовиться к этому.

Урбан: *Негодовали ли в Лондоне в связи с тем, что Рузвельт и Сталин занимали антиколониальную позицию и не делали секрета, что надеются на развал Британской империи как один из результатов войны? Вы были в Ялте, когда Черчилль оскорбился, и его пришлось уговаривать вернуться за стол переговоров?*

Робертс: Да, был, но прежде чем рассказать об этом эпизоде более детально, позвольте мне сказать, что Черчилль негодовал по поводу враждебной позиции Сталина и Рузвельта к империи. Разумеется, идея атаковать Британскую империю весьма бы соответствовала политике Сталина, но, к счастью для нас, в то время он не был достаточно силен для того, чтобы поддержать национально-освободительные движения в колониях, и, что особенно любопытно, он полностью осознавал, что он недостаточно силен для этого. Мы знаем об этом от Эрни Бевина. В 1947 г. он побывал в Москве на конференции четырех держав и у него состоялся длинный разговор (его единственный длинный разговор) со Сталиным, который произвел на него большое впечатление. Бевин вернулся в посольство и сказал нам: „Главное впечатление, которое я вынес из этого разговора — это что он не хочет, чтобы мы ушли с Ближнего Востока, хотя Сталин и не сказал это прямо и в столь законченной форме. Он не достаточно силен, чтобы занять наше место, и он знает, что если мы уйдем, то вакуум будет заполнен американцами, а мы его устраиваем там больше, чем более сильные американцы”. Такова была, грубо говоря, сталинская позиция по отношению к империи в первые годы после войны.

Урбан: *А как же насчет претензий, которые он заявил по поводу Средиземноморья — относительно того, чтобы заменить Италию как средиземноморскую державу в Ливии?*

Робертс: По-моему, это была попытка изобразить великодержавную вседозволенность. Это прозвучало весьма впечатляюще, особенно для самого Сталина, но, я думаю, он знал, что у него нет возможности сделать это.

Наивысшего водораздела совместная советско-американская оппозиция Империи достигла на Ялтинской конференции. Рузвельт явился на одну из встреч (я был там как представитель британской делегации), преисполненный решимости задобрить дядю Джо. На самом деле не было никакой нужды задабривать его, но Сталин играл круто, а Рузвельт этого не замечал или не хотел заметить. Он полагал, что ему нужно каким-то образом уговорить Сталина войти в ООН и вступить в войну против Японии. Оба эти шага, разумеется, весьма соответствовали интересам самого Сталина, но он, как я уже сказал, изображал из себя отстраненного наблюдателя, дожидаясь, чтобы его уговорили. Один из способов, которым Рузвельт пытался умаслить его, заключался в том, чтобы показать Сталину, что у него, Рузвельта, нет какого-то особого альянса с Черчиллем, из которого Сталин исключен, что Сталин является равным и уважаемым членом в этой команде.

Урбан: *Рузвельт отказался иметь сепаратную встречу с Черчиллем, чтобы у Сталина не появилось впечатление, что два „англосакса” сговариваются за его спиной?*

Робертс: Да, именно так. Во всяком случае, Рузвельт стал подшучивать над Черчиллем, делая общие замечания, что в современном мире нет места для империй, и что восстановление империй несколько не в духе нашего времени. Уинстон был, как вы знаете, неисправимым империалистом. Он воспринял эти замечания как личное оскорбление и явно обиделся. Кроме того (как мы узнали от него позже), он считал весьма дурной тактикой унижать ближайшего союзника Америки перед Сталиным. Поэтому он встал, чтобы выйти из комнаты. Действительно

ли он намеревался это сделать — никто не знает. Рузвельт сидел в кресле и из-за своей болезни не мог встать. Он, конечно же, не предпринял попытки остановить Черчилля. Это сделал Сталин, который тут же встал, обошел стол и сказал: „Нет, нет, господин Черчилль, я уверен, что президент всего лишь пошутил. Вы же знаете, как мы восхищаемся вами и подвигами англичан в этой войне”, — и вернул Черчилля за стол. Это был очень мудрый шаг.

Урбан: *Были ли подозрения британского правительства относительно советского руководства известны британской общественности, скажем, в 1945–1946 годах? Во время войны Черчилль тщательно заботился о том, чтобы похвала в адрес Советского Союза и пропаганда в поддержку военных усилий русских не были использованы британской компартией в ее интересах. Просоветская пропаганда велась самим правительством и имела четко очерченные границы. Это должно было облегчить смену курса и подготовки общественности к жестким реалиям послевоенной эпохи. Верно ли это?*

Робертс: Довольно долгое время эти реалии никоим образом не влияли на общественное мнение Британии. Общее настроение было таково: „эти великолепные союзники по войне” заслуживают доверия и помощи. И они действительно заслуживали помощи. Сталин — это другое дело. Обсуждавшееся за закрытыми дверями и в секретных телеграммах и письмах не было известно до тех пор, пока Трумэн не стал президентом и правда о советской системе и о советском экспансионизме не начала ежедневно формировать западное общественное мнение. Коммунистический путч в Чехословакии в феврале 1948 г. стал поворотным пунктом, хотя коммунистическая аннексия Румынии и Болгарии, а также смещение Ференца Надя в Венгрии летом 1947 г. уже были явными предупреждениями. Но общественное мнение меняется не быстро.

Урбан: *Я пытаюсь понять, всегда ли это было так, и что значит „быстро”.*

Я был потрясен во время недавнего визита в Германию,

услыхав, что общественная кампания против тренировочных полетов западногерманских и союзных ВВС на низкой высоте была основана на аргументе, что сейчас наши отношения с улыбочивым Михаилом Горбачевым настолько хороши, что непонятно зачем нам такие полеты? Ведь это же подготовка к войне! Фактор Горбачева, похоже, за пару лет превратил немецкий „образ врага” в нечто близкое к „образу друга”. Сама идея „образа врага” все больше отделяется от Советского Союза как в западногерманском общественном мнении, так и, что меня еще больше поразило, в сознании военнослужащих.

Робертс: Эти два феномена нельзя сравнивать. В 1945 г. Британия только что закончила изнурительную войну. У нее не было моральных сил для нового конфликта и меньше всего — для конфликта со страной, которая сыграла ключевую роль в обеспечении победы над Германией, принесла в жертву как людей, так и материальные средства. В этой стране не было традиции рассматривать русских сквозь призму „образа врага”, который правительственная пропаганда могла бы возродить, когда сталинская послевоенная политика начала сказываться на общественном мнении. При всем этом, через три года после капитуляции Германии перемена в общественном мнении произошла, что сравнимо с тремя годами, которые потребовались Горбачеву и другим силам, чтобы нейтрализовать „образ врага” применительно к Советскому Союзу. Учитывая настороженность немцев по отношению к Советскому Союзу, удивителен скорее поворот (если мы не заблуждаемся относительно происходящего) в восприятии немцев во второй половине 1980-х годов, чем некоторое нежелание британского общественного мнения в конце 1940-х годов признать в людях Сталина нового врага.

Урбан: В скобках можно заметить, что нынешнее настойчивое требование советской стороны ликвидировать все следы образа врага в нашем восприятии и в подходе к Советскому Союзу звучит несколько фальшиво. Разве образ врага не восходит к 1917 г.? Разве можно оспаривать тот факт, что „образ врага” всего некоммунистического мира заложен в марксовом предупреждении: „Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма”?

Робертс: Да, трудно найти хотя бы один пункт в планах и программах коммунизма, институционализированных в Советском Союзе, который не исходил бы из тезиса о враждебности буржуазного мира, подлежащего разгрому. Именно неизбежность этого разгрома лежит в основе коммунистического мышления. Горбачев читает священные тексты по-новому, однако, есть основания сомневаться, выживет ли система, если он перепишет их или отречется от них.

Урбан: *Вернемся к Ялте. Часто говорят, что Рузвельт был уже настолько болен к тому времени, что то, как он вел дела на Ялтинской конференции, оставляло желать много лучшего; иначе говоря, он отдал гораздо больше, чем отдал бы здоровый и уверенный в себе президент.*

Робертс: Это миф. Рузвельт, несомненно, был болен, очень болен. Когда мы, члены британской делегации, встретились с ним на Мальте накануне Ялтинской конференции, мы были потрясены тем, насколько больным он выглядел. Но это никак не повлияло на его поведение в Ялте. Просто у него с Черчиллем были разные приоритеты. Рузвельт приехал туда, чтобы уладить четыре вопроса: согласовать проблему оккупации Германии, что было сделано, хотя и отняло массу времени; сделать все, что мы могли, для Восточной Европы (что было английским приоритетом); убедить Сталина сотрудничать с нами в ООН и, в четвертых, в конфиденциальной обстановке убедить его вступить в войну с Японией. Три из этих четырех вопросов были улажены. В то время некоторые полагали, что четвертый вопрос — о Восточной Европе — тоже был урегулирован. Никто не мог посетовать, что **на бумаге** достигнутые соглашения не выглядели великолепно — Декларации об Освобожденной Европе и о Польше звучали очень приятно. Они предусматривали свободные выборы, и кое-где они действительно были проведены, например в Польше и в Венгрии. Но у тех, кто имел дело со Сталиным по польскому вопросу, были серьезные сомнения относительно того, насколько соглашения будут соблюдаться. Было совершенно ясно, что там, где Красная Армия устанавливала свой контроль, бумажные декларации значили очень мало.

Урбан: Среди „ревизионистских” авторов в горбачевской России становится все более популярной точка зрения, что утверждение советской системы в Восточной Европе на остриях советских штыков в долгосрочной перспективе противоречило интересам Советского Союза и „социализма”. Все тот же профессор Дашичев, которого я уже цитировал, замечает, что сталинскую политику в послевоенной Восточной Европе следует характеризовать как „левоэкстремистский бланкизм и троцкизм” и как чуждую ленинскому завещанию и природе социализма. Дашичев весьма неодобрительно отозвался о „гегемонистских, великодержавных амбициях сталинизма”. Юрий Афанасьев в интервью итальянской газете „Ла Stampa” (1 сентября 1988 г.) высказал сходные мысли.

Робертс: Я приветствую эти запоздалые признания. Увы, точка зрения Дашичева даже при Горбачеве весьма далека от того, чтобы стать официальной позицией; до сих пор нет никаких признаков, что в Кремле появилось желание сократить свою империю.

Урбан: Что касается польской проблемы, то, по-моему, между вами и Черчиллем сложилась особая атмосфера доверия по этому вопросу. Как Черчилль относился к полякам и многочисленным бедам, свалившимся на их голову?

Робертс: Черчилль лично был очень предан полякам. Зачастую он очень романтично воспринимал их храбрость и боевые качества, что было справедливо. Время от времени его сердило упорство лондонских поляков и он сетовал, что Сикорский погиб. Но это были временные вспышки. Его восхищение польским народом и чувством долга перед ним было непреходящим. Мне кажется очень важным опровергнуть кривотолки относительно чувств Черчилля на этот счет. Никогда он, как на то часто намекают, не рассматривал Польшу как пешку в игре между великими державами.

Мы приехали в Ялту для того, чтобы выбить максимум возможного. Нам очень хотелось вернуть Миколайчика в Польшу, потому что, хотя он больше не был премьер-министром

лондонского польского правительства, и он и мы понимали, что он был единственным после смерти Сикорского поляком, который мог чего-то добиться от русских. Он сказал мне, после того, как мы подписали Ялтинское соглашение: „У всех у нас есть опасения, но, пожалуйста, не забывайте, что несмотря на скептический настрой, я рад возможности вернуться и попытаться что-то сделать”. Действительно, на первых польских выборах Миколайчик и его партия добились очень хороших результатов — настолько хороших, что русские решили, что свободных выборов больше не будет.

Иначе говоря, все прекрасно понимали, что сделанное нами не было неожиданным чудесным решением для Восточной Европы, — мы просто делали то, что могли сделать самые лучшие дипломаты, оставив Красной Армии решать основную массу вопросов на месте. Черчилль разделял эти оценки, хотя и был несколько податлив. После своего возвращения из Ялты он произнес речь в Палате Общин, о чем впоследствии весьма сожалел. Он хвалил соглашение и сказал: „Маршал Сталин и советское руководство желают жить в почетной дружбе и равенстве с западными демократиями. Я чувствую, что их слово является их залогом. Я не знаю другого правительства, которое столь твердо выполняет свои обязательства, порой даже вопреки своим интересам, как это делает русское Советское правительство”.

Честно говоря, я не думаю, что Черчилль действительно так считал. Однако он был в столь многих вопросах лишен поддержки Рузвельта, что, возможно, пытался отогнать призрак неприятного будущего таким экстравагантным чествованием нашего военного союзника.

Урбан: *Возможно ли было отказаться подписать Ялтинское соглашение?*

Робертс: Технически, конечно же, мы могли так поступить, однако что хорошего вышло бы из этого? В политической и психологической атмосфере, которая преобладала в то время, это было невозможно. Нам еще предстояло разгромить Германию и Японию и учредить ООН, в которую вошли бы СССР и США.

Урбан: *Было ли у вас и у американцев в Ялте, или позже, в свете результатов Ялты, ощущение, что в 1943 г. была утрачена великая возможность, поскольку англичане и американцы не открыли второй фронт в Западной Европе?*

Робертс: Лично я всегда был согласен с военными специалистами по обе стороны Атлантики, которые говорили нам, что в 1943 г. наши войска не были к этому готовы и что риск поражения был слишком велик. Мы сделали пробную попытку в 1942 г. в Дьеппе, но она окончилась плачевно; первоначальные военные действия американцев в Северной Африке и объединенных сил на Сицилии и на континенте в Италии оставляли желать много лучшего. Все были согласны, что вторжение в 1943 г. было бы преждевременным, хотя это единодушие не уберегло англичан и американцев от некоторых взаимных упреков относительно того, какая сторона была меньше готова к сражению. Мой друг генерал Беделл Смит, который был американским послом в Москве, когда я был там между 1945 и 1947 годами, часто говорил мне, что высадка до 1944 г. была бы провоцированием несчастья на свою голову. А он должен был в этом знать толк, поскольку был начальником штаба Эйзенхауэра.

Урбан: *В течение 1942 и 1943 годов Сталин весьма настойчиво требовал открытия второго фронта. На него, конечно же, сильно давили немцы и он нуждался в любой поддержке, которую мог наскрести. Но если бы его требование было выполнено, то, возможно, он закончил бы войну где-нибудь на Висле и в восточной Румынии, но Берлина, Праги, Будапешта и Софии он бы не получил. Я полагаю, что ни в 1942, ни в 1943 годах соображения такого рода еще не могли прийти на ум ни Сталину, ни Черчиллю.*

Робертс: Нет, не могли. Сталин бился за то, чтобы вышибить немцев. Самые кровопролитные битвы были еще впереди; потери измерялись миллионами; он нуждался в помощи, и мы давали ему все, что могли, но до второго фронта было еще далеко. В буре тех лет, когда все вокруг было столь неопределенным, послевоенный баланс сил не мог быть первостепенной заботой.

Если он вообще кого-то заботил, то меньше всего — Рузвельта, который и слышать не хотел об этом. Конечно же, Сталина огорчали отсрочки. Он сделал несколько крайне неприличных высказываний относительно королевских военно-морских сил и наших конвоев в Мурманск. Но у его страны не было традиций мореплавания, и он не понимал, с какими трудностями сталкивались наши суда в Северном море.

В любом случае, разве стремились бы мы иметь трудности со Сталиным, если их можно было избежать? Разве мы допустили бы русских столь далеко в Европу, если бы могли предотвратить это, высадившись на континенте раньше, чем мы это сделали? Факт остается фактом — мы не были готовы, и ничего не могло быть страшнее, чем катастрофа в северной Франции.

Урбан: *Иногда советская сторона утверждает, что ангlosаксы хотели, чтобы два негодяя, Гитлер и Сталин, истекли кровью, сражаясь друг против друга до полного изнеможения. Если бы второй фронт был открыт раньше, то один из этих двух, Сталин, был бы не настолько ослаблен, насколько того хотелось бы ангlosаксам.*

Робертс: Абсолютно неверно. Не было таких намерений. Однако верно, что когда Сталин дал добро на подписание пакта Молотова—Риббентропа в 1939 г., он думал, что обе стороны — Гитлер и англо-французская коалиция располагали одинаковыми силами, и что между ними будет долгая и опустошительная война, которая позволит ему сохранить силы, с которыми он вступит в разрушенную Европу. Он никогда не простил французам, что они были разгромлены так быстро и тем самым разрушили его мечту.

Урбан: *Была ли у вас возможность спросить Сталина, Молотова или любого другого советского руководителя в 1941 г., как свежееиспеченный союз Кремля выглядел на фоне Пакта Молотова—Риббентропа и международной коммунистической пропаганды между 1939 и 1941 годами?*

Робертс: Нет, в 1941 г. таких вопросов мы задавать не могли. Да к тому же, не я возглавлял переговоры со Сталиным

вплоть до Берлинской блокады 1948 г. — так что и речи не могло идти о том, чтобы я спрашивал его о чем-либо, хотя я присутствовал на нескольких встречах со Сталиным. Как я уже сказал, я имел дело с Молотовым и Вышинским, но мы были по горло заняты сложными дипломатическими проблемами, так что у нас не было возможности и даже желания ворошить недавнее прошлое. Черчилль делал это несколько раз во время войны, когда Сталин обвинял его в откладывании второго фронта и особенно когда Черчилль остановил отправку конвоев, потому что они теряли слишком много судов. В этих случаях Черчилль обрушивался на русских и напоминал им о деле Молотова—Риббентропа. „Вы не должны забывать, что всего два года назад вы угрожали нам, и мы думали, что вы присоединитесь к Гитлеру для борьбы с нами. Так что вам не следует критиковать нас”, — говаривал время от времени Черчилль. Неприятные события недавнего прошлого всплывали в неофициальных разговорах за рюмкой водки между нами и советскими дипломатами; но в официальных условиях об этом не говорили.

Урбан: *Не могла ли эта тема возникнуть между Иденом и Молотовым как бы в шутку или как дружеское подтрунивание?*

Робертс: Нет, Молотов был не тем человеком, с которым можно было шутить. Со Сталиным можно было шутить как угодно, но с Молотовым — нет. Сталинское очарование и добродушие часто упоминаются его биографами. Но он мог и внушать страх. В конце 1945 г. или в начале 1946 г., когда я был человеком № 2 в нашем посольстве, Кремль устроил большой банкет для Бернса и Бевина. Банкет продолжался до трех утра, было очень много выпивки, пустые разговоры и тому подобное. Присутствовали двенадцать американцев и двенадцать англичан. Сталин и Политбюро были нашими хозяевами. Среди двенадцати англичан самым молодым был я, а среди американцев — Джеймс Конант, физик-ядерщик, который впоследствии стал верховным комиссаром США в Германии. Когда вечеринка приближалась к концу и все, порядочно накачавшись, стали расходиться, Конант и я были единственными англосаксами,

оставшимися в комнате. Сталин был очень заинтересован в Конанте (он ассоциировался с созданием американской атомной бомбы) и некоторое время разговаривал с ним. Затем кто-то, должно быть, прошептал Сталину на ухо: „Вон там стоит Фрэнк Робертс“, после чего он отделился от своего окружения и сказал мне: „Я вас знаю; вы наш враг“. Так и сказал — „вы наш враг“.

Мы стояли отдельно от остальных, он выпил довольно много, я — тоже. В то время я не очень хорошо говорил по-русски, и все же я начал возражать по-русски как мог. Но Сталин не дал мне говорить: „И еще: вы — сотрудник Интеллидженс Сервис“. Моих познаний в русском языке было достаточно для того, чтобы понять это, и меня это несколько встревожило. „Ну так — да или нет?“, — шутливо продолжал Сталин.

Но мне это не показалось шуткой, и я уже начал размышлять: „ну что, ближайшим рейсом улетаю в Лондон? И позволят ли мне выйти из Кремля?“. Но русские, стоявшие вокруг нас, не восприняли замечание Сталина столь трагично. Один из них сказал мне позже, что шуточка Сталина касалась моей работы над польскими проблемами во время войны. Было очевидно, что я был против советских предложений. Но мне казалось невероятным, что Сталин помнит это. „Он не мог сказать тебе большего комплимента, — продолжал мой русский собеседник, — поскольку Сталин испытывает глубокое уважение к британской Интеледженс Сервис“. Этот небольшой эпизод является хорошей иллюстрацией сталинской манеры найти подходящий момент, чтобы сказать несколько „нейтральных слов“ одному из своих иностранных гостей. Вот так дух крайней любезности был смешан в сталинском характере с духом полицейской ищейки.

У Сталина не было никакой оппозиции

Урбан: *Вы были посланником и поверенным в делах в Москве между 1945 и 1947 годами. Этот период примечателен тем, что Сталин и Советский Союз вернулись в эти годы к неукоснительному полицейскому режиму и идеологической ортодоксии. Во время войны Сталин сделал существенные уступки национальным чувствам русских. Он помогал православной*

церкви и предоставил ей значительную свободу. Он реабилитировал многое в русской истории и культуре и дал возможность русскому народу вновь почувствовать вкус национальной идентичности.

Самое удивительное, что когда Сталин, вскоре после капитуляции Германии, стал поворачивать стрелки часов назад — в 1937–1938 годы, то он не встретил никакой оппозиции. Вновь была подтверждена первичность тяжелой промышленности; средства информации, наука, искусство, литература и музыка подверглись удушающему контролю Жданова; огромное число солдат, вернувшихся домой после победоносной кампании в Центральной Европе, были посланы в концентрационные лагеря на перевоспитание или на гибель. Восстанавливался сплошной деспотизм.

Меня всегда изумляло, почему русский народ, который принес столь огромные жертвы ради отечества и по идее должен был, по крайней мере, сохранить ту толику свободы, которую он получил во время войны, не смог остановить тирана. Каково ваше толкование этого драматического поворота, пришедшегося на время вашего пребывания в Москве?

Робертс: У Сталина (есть ли нужда говорить об этом?) была огромная власть. Он „лично” выиграл войну — или по крайней мере так утверждала советская пропаганда — и он был воистину популярен. Он был чем-то вроде Царя Царей, которому все повиновались. Как у Ивана Грозного, у него был дисциплинированный и послушный полицейский аппарат, который контролировал его друзей и устрашал его врагов. Революция против него в момент, когда лучи его победы сияли как никогда, была не только неосуществимой, но и, что гораздо важнее, немислимой. Посылая свои войска в лагеря на перевоспитание, он уничтожал „заразу”, которую солдаты Красной Армии могли бы принести домой из опустошенной войны, и все же, в глазах советских солдат, процветающей и либеральной в культурном аспекте Центральной Европы.

Урбан: В то время говорили, что, зайдя так далеко на Запад, Сталин допустил две ошибки: он показал Европе, что

такое Красная Армия, и показал Красной Армии, что такое Европа.

Робертс: Я согласен с этим.

Урбан: *Кстати, чистка русской армии от иностранного влияния после победоносной кампании не была чем-то новым в русской истории. Александр I сделал это после того, как его войска прогнали Наполеона до стен Парижа. Но на этом всякие аналогии кончаются, поскольку либеральные идеи, с которыми молодые русские офицеры познакомились в Западной Европе в 1812–1813 годах, произвели на них глубокое впечатление и привели к созданию тайных революционных обществ и, в конечном счете, — к декабризму. Ничего подобного не возникло в Красной Армии в послевоенный период. Был ли сталинский террор рассчитан на это?*

Робертс: Я думаю — да. Идеологический контроль офицерского корпуса при Сталине был огнеупорным. Инакомыслие любого рода безжалостно искоренялось. Лев Копелев является одним из выживших свидетелей того, как это делалось. Кроме того, в подкорке мозга каждого офицера хранилось чудовищное напоминание о том, что произошло со всем командованием Красной Армии в 1938 г. Царская армия при Александре I была либеральным клубом по сравнению с жесточайшей дисциплиной, навязанной Сталиным своим войскам.

Жесткий террор — кнут, был одной из форм политики Сталина по отношению к армии. Его пряником был вновь взятый на вооружение русский патриотизм. Он понимал, что русский мужик сражался не за коммунизм, а за отечество и православную церковь. Он обнаружил, что целое поколение было упущено: молодые люди, служившие в армии, были воспитаны их православными бабушками, а не коммунистическими родителями, если те таковыми являлись.

Урбан: *В царской России было принято считать (о чем напоминает манифест Александра I к своим войскам по поводу вторжения Наполеона), что русский мужик будет воевать за православие, отечество и свободу именно в таком порядке...*

Робертс: Именно так, и Сталин обратился к этой традиции. Я помню, патриарх Алексей рассказал мне, что во время войны он копал канал на Дону в качестве раба, когда, в один прекрасный день, кто-то похлопал его сзади по плечу и сказал, что ему срочно нужно выехать в Москву — Великий Человек желал его видеть, и патриарх не был уверен для чего. Ему приказали помыться и надеть церковные одежды, а затем спешно отправили в столицу. Он был потрясен, когда Сталин сказал ему, что хочет восстановить пост патриарха. Конец этой истории хорошо известен. Важно, однако, напомнить, что в то время Сталин нуждался в поддержке церкви и получил ее. Он удерживал активность церкви в определенных границах, поскольку, конечно же, не желал, чтобы патриотическая Русь восстала против коммунизма и всего того, что представлял Сталин. В конце концов, ему удалось убедить среднего русского в том, что он, как и цари до него, стоит за православие, отечество и даже свободу в ее коммунистической интерпретации. Лишь немногие наблюдатели из внешнего мира понимали, что ему абсолютно наплевать на все эти ценности.

Урбан: *Раз уж мы подняли вопрос о несопротивлении Сталину: я до сих пор не могу понять, почему победоносные советские маршалы не последовали примеру древнеримских полководцев и, пока они были на гребне победы, не сказали генералиссимусу что-нибудь вроде: „Товарищ Сталин, эта страна заплатила горькую цену за свою свободу. Она победила иностранного врага, но в ходе этой борьбы была обескровлена. Наши города и села в развалинах, наши закрома пусты. Мы хотим напомнить вам, что социализм, как его понимают наши войска и наш народ, это свобода и социальные гарантии. Мы не можем позволить вам вернуть страну назад в 1937 г. Мы не согласны с инфантильным деспотизмом Жданова, и мы не позволим, чтобы наши многострадальные солдаты были отправлены в концлагеря только за то, что они сражались в Центральной Европе или были взяты в плен немцами”.*

Ни у кого, насколько мне известно, не хватило духа разговаривать со Сталиным подобным образом, хотя, похоже, такая возможность была. Но была ли?

Робертс: Вероятно, никто этого не сделал, хотя, я не удивлюсь, если однажды раскрепощенные советские историки обнаружат, что Жуков пытался поднять шум по этому поводу. Но вернее будет предположить, что генералы этого не сделали, и у меня есть три объяснения этому. Первого я уже коснулся — леденящий кровь пример того, что Сталин сделал с Тухачевским и его товарищами, а также уничтожение всего старшего комсостава в 1937—1938 гг. Память об этом должна была храниться в подсознании каждого военного руководителя, замыслившего освобождение своего народа. Во-вторых, Сталин лез из кожи вон, чтобы вознаградить генералов материально. Им выдавались драгоценные камни, соболиные меха на их шинели, для них были зарезервированы третий и четвертый ряды в партере Большого — они стали привилегированной кастой в значительно большей степени, чем раньше. Генералам, насколько я могу полагать, очень нравились эти привилегии, и очень не хотелось бы расстаться ними. В-третьих, если оставить в стороне вопрос о подкупе, следует отметить, что в русской истории нет традиции бонапартизма. В конце концов, цари и политики принимали решения — главнокомандующие следовали их указаниям.

Рассмотрим судьбу маршала Жукова. В 1947 г., когда я был поверенным в делах, фельдмаршал Монтгомери прислал мне телеграмму, в которой говорилось, что в 1945 г. в Берлине его старый друг маршал Жуков пригласил его нанести ему визит. До сих пор у Монтгомери не было времени сделать это, но теперь, через несколько недель после того, как он занял пост начальника генштаба, у него появилось немного времени, и он хотел бы воспользоваться приглашением. Что же, мы знали только, что Жукова уже давно нигде не было видно, и никто не знал, где он и, вообще, жив он или нет. Вот так Сталин обходился со своим великим и, возможно, ведущим командующим Красной Армии! Вы можете себе представить, как он относился к менее значительным фигурам. Неприятности Жукова возобновились при Хрущеве. Сначала, в 1957 г., Жуков спас Хрущева, когда Молотов и некоторые другие представители „старой гвардии” попытались собрать большинство в Центральном комитете, чтобы избавиться от Хрущева. Жуков доставил в Москву на военных самолетах „лояльных” членов ЦК и таким образом

сорвал замысел Молотова. Но позже Хрущев решил, что роль маршала явно перерастает его непосредственные функции, и, когда Жуков был в Югославии, бесцеремонно избавился от него, хотя тот был членом Политбюро.

Урбан: *Давайте подытожим сказанное: у каждого сегмента советского общества были свои причины не сопротивляться Сталину в момент, когда он поворачивал страну назад в одну из мрачайших глав русской истории: крестьяне не сопротивлялись, потому что были разобщены коллективизацией сельского хозяйства; партия и аппарат — потому что у них сохранились свежие воспоминания о великом терроре 1936–1938 годов; военачальники — из-за прецедента с Тухачевским и отсутствия традиции бонапартизма в русской истории и т. д. Не наводит ли все это на трезвые размышления о шансах гласности и перестройки? Будут ли люди, которые не смогли оказать сопротивление Сталину, когда под угрозой были их собственные жизни и свобода, жертвовать собой ради более абстрактных целей, таких как демократия и экономическая эффективность?*

Робертс: Мы не можем этого сказать. Я надеюсь, что они пойдут на эти жертвы.

Урбан: *Как вы и ваше посольство докладывали о прогрессирующей ресталинизации (если можно употребить этот термин по отношению к данному периоду)? И, вообще, насколько ясно вырисовывались масштабы поворота Сталина к суровому климату конца 30-х годов?*

Робертс: В посланиях в министерство иностранных дел Великобритании мы старались подчеркнуть несколько очевидных моментов: русские выбрали военных союзников не по доброй воле, и они вот-вот разорвут этот союз; Советский Союз поворачивает назад к состоянию концентрированного сталинизма (мы, конечно же, не знали, что предстояла новая волна чисток — подобного рода информацию трудно было получить); идея мировой революции возрождена и всячески пропагандируется; Британии как крупнейшей имперской державе мира

предстоит стать главным объектом советских нападков, хотя мы считали, что прямой военной опасности не было, поскольку Сталин понимал, насколько истощена Россия, и предпочитал не рисковать, и т. д.

Джордж Кеннан и я обычно завтракали раз в месяц с весьма интересным человеком по имени Ральф Паркер, который был корреспондентом „Таймс” в Москве...

Урбан: *Кеннан довольно много говорит о нем в первом томе своих мемуаров и с большим подозрением. Он полагал, что Паркер был весьма просоветски настроен...*

Робертс: Я знал Паркера, потому что мы были вместе в Кембридже. Он отправился в Чехословакию и был там, когда заключали Мюнхенский договор. Он женился на чешке, которая умерла при родах — что весьма сильно сказалось на нем. Когда он приехал в Россию, НКВД предоставил ему очень неглупую любовницу. Подозрения Кеннана, возможно, не были достаточно обоснованными. Конечно же, убеждения Паркера были очень прорусскими. Я помню, что моя жена, которую женский инстинкт никогда не подводил, говорила мне, что нам не следует слишком много общаться с Паркером. Как бы там ни было, в начале 1945 г. мы все были хорошими знакомыми и ежемесячно завтракали вместе. На одном из этих завтраков, в апреле 1945 г., как раз за месяц до окончания войны, Паркер сказал нам: Происходит нечто неприятное. Партийные агитаторы разосланы по фабрикам и заводам и тема их выступлений такова: „мы, русские, должны перестать считать американцев и англичан своими друзьями и союзниками. То, что мы воевали вместе с ними против немцев — чистое совпадение: с таким же успехом все могло быть наоборот. Все они — наши враги”. И скоро это своевременное предупреждение Паркера начало обрастать фактами.

Урбан: *Как реагировал Гарриман на вашу с Кеннаном интерпретацию будущего? Я бы предположил, что его безразличие к сталинской внутренней политике в прошлом и его позитивная оценка сталинской личности должны были претерпеть эволюцию к 1945 г.*

Робертс: Я помню, как Гарриман вернулся со встречи со Сталиным — я никогда не видел его столь потрясенным. Он отправился на встречу, чтобы предложить Сталину продолжить на более или менее тех же условиях, что и прежде, в мирное время, план помощи (UNRA), и Сталин отверг это. Собственно говоря, он не сказал „нет”, но его ответ был близок к тому. Он не хотел связываться с американской программой. По этой же причине он отказался от Плана Маршалла.

Обо всем этом, конечно же, было сообщено в Лондон, и, как я уже говорил, мы не получили в ответ что-нибудь вроде: „Вы там все рехнулись; зачем вы рассказываете такую жуть о наших союзниках?” Наши доклады воспринимались как пересказ фактов, они не противоречили правительственной линии.

Урбан: *До какой степени могли вы следить за разрастанием ждановского идеологического террора?*

Робертс: Не намного, поскольку к 1946 г. наши контакты с писателями и интеллигенцией были сведены к минимуму. Они были слишком напуганы, чтобы посещать дипломатические приемы или встречаться с нами где-либо еще. Нам удалось пробить окно в интеллектуальную среду через Исайя Берлина, который был приставлен к посольству на несколько месяцев после войны по просьбе Черчилля. Дело в том, что во время войны Берлин служил в британском посольстве в Вашингтоне и каждые две недели писал доклады об американской политике, которые очень впечатлили премьер-министра. После войны Уинстон Черчилль пригласил его к себе и спросил: „Что я могу сделать для вас, чтобы выразить свою признательность?” Берлин сказал: „Что ж, г-н премьер-министр, мне бы доставило огромное удовольствие, если бы вы могли дать мне какое-нибудь назначение на несколько месяцев в посольстве в Москве”. Вот таким образом Берлин оказался среди нас. Конечно же, он великолепно говорил по-русски и прекрасно знал русскую историю и культуру. Через некоторых членов своей семьи он установил контакты со многими представителями русской интеллигенции. Благодаря ему мы получили полную и наводящую ужас картину того, что Сталин и Жданов сделали с русской

культурой, которая, собственно говоря, подтвердила наши поверхностные наблюдения.

Урбан: *Имели ли вы доступ к информации о происходившем в науке — о деле Лысенко, например?*

Робертс: Отчасти нам удалось получить информацию через второе окно, которым являлся для нас Эрик Эшби, только что приехавший в Москву в качестве австралийского поверенного в делах. Он был выдающимся биологом и очень интересовался ждановщиной и тем, какой эффект она возымеет на будущее советской науки. Мы также были хорошо знакомы с польским лауреатом Нобелевской премии по имени Парнас, которого русские вывезли из Польши и который получил в Москве статус очень важной персоны. Были и другие полезные контакты.

Мы располагали хорошей информацией в обеих областях, даже если не знали тех деталей, которые западные специалисты, изучавшие советские проблемы, могли собрать в последующие годы. Но со временем поддерживать эти контакты становилось все труднее. Для тех из нас, кто был в Москве во время войны и завел связи в те времена, еще существовала возможность поддерживать эти связи после войны, но приехавшим в Москву в конце 1946 г. или в 1947 г. было крайне сложно завести свежие знакомства.

Урбан: *Позвольте мне задать вам более абстрактный вопрос. Несколько выдающихся западных послов при царском дворе, а также те, кто занимался изучением российских проблем, в течение веков выносили одно и то же впечатление: русские традиции, культура и поведение настолько отличаются от западноевропейских, что представляют собой отдельный мир. Грубые или воспитанные, властные или терпимые, русские, образно говоря, являются существами, отличными от нас. Вы пристально изучали русскую жизнь и историю как в мирные времена, так и в дни войны. Согласны ли вы с этим мнением?*

Робертс: Решительнейшим образом — нет. Я всегда считал,

что Россия (я говорю „Россия” намеренно) — страна со многими великими достоинствами. Среди русских (я имею в виду не только храбрых крестьян, но и интеллектуалов) множество замечательных людей. И Джордж Кеннан, хотя, возможно, не до такой степени, и моя жена, и я были очень увлечены многими аспектами русской цивилизации, но мы просто не могли принять жуткую марксистско-ленинско-сталинскую систему, господствовавшую в этой стране. Я говорю это не только в свете того, что я увидел при Сталине в 1941 г., а затем — в 1945—1947 годах, но также в свете российского опыта времен хрущевской либерализации. При Хрущеве я был послом и очень симпатизировал его внутренней политике, как сейчас я симпатизирую внутривнутриполитическим реформам Горбачева. Но это были годы сооружения Берлинской стены и кубинского ракетного кризиса.

Русские являются наследниками цивилизации, очень отличающейся от нашей. Они наследники православной Византии, что означает весьма низкое место личных свобод в их иерархии ценностей. Пушкин однажды заметил, что в его времена Россию отличало от западных стран существование индивида ради государства, тогда как на Западе государство существовало ради индивида.

Я считаю, что эта максима верна для всех времен, даже для эпохи хрущевских реформ. Я полагаю, что эта же интерпретация русского национального характера лежит в основе докладов нашего посольства из Москвы при Горбачеве. Нельзя забывать, что ни один российский режим, и, собственно говоря, большинство русских, не испытывали желания превратить Россию в подобие западной страны. Россия и Запад отталкиваются от различных исторических и культурных отправных пунктов и имеют разные цели. Они отличаются друг от друга, но это не означает, что один из них достоин презрения.

Урбан: *Я все больше склоняюсь к точке зрения, что не только наше общественное мнение, но даже некоторые западные посольства в Москве переоценивают радикальную природу горбачевских реформ именно потому, что они не сумели оценить византийскую основу русской политической культуры. Разделяете ли вы мои опасения?*

Робертс: Да, разделяю. Это большая опасность. В столь ненадежные времена как нынешние главная задача посольств в Москве заключается в том, чтобы говорить: не торопитесь, очень многое из того, что здесь происходит, достойно всяческого одобрения; будем надеяться, что из этого что-нибудь получится, хотя, вероятнее всего, ничего у них не выйдет; но не забывайте, что даже если что-нибудь получится, Россия не превратится в приятную демократическую страну западного образца, как многие полагают.

Урбан: *Считаете ли вы, что пересмотр советской истории в условиях гласности группой мужественных историков и журналистов соответствует национальным чувствам русских? Возводить памятники жертвам сталинизма — это одно дело, но изобличение Сталина может привести к непредсказуемым результатам. Валерий Савицкий, заведующий отделом Института государства и права, выступая по телевидению 11 ноября 1988 г., заявил, что Сталин должен быть подвержен публичному суду, который заклеит его как „злейшего врага советского государства“.*

Робертс: Пересмотр советской истории — великолепная затея. Чем дальше он пойдет — тем лучше, если только он не пойдет слишком далеко и не обернется собственным поражением. Некоторые русские спрашивают: „Послушайте, зачем вы клевете на него? Ведь это он выиграл войну, не так ли?“ Следует признать неприятную истину, что либерализм никогда не был определяющей чертой русского национального характера. Кто величайшие герои русской истории? Иван Грозный, Петр Великий, Ленин и Сталин — весьма жестокая компания, на руках у каждого кровь бесчисленных невинных жертв. Екатерина Великая, убившая своего мужа, но относительно небольшое число других людей, почитается значительно меньше. Уничтожать сталинское прошлое — рискованное дело. Нужно быть очень осторожным относительно того, как это делать и как далеко можно заходить.

Урбан: *Ваше короткое пребывание в Москве между 1945 и 1947 годами в качестве поверенного в делах совпало с периодом американской ядерной монополии. Только Америка владела атомной бомбой, которую она использовала для психологического давления. В ее власти было заставить любую страну мира выполнять приказания США. Имеются свидетельства опасений Сталина, что американцы используют свое могущество по отношению к Советскому Союзу именно с этой целью, т. е. поступят так, как наверняка он поступил бы, если бы СССР первым испытал и начал производить атомное оружие. Но США воздержались от использования этого уникального преимущества и угрозы его использовать и были абсолютно беспомощными перед Сталиным, распространявшим свою империю на всю Восточную Европу. Возможно ли было использовать американскую ядерную монополию в те решающие годы для того, чтобы сдержать Сталина и способствовать соблюдению Ялтинского соглашения?*

Робертс: Я, собственно говоря, не вижу, каким образом она могла быть использована, поскольку мы, в конце концов, представляем стиль правления, основанный на общественном мнении. Во время Ялтинской конференции о существовании бомбы уже было известно, но она еще не продемонстрировала свою эффективность. Отсюда результат: американское обладание атомной бомбой не повлияло на исход ялтинской встречи. А после капитуляции Японии общественное мнение в Англии и в США не потерпело бы внезапного поворота против нашего союзника в войне. На русских справедливо смотрели, как на народ, без которого мы не смогли бы разрушить нацистскую тиранию и который понес при этом самые большие потери. Идея, что г-н Этли встанет в Палате Общин и скажет: „Я собираюсь помочь венграм и чехам сохранить независимость, угрожая русским атомной бомбой”, была бы абсурдной. Этли лишился бы своего поста в тот же день.

Урбан: *И все же эта возможность держала Сталина в страхе.*

Робертс: Это показывает, что он недостаточно хорошо понимал нас. Если бы все правительства в мире были тираническими и действовали как им заблагорассудится, тогда угроза русским бомбой могла бы быть хорошей тактикой. Но для нашего типа демократического общества это было неприемлемо.

Урбан: *Было ли это столь же неприемлемо после речи Черчилля в Фултоне, когда он подчеркнул недопустимость передачи секрета атомной бомбы остальным участникам ООН, имея в виду Советский Союз, и после того, как СССР под американским давлением ушел из иранского Азербайджана? В марте 1946 г. в американской прессе появились воинственные заявления. Госсекретарь Бернс отправил Сталину лаконичное послание. Поскольку Америка была обладательницей бомбы, Сталин немедленно уступил и советская армия была выведена из Ирана.*

Робертс: Трудно увязывать уход из Ирана с развязкой в Европе. В начале 1947 г. состоялась встреча представителей четырех держав в Москве, на которой мы все еще пытались достичь соглашения по Германии (мы все еще правили Германией вместе). Восточная Европа была, господь тому свидетель, постоянно в наших мыслях, и я лично занимался тем, что пытался, — увы, безуспешно, — спасти Польшу как независимую демократическую страну. Но речь шла о судьбах всего мира, и в масштабах всего мира Восточная Европа играла важную, но не исключительную роль. В любом случае, как я уже сказал, присутствие советской армии на территории Восточной Европы делало всякую эффективную западную инициативу, за исключением войны, фактически невозможной.

Урбан: *Уинстон Черчилль постоянно повторял, что если бы британское общество не было столь малодушным, Гитлера можно было бы остановить в 1933 г. или даже в 1935 г. не произведя ни одного выстрела, и мы могли бы быть спасены от мясорубки второй мировой войны. В 1945–1948 годах западные демократии тоже могли предотвратить сталинский экспансионизм и идеологическую агрессию, пока у США было это преимущество.*

Историк будущего, который будет смотреть на наше время с большей дистанции, имея более широкий, чем у нас, диапазон исторического обзора, наверное, отметит, что, несмотря на огромные достоинства демократических систем XX века, им не хватало гражданского мужества и дальновидности в предвидении будущего.

Как объяснить, что демократические общества либерального типа не смогли или не пожелали мыслить в терминах „всеобъемлющей демократической концепции“, которую отстаивал Черчилль в своей фултоновской речи?

Робертс: Очевидно, союзу независимых западных стран гораздо труднее согласовать и провести в жизнь такую политику, чем Советскому Союзу и его союзникам. Но я все-таки отметил бы, что в послевоенные годы, в Великобритании, главным образом благодаря руководству Эрни Бевина, эта концепция принесла плоды в деле восстановления западноевропейской экономики с помощью Плана Маршалла и в эффективной обороне западного мира в результате создания НАТО. В мировом масштабе нынешние позиции западных союзников по сравнению с позициями горбачевского Советского Союза не подтверждают тезис, что советская политика была успешнее западной.

Урбан: *Были ли у вас, как у человека высоких нравственных устоев (если можно так выразиться) моральные проблемы при работе бок о бок со Сталиным и его людьми, когда приходилось разыгрывать роль их союзников и друзей? Генри Вутон, английский посол при Джеймсе I, охарактеризовал свою роль как работу „честного человека, посланного за рубеж лгать на благо своей страны“. Страдали ли вы в этом затруднительном положении, когда были поверенным в делах и позже — послом в Москве? Чувствовали ли вы что-нибудь вроде: „Боже, неужели нет лучшего способа служить моей стране, чем ворковать с этим чудовищным убийцей — советским лидером?“*

Робертс: В идеальном мире мы еще до 1939 г. должны были иметь то, что мы имеем сейчас, в 1988 г.: хорошо организованный союз стран-единомышленниц с эффективной системой

сдерживания. Это избавило бы нас от необходимости входить в сомнительный союз с неприятными людьми. Чемберлен придерживался примерно такого же мнения. Он не желал связываться с жутким типом по имени Сталин, но затем, проводя политику примирения, связался с не менее жутким типом по имени Гитлер. Когда же примиренческая политика провалилась, даже он готов был рассматривать варианты сотрудничества со Сталиным, правда, крайне неохотно, не только из-за отвращения, которое вызывал у него Сталин и которое Чемберлен испытывал к коммунизму, но также вследствие понятного скептицизма относительно боеспособности Красной Армии, которая только что была обезглавлена и почти проиграла войну с Финляндией.

Возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что не вижу, что еще мы могли сделать в сложившейся ситуации. В конце концов, когда мы приехали на переговоры со Сталиным в 1939 г., мы не планировали создать союз с дьяволом и начать войну — мы вели переговоры о соглашении, которое позволило бы нам удержать Гитлера от нападения на Польшу. А после поражения Франции, когда Британия осталась одна, не мы проявили инициативу и сказали: „Давайте позовем Сталина на помощь”. Скорее факторами, объединившими нас, следует назвать общего врага и общую нужду, когда фашистская Германия напала на Россию. Наш союз не предполагал морального одобрения советской системы и еще менее — превращения наших дипломатов в апологетов этой системы. Лично я не страдал ни от какого морального стресса из-за того, что вел дела с русскими. Мне всегда было ясно, что наш союз во время войны был вопросом практической целесообразности, и что я не должен оправдывать людей, с которыми мы имели дело, или молчать о том, что они совершили. Нашей первоочередной задачей было разгромить Гитлера, и это была самая главная моральная задача. Я рассматривал наш союз с СССР как средство для решения этой задачи. Достижение желанной цели в компании людей, которые нам нравятся, является весьма редкой роскошью, которую мы можем позволить себе в личной жизни, и почти никогда — в отношениях с другими странами.

Урбан: *Как вы думаете, Сталина как-либо заботило, что знали о нем такие иностранные политические деятели, как Черчилль, Иден, Гарриман или Гопкинс? Считал ли он, что ему следует выглядеть особенно приветливым и добродушным, потому что в его стенном шкафу так много скелетов?*

Робертс: Не может быть никаких сомнений, что западные политические деятели и дипломаты знали о терроре 30-х годов, и я подозреваю, что Сталин знал, что они это знали. Волновало ли это его? Я не знаю. Его аргументом могло быть, что все совершенное им он сделал на благо России. Он был очень скользким партнером.

Когда Арчи Кларк-Кэрр уезжал из Москвы в январе 1946 г., Сталин устроил в его честь ужин. Они очень сошлись друг с другом во время войны, и этот ужин был чествованием его как посла Черчилля. Нас было человек десять. Сталин предложил тост, в котором он сказал Арчи, как высоко ценит его помощь во время войны, и что он хотел бы сделать ему подарок, который продемонстрировал бы его отношение к Арчи. Что он хотел бы получить в подарок?

Это было время так называемого дела русских жен — 27 русских женщин, вышедших замуж за британских военных, которым Кремль не разрешал уехать. Арчи, который был большим шутником, сказал: „Ну что ж, генералиссимус, я стал мусульманином и хочу иметь четыре жены”. Сталин ответил: „Мы уважим ваш исламский обычай, но, насколько мне известно, мусульманин может иметь не больше четырех жен, не так ли? Потому что мне сказали, что вы могли запросить 27 жен”.

Арчи Кларк-Кэрр уехал на следующий день, а я должен был довести до конца переговоры. Я знал, что русские никогда не выпустят одну из четырех обещанных ему жен, потому что эта была выдающаяся грузинская дама, которая вышла замуж за бригадира английской армии, когда англичане организовали помощь Советскому Союзу через Иран и Кавказ. Многие жены были малозначительными гулящими девицами, хотя, конечно же, были и исключения, такие как Виолетта Элвин, которая стала звездой коventгарденского балета. Но имелись особые

резоны для того, чтобы не „выпускать” грузинскую даму — считалось, что она знает слишком много и могла бы нанести ущерб образу СССР за рубежом.

Я оказался впутанным в самый гнусный вид восточного торгашества с омерзительным человеком по имени Деканозов, который числился первым заместителем министра иностранных дел, хотя на самом деле был сотрудником КГБ. О нет, сказал он. Он присутствовал на ужине, и генералиссимус не говорил о четырех, он сказал — две! Нет, ответил я, он сказал — четыре. Наконец, он предложил три, на чем мы и договорились. Такова другая потрясающая черта России. Но не следовало впадать ни в морализацию по этому поводу, ни чувствовать свое превосходство. Таково было положение вещей, и нам следовало приноровиться к этому. (Из двадцати семи жен в конце концов пятнадцати было позволено воссоединиться со своими мужьями в Англии.)

Урбан: Обнаружили ли вы какие-либо сильные или слабые стороны характера Сталина, когда вы представляли Великобританию на переговорах 1948 г. по поводу блокады Берлина?

Робертс: Генерал Уолтер Беделл Смит, посол США, Ив Шатенье и я встретились со Сталиным 2 августа 1948 г. и еще раз позднее. Я не буду вдаваться в детали переговоров, поскольку они хорошо известны; скажу лишь кое-что о слабых и о сильных сторонах Сталина. Одной из слабых черт, которая явно проступила на этих переговорах, было страстное желание Сталина выглядеть настоящим военным, если хотите, профессиональным генералиссимусом. На обоих заседаниях он появлялся в форме генералиссимуса, и ему явно понравилось, когда Уолтер Беделл Смит, профессиональный генерал, разговаривал с ним в такой манере: „мы, старые солдаты, можем между собой договориться”. Беделл Смит был моим старым другом; он был американским послом, когда я был в Москве в 1946—1947 годах. Он хорошо понимал, как следует разговаривать со Сталиным. Как только переговоры заходили в тупик, он заводил пластинку „Мы, старые солдаты”, и генералиссимусу это нравилось. По-

сколько он никогда не был солдатом, ему льстило, что настоящий генерал включал его в клуб профессиональных военных.

Другой слабостью Сталина была его неспособность понять немцев и Германию. В 1939—1941 годах он совершил роковую ошибку, не поверив, что Гитлер нападет на него, вопреки предупреждениям из Англии, США и от его собственных агентов. Он верил Адольфу Гитлеру! В 1948 г. он допустил другую ошибку, установив блокаду Берлина, и дал таким образом западным державам возможность, создав успешный воздушный мост, превратить немцев в своих друзей и потенциальных союзников, а три западные оккупационные зоны в процветающую Федеративную Республику, у которой теперь г-н Горбачев надеется получить кредиты и экономическую помощь.

Урбан: *Как бы вы подытожили ваш опыт по ведению дел с тоталитарными лидерами и правительствами для молодых дипломатов?*

Робертс: Во-первых, я считаю, что лучше вести с ними дела, чем не вести. Как говорил Черчилль, „трали-вали” всегда лучше, чем „пиф-паф”! Во-вторых, пытаться достичь реальных и осуществимых соглашений с ними, когда это равно в наших и в их интересах. В-третьих, не иметь никаких иллюзий, что, делая это, можно изменить суть враждебных отношений между двумя идеологическими системами.

Последний пункт особенно важен, поскольку на Западе нередко ведутся бессмысленные разговоры, что идеология для советской стороны ничего не значит. Конечно, верно, что революция там была более 70 лет назад, равно как и то, что советские руководители и аппарат перестали мыслить только в марксистско-ленинских категориях, ведь и мы не мыслим более только в категориях нашего греко-иудейско-христианского наследия. Тем не менее, идеология, которую они исповедуют, влияет на их поведение. Она определяет их стандарты, дает им точку отсчета для измерения любых человеческих усилий и формирует язык, на котором они разговаривают. Другими словами: соглашения — да, но было бы весьма опасно для нас думать, что Михаил Горбачев потенциально является новым Гельмутом Шмид-

том или Франсуа Миттераном, что, похоже, становится распространенной точкой зрения на Западе. На прощание я сказал бы вашему воображаемому молодому дипломату присказку французского посла XIX века: Россия не является ни такой сильной, ни такой слабой, какой она кажется.

Перевод Алексея Собченко

ДОКУМЕНТЫ И ЛЮДИ

Милан Шимечка

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

20 мая 1988 г.

В понедельник мне удалось просмотреть Литгазету лишь после ужина. Жадность, с которой я в первое время гласности изучал, к какому пределу правды русские в данный момент пришли, уже несколько притупилась. Еще пять лет назад я бы, наверное, слетел со стула, найдя в советской печати несколько добрых слов о Пастернаке, или увидев написанный кириллицей тезис о том, что Сталин был психопат, маниакально стремившийся убивать окружавших его людей. Но как-то привыкаешь, получая такие крепкие смеси по каплям.

Тем не менее, в понедельник вечером я не поверил своим глазам, увидев на пятнадцатой странице рисунок с магической датой „1984“, а над ним по-русски „Джордж Орвелл“. Я прочитал две строки текста и сразу увидел, что это — начало первой главы знаменитого романа Орвелла „1984“. Я встал, мне хотелось что-то сделать — закричать или сам не знаю, что. Я просмотрел заметки редакции и объявление Залыгина, что роман будет полностью опубликован в журнале „Новый мир“. Я шагал по кухне и в мыслях фехтовал сам с собою. У меня не было слушателей, а если бы они и были, то все равно не поняли бы, почему я так возбужден. Ведь они не знали бы, что у меня с Орвеллом свои счеты вот уже почти тридцать лет.

Теперь я понимаю, что в перечень условий моего доверия гласности я Орвелла даже не включил; такое условие казалось мне чрезмерным. И вдруг — вот тебе, передо мной все это черным по белому. Лозунги, написанные на фасаде Министерства

„Правды”: „Свобода — это рабство”. Мой товарищ Уинстон Смит думает, говорит и страдает по-русски! Я почувствовал, что вся моя история, связанная с этой книгой, похоже, понемногу подходит к концу; к концу подходит все, что я о ней написал, завершается и цепь событий, которые связывали с этой книгой мою семью.

Многое из того, что я пережил вместе с Уинстоном, я описал в послесловии к чешскому изданию романа „1984”. Оно было опубликовано издательством „Индекс” в Кельне (ФРГ); послесловие было переведено также на шведский и немецкий языки, а отрывки были опубликованы и на других языках. Этот текст я писал в 1982 г., тогда меня некоторые подробности еще смущали. Моя жена начала переводить роман в 1978 г., когда ее выгнали из университета и когда она со своим знанием английского не могла поступить на работу, потому что следом за ней ходили агенты госбезопасности, которые во всех отделах кадров давали понять, что это может привести к неприятностям. Перевод был затеян как лекарство от депрессии, чтобы помочь преодолеть ощущение, что уже не стоит что-либо делать, и стал семейным хеппенингом. Мы спорили с подрастающими сыновьями о чешских эквивалентах новоречи, сравнивали мир, в котором мы жили, с миром Орвеллова романа. Впрочем, Орвелл уже давно был у нас чем-то вроде домашней кулинарной книги для утоления духовного голода.*

В мае 1981 г. мы с женой загорали на горячем песке горы Сандберг над рекой Моравой, с видом на австрийскую сторону. На горе чистыми красками сияли все заповедные степные цветы; даже колючая проволока и сторожевые башни на границе удручали меня на этот раз меньше, чем обычно. Песок скрипел между страницами рукописи, и я думал о том, как бедному Уинстону приходилось убегать с Юлией далеко за город, чтобы избавиться от вездесущих ушей и глаз Полиции Мысли.

Три дня спустя за мной приехала черная Татра-603, и я исчез на год — в тюрьму. Рукопись во время обыска не нашли, она была спрятана в чулане, под вермишелью. Это их разозлило,

* В этом и следующем номере мы с небольшими сокращениями печатаем русский перевод этого послесловия. — Ред.

и через две недели они пришли снова. Вероятно, они в отсутствие жены и сыновей все пронюхали, потому что уверенно сунулись под вермишель. Забрали они рукопись перевода и приблизительно сорок страниц моего послесловия; этих бумаг мы больше не видели. Одна копия перевода все же сохранилась: ее как раз читала моя племянница, славу Богу, в кровати. Она жила в другом городе, но и туда ворвалась команда с обыском. Однако мужики все же были достаточно воспитанными, чтобы не лезть под одеяло к восемнадцатилетней девчонке. А там-то и лежал Орвелл.

Как я уже писал в послесловии, Уинстон был со мной на всех допросах. Он тихо сидел у меня в ногах, когда я засыпал в камере, стараясь не думать о будущем. В это время жена перепечатала сохранившуюся версию перевода и спрятала ее в погреб, в старое и запущенное противоатомное убежище, где полно крыс. Во время проливных дождей тайник залило водой и от рукописи остались размокшие, склеенные и почти неразборчивые листы бумаги. Жена рыдала, и сыновья, чтобы утешить ее, вложили рукопись по листам в стеллаж для пластинок, а потом сушили эти листы в духовке. Когда я вернулся, мы продолжали работу с того места, где год назад ее пришлось прервать. Но я приобрел опыт Уинстона — прежде неведомое мне пребывание в подземных камерах Министерства Любви. Примирившись с потерей конфискованной части послесловия, я стал писать его заново.

Я вспоминаю это лето с чувством умиления. На даче я вынес пишущую машинку в сад, соорудил из старого столика и старой садовой скамейки рабочий уголок — и писал. Солнце чуть не прожигало бумагу, а я, сумасшедший, портил себе в его колючих лучах глаза. Год одиночества как бы произвел генеральную уборку в моем мозгу. Все, о чем я думал в часы, когда мои товарищи по заключению уже храпели, было аккуратно разложено по полочкам. Никогда, ни до, ни после работа не приносила мне такого ощущения легкости и даже радости. В течение трех недель я написал сто страниц, а потом удалось отослать за границу и мое послесловие и перевод книги. Таким образом, все это удалось опубликовать в юбилейном году Орвелла — 1984-м. Я отмечал все эти совпадения во времени

с тихим удивлением, а иногда думал, что это не могло произойти само собой, что я втянут в эти взаимосвязи какими-то таинственными силами. Ведь в 1948 г., когда Орвелл переставлял цифры этой даты, мне было восемнадцать, я был ничего не ведущим дурачком. Как же я все это успел?

Первый в 1984 г. выпуск лондонского „Таймс” привел цитаты из моего текста, и я думал: „посмотрим, что будет дальше”, и был доволен. Полиция Мысли, однако, не могла закрыть на это глаза. Уже на второй неделе орвелловского года нас подняли в шесть утра и отвезли в уголовный розыск. Там меня и жену целое утро допрашивали в связи с грабежом на почте. Нам велели вспомнить, что мы делали два месяца назад в день Святой Екатерины, и я вспомнил, что выглянул тогда в окно и сказал жене: „Екатерина со снегом — значит, Рождество будет со слякотью”. Я спросил, как выглядел грабитель, угрожавший пистолетом служащей на почте. Они ответили, что это был молодой человек двадцати-двадцати пяти лет. (Когда его полгода спустя нашли, оказалось, что ему восемнадцать.) Я удивился и сказал, что трудно себе представить, чтобы я мог бы выглядеть как двадцатилетний, и что моя жена тоже вряд ли так выглядит. Но они только смеялись и говорили, что расследование проходит по установленным правилам. Потом у меня отобрали водительские права — и до сих пор не вернули. Нас отпустили обедать. Мы сидели над супом совсем одуревшие; потом пришли к выводу, что это не по Орвеллу, а скорее в манере Франца Кафки.

А потом обо мне писали в газете „Новэ слово”, — в нескольких выпусках с продолжениями. Где-то это у меня, наверное, лежит, но искать не хочется. Там писали, что Орвелл был опасный сумасшедший и что я тоже вроде него, и что это связано с тем, что я родился под знаком Стрельца. Но это неправда, потому что я родился под знаком приличных, спокойных и молчаливых Рыб. Автор статьи облил грязью вместе с нами еще одного сумасшедшего, какого-то Рейгана. Ах да, теперь я припоминаю: это тот самый Рейган, который впоследствии стал близким другом супругов Горбачевых.

Ну вот, а теперь ужасная книга Орвелла распространится в сотнях тысяч экземпляров по всей Руси. Ее будут читать

люди, судьба которых еще более схожа с судьбой Уинстона Смита нежели моя. Ее не прочтут те, кого расстреляли, не дав возможности расписать Джин Победы в кафе „Под каштаном”. Кто знает, что ждет их, живых? Хотелось бы, чтобы они осознали, что человек при всех обстоятельствах должен иметь право говорить, что дважды два — четыре.

В данный момент я думаю и о Джордже Орвелле — как он забько кутался на этом странном острове у западного побережья Шотландии, где было холодно и сыро; как он, с его больными легкими, курил сигарету за сигаретой и писал и писал. Мог ли он надеяться, что когда-нибудь, повесть, родившуюся в его голове, смогут прочесть в стране Старшего Брата? Орвелл был бы сейчас уже глубоким стариком, но мне все-таки жаль, что он не дожил до этих дней. Потому что именно сейчас мне хочется верить, что и его заслуга в том, что сегодня рабство не считают свободой даже в странах, от которых этого никто не ожидал, и что, вероятно, близится время, в котором „существует правда и то, что сделано — то сделано...”

Я рад, конечно же, я очень рад, но в то же время у меня такое ощущение, будто чему-то приходит конец, будто все уходит в будни, становится банальным и теряет привкус приключения. Теперь уже — по крайней мере, в России — книга Орвелла — одна из многих. И я вдруг пожалел об этом. Давно ли я давал эту книгу молодому человеку всего лишь на день? Думается, это было три года назад. Он вернул мне ее утром, с красными от бессоницы глазами, молчал и вид у него был такой, как будто он внутренне сгорел. При свободном распространении книг, похоже, что-то теряется. Будет ли и впредь важно послание, строго охраняемая тайна, которую содержит в себе книга? А что если самым важным окажется, сколько экземпляров этой книги продано? Если я доживу до такого, лучше замолчу, чтобы не выглядеть стареющим чудачком, с волнением вспоминающим времена, когда книги прятали под вермишель.

МОЙ ТОВАРИЩ УИНСТОН СМИТ*

Я, как и все, кому не стыдно в этом признаться, когда-то, читая книги, отождествлял себя с их героями и переживал чудесные придуманные приключения. Прелесть чтения состояла в том, что это я был охотником за микробами и спасал тысячи людей от неизбежной смерти; это я приземлял космический корабль на чужих планетах с причудливыми растениями и животными, где у женщин жгучие глаза и красная кожа. Я прикидывал все возможности добра (или зла?), которые я мог бы совершить, будь я невидимкой; думал о тайнах, которые я мог бы раскрыть. В душе я упрекал Уэллса, что он не использовал эти возможности и позволил толпе на улице убить невидимку. Но больше всего я мечтал быть с Сюзанн, Титти, Джоном, Роже-ром, Нэнси и Пегги на Острове Диких Кошек или плыть с Дороти и Дикком по южным рекам Яре и Буре, к Брейдонскому озеру и дальше к Ярмуту и в открытое море. Похоже, это свидетельствует, что с детства я подсознательно стремился к жизни без конфликтов, что меня тянуло к правилам приличия, которые велят и в диком лесу поблагодарить за два куска сахара к чаю. Как странно!

Только став взрослым, я понял, что нельзя по желанию выбрать для своей жизни самые увлекательные приключения из книг, что приходится выбирать жизненный сюжет, соответствующий твоему душевному складу, — и прожить его до конца. Так происходит со всеми, хотя, наверное, существуют люди, так и не прочитавшие этой „своей книги”. Записанные истории определяют границы наших жизней. Их неповторимость, кото-

* При переводе с чешского использовалось русское издание романа Джорджа Орвелла „1984”, напечатанное в Италии (ROMA).

рой мы так гордимся или утешаемся, состоит лишь в деталях. Лишь очень самолюбивые люди считают, что их жизнь — нечто совершенно исключительное, не имеющее прецедента, описанного хотя бы в нескольких предложениях в какой-нибудь старинной книге, уже распавшейся в пыль и прах.

Я лично пережил испуг, открыв эту истину, когда читал историю Уинстона Смита. Я вдруг почувствовал, что читаю свою собственную историю. Она для меня еще не началась, но я знал, что она начнется и что мне не избежать ее рокового продолжения. Я читал, не веря своим глазам, и у меня было ощущение, будто цыганка гадает мне по руке, или будто я смотрю в стеклянный шар на столе неопытной гадалки: ощущение брезгливости и неуверенности. На улице, при свете солнца, это покажется смешным предрассудком, но вдруг, если?..

Когда я впервые читал о судьбе Уинстона, мне было немногим больше тридцати. Я был тогда чуть моложе его, и все, что случилось с ним, еще могло случиться со мной. Так же, как и он, я вырастал в тоталитарной системе; я никогда не бывал в других странах, и у меня не было уверенности ни в прошлом, ни в настоящем, ни тем более в будущем. В известном смысле я был тоже работником Министерства Правды, живя в плену распространенной им идеологии. Во всяком случае, я, как и Уинстон, разбирался в производстве лжи и боялся конфронтации, к которой меня гнали пугающие сомнения и чистая бумага. Как и Уинстон, я смутно понимал, что чистая бумага будет исписана, что это — неизбежно, что судьба человека может свершиться лишь через эту конфронтацию. Книга лежала передо мной, я смотрел на последнюю страницу и у меня тряслись руки. Я испытывал непередаваемое ощущение идентификации и напрасно старался на улице, на солнце избавиться от него. Я был один на один со своим Смитом, и каждый из нас знал свое.

Кстати, я познакомился с Уинстоном по книге очень непристойной, в красном издании „Пингвина”, по тогдашним ценам за три шиллинга и три пенни. Книжку привезла моя жена из своей первой поездки в Англию. (Тогда еще можно было перевозить книги через границу.) На обложке был изображен какой-то туннель из паутины, из конца которого на меня смотрел глаз Старшего Брата. Названием были магические цифры — тысяча

девятьсот восемьдесят четыре. Автор, Джордж Орвелл, был уже почти пятнадцать лет мертв, а до магической даты оставалось более двадцати лет. За эти двадцать лет, прошедших с тех пор, я много раз держал в руках красную пингвиновскую книжку. Вскоре я знал ее почти наизусть. Она стала чем-то вроде домашнего справочника. В семье мы часто пользовались выражениями новоречи, чтобы выразить невыразимое. Один из моих друзей называл меня в письмах „представителем двоемыслия“, что вовсе не было похвалой.

Теперь, двадцать лет спустя, я могу лишь отметить, что мой испуг при первом чтении был вполне обоснованным. Моя жизненная судьба становилась все более похожей на историю красной „пингвинки“. Я привык к этому и принимал все, с чем мне приходилось встречаться, без особого удивления — я все знал заранее от Уинстона. Я слился с этим человеком настолько, что никогда не смогу с уверенностью сказать, что в определенной ситуации выработал мой мозг, а что было лишь невольным повторением реакций Уинстона.

Когда меня однажды после полуночи уводили в черную машину, стоявшую перед домом, и я понял, что на этот раз одним предупреждением не отделаться, я воспринимал все происходившее лишь как вариант сцены, когда Полиция Мысли уводит Уинстона и Юлию из их убежища над лавкой старьевщика, господина Чаррингтона. Мне пришлось сдержаться, чтобы не впасть в бесвкусицу и не сказать жене на прощание: „мы мертвецы“. Однако позднее, во время допросов, я много раз пользовался аргументами Уинстона. Мой О’Брайен, конечно, не знал, что это — не я придумал.

Сейчас 1982-й год. Я не стал охотником за микробами и, конечно, не стал невидимкой. Я так и не побывал на Острове Диких Кошек. Из того, о чем я мечтал в детстве, читая книги, не исполнилось ничего. Однако мне в полной мере досталось то, о чем я отнюдь не мечтал: я почти полностью идентифицировался с неприглядным миром красной „пингвинки“. Спрашивается, что еще ожидает нас из того, что предсказано в этой удивительной книге? Ах да, сверхдержавы не ведут открытой войны. Пока.

СХОДСТВО

Житель Восточной Европы, родившийся там и переживший все „победы” и поражения реального социализма, читая „1984”, встречает поразительные детали сходства, а Лондон романа сливается с образом родины. Ошеломление от удивительной схожести художественного произведения почти сорокалетней давности с самой современной современностью сначала подавляет все остальные впечатления читателя. Но это — удивление другого рода, чем при чтении старых фантастических романов. Читая роман Жюль Верна, в котором господа во фраках путешествуют на Луну в пушечном снаряде, мы умиленно улыбаемся и сравниваем все это с осторожным прыжком Н. Армстронга на лунную поверхность. Мы сознаем, что фантазии старых авторов сбываются и выдуманное прилунение кажется нам интереснее, чем прыжки американцев по пустынной Луне.

У Орвелла все по-другому. Сходство с действительностью действует как психический шок. В этом вовсе нет ничего забавного или приятного. Пророческая точность книги вызывает у нас невыразимые чувства. Мною каждый раз овладевает какое-то оцепенение, когда я, читая, наталкиваюсь на знакомые мне ситуации или описание среды, в которой я побывал вчера. Это оцепенение сходно с чувством, охватывающим нас, когда мы входим куда-то, где мы никогда не бывали, и вдруг нам кажется, что мы видели эту комнату, или участок леса и ручей, или море, бьющее о скалы волны, — нам кажется, что мы были здесь когда-то, может быть, во сне или в прошлой жизни. Это — невозможно, но нам все-таки кажется, что мы узнаем уже виденное, что мы слушаем голоса, уже слышанные, видим знакомые лица. Это необъяснимое ощущение чего-то давно знакомого чувствуешь с первой страницы фантастической истории 1984 г. Уинстон возвращается домой с работы, и нам кажется, что он сошел с того же автобуса, что и мы, и идет перед нами.

Пригнув подбородок к груди, чтобы укрыться от отвратительного ветра, Уинстон Смит быстро проскользнул в стеклянные двери Особняка Победы, не успев, однако, помешать вихрю песчаной пыли ворваться следом.

*В коридоре пахло вареной капустой и старыми половиками. В конце коридора висел разноцветный плакат, казавшийся слишком большим для того, чтобы вывешивать его в помещении. Он изображал громадное — более метра в ширину — лицо мужчины лет сорока пяти с густыми черными усами и с грубо красивыми чертами. Уинстон стал взбираться по лестнице. Нечего было и думать о лифте. Даже и в лучшие времена он редко работал, а теперь электрический ток днем вообще не подавался. Это было частью режима экономии, которым отмечалась подготовка к Неделе Ненависти... Ниже, на уровне улицы, другой плакат с порванным углом судорожно полоскался по ветру, то открывая, то закрывая единственное написанное на нем слово: АНГСОЦ. Вдали, между крышами, плавно скользнул вниз вертолет, повис на мгновение в воздухе, словно синяя мясная муха, и опять устремился дальше в кривом полете. Это полицейский патруль подглядывал в чужие окна...**

Я не знаю, где Орвелл увидел место, послужившее образцом для Особняка Победы. Может быть, это были жилые дома в бедном Истсайде. Но я знаю, что во времена Орвелла во всей Восточной Европе, а тем более в СССР, поселков, построенных из бетонных блоков, не было. И все же Уинстон возвращается именно в такой дом, в каком живу я, в жилой квартал, в строительстве которого я, будучи рабочим, участвовал многие годы. Когда я читал „1984“, в нашем доме тоже не работал лифт, а подвал был залит вонючей водой, в которой плавали крысы. Правда, со стен и многочисленных портретов на нас уже не смотрит Старший Брат, его глаза не преследуют гипнотическим взглядом каждого гражданина. Но я помню времена, когда он на меня смотрел, где бы я ни был. Мы все знали его лицо, лучше, чем лицо родного брата. До сих пор на нас с картин смотрит и его предшественник. Его взгляд устремлен куда-то вдаль, как будто его вовсе не интересуют мысли и деяния людей, живущих в его осуществленной мечте.

* Джордж Орвелл, „1984“, Stampato in Italia, Litostampa Nomentana ROMA, стр. 3—4.

Но лозунгов, написанных на красном полотне, везде полно. Они также не имеют никакого отношения к обыкновенной жизни людей, как лозунги на огромном здании Министерства Правды, которые читал Уинстон.

Куда ни придешь, куда ни глянешь, все, что слышишь по радио и по телевидению — все напоминает Лондон „1984“-го. Когда я, бывало, присутствовал на каком-нибудь собрании против Евразии или Истазии, у меня было такое ощущение, будто Уинстон стоит рядом со мной и мы оба восторгаемся торжественным уткомолвием оратора, этим удивительным шуршанием фраз сотни раз повторяемой лжи. Мы оба всматриваемся в лица вокруг себя, ища хотя бы тень ужаса, ощущаемого нами, но видим лишь равнодушие и апатию, тренированную способность не слышать, ничего не воспринимать и витать в каких-то личных мыслях и заботах.

Расходы на полицейские вертолеты, видимо, слишком велики, чтобы использовать их в массовом порядке для подглядывания в окна квартир. Но кто знает? Однажды я сидел с друзьями в саду деревенского дома, и над нами несколько раз пролетел вертолет. Пани М. сказала: „Это они!“, имея в виду Полицию Мысли. Остальные не были в этом уверены. Нам казалось невозможным, что полиция таким дорогим способом выясняет, пьем мы кофе, чай или вино. Но если бы с нами сидел Уинстон, он не сомневался бы ни минуты.

Слава богу, до сих пор не придумали телескрин, по которому, транслируя, скажем, утреннюю зарядку, в то же время получали бы кадры из квартир. Но состояние техники слежения и преследования находится на достаточно высоком уровне, чтобы полностью испортить людям жизнь. Я всегда горячо сочувствовал Уинстону, когда он искал хотя бы малюсенькую нишу в стене, где бы он был невидим телескрину, или уголок в лесу, находящийся вне радиуса действия аппаратуры подслушивания. Я знаю радость подлинного уединения, когда слова могут достигнуть слуха лишь того, кому они действительно предназначены...

Во всем этом я и Уинстона прекрасно понимал. А он, в свою очередь, тихо и с пониманием кивал головой, когда кто-нибудь из моих знакомых мычал так, что нельзя было ничего

разобрать, или когда мне совали бумажки с краткими сообщениями, поднимая глаза к потолку, как будто оттуда должно было торчать подслушивающее ухо Полиции Мысли.

Что же удивительного, что при таком совпадении реалий Уинстон Смит стал мне родным братом? Мне даже казалось, что за всем этим скрывается какая-то литературная магия, особенно когда я осознал, что в книге Орвелла меня волнует сходство не только быта и ситуаций, сколько хода моих и Уинстона Смита мыслей, почти полное отождествление интеллектуальных и эмоциональных реакций на окружающий нас мир. Это ощущение тождественности вовсе не было приятным, оно порождало глубокое беспокойство, ощущение иррациональности. Я не мог поверить, что англичанин Джордж Орвелл, биография которого столь отлична от моей, написал эту книгу для меня; что он таким странным образом вознамерился передать мне сугубо личное послание и по доброте сердечной предостеречь меня.

Я рос в мире запрещенных книг, в мире с измененным прошлым и с вездесущей индоктринацией, ничего не зная о судьбе Уинстона. Однако, как и он, я был во власти мучительной страсти — я искал скрытые тайны прошлого, расшифровывал замаскированную ложь; я облюбовал себе образ мысли, который в тоталитарной системе приводит к неприятностям. Когда я позднее прочитал „1984“, у меня сразу появилось ощущение дружеского доверия, как на тайных встречах, когда достаточно нескольких взглядов и слов, чтобы определить, кто есть кто. В то время я уже был взрослее и опытнее, быть может, я мог бы кое-что посоветовать Уинстону.

Мы сблизились, идя друг другу навстречу. Наши сомнения начались одинаково. Уинстон, конечно, не помнил великой революции, в 1984 г. ему должно было исполниться только 39 лет. Значит, он намного моложе нашего поколения, в молодости участвовавшего в великой революции. Я помню, как все началось. Я помню крушение старого мира и соблазн зари надежды, обещавшей исправить все ошибки, совершенные человечеством. Верить гораздо проще, чем сомневаться, — и я поверил.

Но вскоре после великой победы революции мне перестали нравиться некоторые присущие ей черты, например, Недели

Ненависти. Они происходили тогда во время больших процессов над врагами народа. Телевидения еще не было, ненависть источало радио. Я не видел лиц предателей, а только слышал их безжизненные голоса. Я тогда ничего не знал о „Двух Минутах Ненависти“, но меня, как и Уинстона, приводила в ужас неистовость толпы. Я так же ощущал свою отчужденность и одиночество. Эта трезвость ума вселяла в меня страх и предчувствие, что все это плохо кончится. Я еще не был знаком с Уинстоном, но у нас обоих отсутствовала способность приспособляться — и это нас сближало.

Позже мне казалось, что рассказ об Уинстоне Смите — примитивное пособие на тему „познай самого себя“. Я все понимал. Я понимал волнение Уинстона в момент, когда ему кто-то сунул в руку портфель с таинственной рукописью. Я понимал его возбуждение, когда он спешил в свое убежище над лавкой старьевщика, чтобы, наконец-то, открыть книгу и увидеть первое слово правды. Я в своей жизни открывал целый ряд таких книг, и вскоре как и Уинстон понял, что они лишь подтверждают то, что я уже давно знал. Я помню, как меня ошеломило, когда и это утверждение я прочел черным по белому у Орвелла: Уинстон, прочтя первые страницы книги Гольдштейна, минуту задумывается:

*„Книга пленила его или, точнее, укрепила во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но несравненно более глубокого, дисциплинированного и менее подавленного страхом. Лучшие книги те, — подумал он, — в которых говорится о вещах, уже знакомых вам”**

С близким, или, как говорится на здешней новоречи „родным“, товарищем Смитом меня объединяло еще одно обстоятельство. Оба мы в детстве жили в старое время, которое было

* Упомянутое издание, стр. 198.

проклято, но всплывало в памяти в особом счастливом освещении, хотя и было как бы преломленным через слой зеленой воды. Оба мы, однако, этим старым воспоминаниям не совсем доверяли, потому что молодость очень уж искажает образ мира. Что касается осознания прошлого, я был, конечно, в гораздо лучшем положении по сравнению с Уинстоном, ходившим по кабакам, чтобы выудить из памяти ветеранов в конце концов не слишком ценные и бессвязные воспоминания. Я мог читать старые книги. И чем больше я их читаю, тем мне становится грустнее, потому что я, как и Уинстон, прихожу к выводу, прямо ужасающему своей простотой: что в прежние времена было больше свободы и уважения к человеку.

Сознание того, что после всех усилий мозга приходишь к такому тривиальному выводу, конечно, удручающе. Это признавал и Уинстон. Мы оба, собственно говоря, всю жизнь искали забытые слова, как если бы в них были скрыты все тайны. Вероятно, так оно и было. Наше приключение состояло в том, что мы с риском открывали то, что уже давно было открыто.

ЭРИК БЛЭР И ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ

Всех увлеченных книгой Орвелла здесь, в Восточной Европе, вероятно, удивляет, что ее смог написать англичанин, человек совершенно другого мира. И как он мог вдобавок написать эту книгу в 1947—1949 годах? Как мог этот англичанин, живший не среди нас, а в Бирме и в Англии, предсказать мир, который, если не произойдет чуда, скоро будет почти совпадать с действительностью? Насколько я знаю, Джордж Орвелл никогда не перешагнул границы первого в мире социалистического государства, никогда не перешагнул границы стран народных демократий и никогда не испытал страха, опутывающего граждан укрепившихся диктатур. Как же он мог в истории Уинстона Смита описать положение человека, совпавшее тридцать лет спустя с судьбами реальных людей?

В литературе это, конечно, случается. Вымышленные судьбы переплетаются с судьбами живых людей. Обычно, однако, это бывают истории в рамках обыкновенных человеческих жизней. В данном же случае это история, тесно связанная с конкретной

политической и социальной действительностью. Как же это случилось с книгой, являющейся, в довершение всего, видением будущего?

Эти вопросы мучили меня. Как потаенный и страстный читатель научной фантастики я, конечно, нашел целый ряд объяснений этим загадкам. Например, скажем, что „1984” написал какой-то писатель из Восточной Европы, предположим, в конце семидесятых годов, не как утопию, а как роман-гиперболу с современной тематикой. Он ловко замаскировал все английским колоритом, чтобы Полиция Мысли не могла найти автора. Потом люди из будущих тысячелетий, путешествовавшие во времени, отняли книгу у автора и подусунули ее в 1949 г. Джорджу Орвеллу. Может быть, они надеялись, что таким образом книга лучше выполнит свое назначение предостережения. Ведь в одной книге Исаака Азимова Ферми подобным образом узнает о возможности производства атомной бомбы. Это объяснило бы все сразу. Но такое объяснение никто не примет, оно слишком безупречно.

Конечно, должно было существовать другое объяснение, менее фантастическое, более близкое к действительности. Я искал такое объяснение в каждой статье или книге об Орвелле, которые, несмотря на самые различные препятствия, попадали в Чехословакию. Я скептически искал рациональное объяснение пророческих способностей автора в фактах его жизни и духовного развития.

Биография Эрика Блэра не лучшее доказательство тезиса, что каждое литературное произведение является, в конечном счете, свидетельством жизни самого автора. У Уинстона Смита, например, нет никаких биографических черт, общих с Эриком Блэром, или — самые отдаленные.

Эрик Блэр родился в Индии в 1903 г., и, если бы он дожил до своей магической даты, ему был бы 81 год. Уинстон был, таким образом, на 42 года моложе. Биография Блэра—Орвелла столь типично английская, что она для меня совпадает с судьбами героев английских романов эпохи короля Эдуарда. Отец Эрика Блэра — английский колониальный чиновник, познакомился с матерью, француженкой по происхождению, в Индии, где он остался и после переезда семьи в Англию. Семья Блэра

была типичной для английских средних слоев. Они жили в провинции (в Оксфордшире и Саффолке), и места из „1984”, полные поэтической ностальгии, для Орвелла столь необычной, где Уинстон вспоминает мать и пейзаж своего детства, возможно, являются трепетным воспоминанием о сумерках в английской деревне.

„Внезапно он оказался на лужайке, поросшей короткой упругой травой. Был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Пейзаж, растилавшийся перед его взором, так часто являлся ему во сне, что он никогда не мог вполне уверенно сказать, видел он его в жизни или нет. Мысленно, наяву, он называл его Золотую Страной. Это было старое, потравленное кроликами пастбище, с бегущей по нему пешеходной тропинкой и с кротовинами то тут, то там. На противоположной стороне, за неровной живой изгородью, кущи вязов слабо покачивались под легким ветерком, шевеля густой массой листьев, словно космами женских волос. Где-то рядом, хотя и невидимый, медленно струился чистый поток, и в заводях его, под ивами, играли ельцы.*

В такой местности течет и речка Орвелл, название которой стало псевдонимом Блэра. До момента своего перевоплощения Блэр был типичным молодым человеком из хорошей английской семьи. Он учился в частных средних школах в Веллингтоне и Итоне, что представляло странную подготовку к „1984”. Еще более странной подготовкой была служба в имперской полиции в Индии, где Блэр служил несколько лет, после чего он вернулся в Англию. Странно видеть автора „1984” на фотографии в полицейской форме.

Гораздо логичнее развивалась жизнь Блэра с точки зрения подготовки к созданию мастерского произведения в Англии с 1928 года. Блэр начинает зарабатывать на жизнь как независимый писатель, эссеист и романист, и ему приходится напрягаться. Он интенсивно следит за бурным политическим и со-

* Упомянутое издание. Стр. 31.

циальным развитием, в результате которого Европа приобрела современный облик. Эрик Блэр становится Джорджем Орвеллом, наблюдая вблизи на европейской политической сцене анамнез 1984 года.

В тридцатые годы человек столь интеллектуально активный, как Орвелл, вероятно, просто не мог остаться в стороне от всеувлекającego водоворота основополагающих идей того времени, обещавших тысячелетнюю империю или чудесное будущее людям во всем мире. Достаточно было присмотреться к тому, как жили европейские народы, чтобы понять небывалое значение идеологий. В Советском Союзе началось строительство социализма в романтических одеждах первой пятилетки, нацизм удивлял порядком и готовил для мира военные испытания. В остальных странах Европы резкая граница проходила через народы, делая их фанатичными сторонниками различных политических идей. В Испании как раз из-за идей шла гражданская война. Бывший итонский студент стал в этом бурном мире социалистом, сторонником равенства и страстным противником фашизма.

Орвелл уехал в Испанию добровольцем, воевал, был ранен и, несомненно, опыт испанской гражданской войны оставил в нем глубокий след, дав ему заглянуть за границу чистых идей, в мир человеческих ситуаций, где решающую роль играет элементарная человеческая мотивация жизни или смерти. Идейная основа „1984” и еще больше — идейная основа „Фермы Энимал”^{*} возникли под влиянием встречи с испанским анархистским движением, в отрядах которого он воевал. Острота противоречий в испанской гражданской войне, фанатизм, с которым боролись друг против друга разные социалистические движения, содействовали созданию образа будущей идейной жизни Океании.

Ряд зловещих событий, непосредственно предшествовавших второй мировой войне (а они неизбежно должны вызывать ощущение полной беспомощности разума перед лицом укрепившейся власти), например, московские процессы, захват

^{*} Ферма Энимал, Изд-во „Проблемы Восточной Европы”, Нью-Йорк, 1986 г.

нацистами Австрии, мюнхенское соглашение, финско-советская война и раздел Польши — все это углубило скептическое отношение Орвелла к идеологической интерпретации мира. Этот скепсис, а также, бесспорно, презрение к человеческому роду, не способному извлечь уроки из своего опыта, вероятно, усиливала болезнь Орвелла — затяжной туберкулез, помешавший ему участвовать в мировой войне. Он был осужден наблюдать издалека гибель, к которой по собственной вине влеклись почти все страны мира. Орвелл уже тогда созрел настолько, чтобы видеть зло во всякой тоталитарной идеологии и отвергать ее. Поэтому он начал писать в 1943 г., в самое неблагоприятное с политической точки зрения время „Ферму Энимал”. В свое время эта книга воспринималась как антисоветская и неудивительно, что в Англии до 1945 г. для нее не нашлось издателя. Сегодня, читая эту книгу внимательнее, мы понимаем, что автор смотрел глубже, проникая к корням политической извращенности, к которой скатывается почти каждое революционное движение, замкнутое в тотальной монолитной идеологии.

Орвелл пошел в эти годы гораздо дальше, чем другие, он не поддавался эйфории послевоенного оптимизма, вере в перспективы прочного мира. Несмотря на все футурологические заклинания, которые не обошли Англию, в 1947 г. он начал работать над своим самым большим романом — „1984”. В это время он был уже тяжело болен. Быть может, предчувствие близкого конца окрашивало в мрачные тона картину будущего мира. Вероятно, именно поэтому он оказался бесконечно ближе к действительности, чем все эти организованные сверху конгрессы ученых, работников искусства, защитников мира и других групп интеллектуалов, которые охотно избавлялись от своих страхов на массовых митингах с флагами, знаменами и скандированием лозунгов. И тогда, конечно, были пропагандисты, которые как и сегодня характеризовали точку зрения Орвелла как банальную готовность услужливо поддерживать изощренным литературным произведением выступление Черчилля в Фултоне. Но сегодня очевидно, что „1984” — не пропагандистская брошюра, а одна из самых замечательных книг XX века, что подтвердили прошедшие годы и подтверждает современность...

Как история Уинстона Смита сформировалась в уме Орвелла, откуда она взялась, что дало ей первый импульс? Этим

вопросом задавались многие, у кого были лучшие, чем у меня, условия для таких изысканий. Многие мучались над тем же вопросом, что и я, не приняв фантастическое объяснение, предложенное мною. В литературе об Орвелле собрано много доказательств, что произведение это не было результатом мгновенного озарения, что, наоборот, его структуру объясняет ряд драматических моментов жизни Орвелла, его борьба за осмысление европейского безумия тех лет, но что здесь сработало и художественное вдохновение. Но нам, на Востоке, и после этого не все будет ясным.

Мы вынуждены признать, что Орвелл был человек знающий, страстно интересовавшийся мировыми событиями. Он, несомненно, много знал о происходившем в Советском Союзе, был знаком с эмигрантской литературой, которая, однако, тогда не была столь обширной, как сейчас, и не имела такого авторитета, как ныне. Он, наверняка, слышал много рассказов, может быть, читал книгу Кравченко „Я выбрал свободу”, изданную в Англии именно в 1947 г. (мимоходом замечу, что это — лишь тень более поздних публикаций).

Я всегда отдавал себе полный отчет в том, что Орвелл импонирует мне не только творческой гениальностью, но и ясными, четкими идеологическими выводами, которые он сумел сделать из шумных и соблазняющих выкриков на идеологическом рынке времени его жизни. Когда я в молодости искал собственную ориентацию, искал что-то прочное, ясное, я наталкивался на скрытность, робость, двуличие и теологические аргументы авторитетных мыслителей и писателей. Мне сказали, что Андре Жид написал всю правду о своем посещении СССР. Я с жадностью набросился на эту запретную книгу, но ничего особенного в ней не нашел. Если это — неприкрытая правда, подумал я, тогда будущее — на стороне советской идеологии. И в дальнейшем я слышал наполненные верой и благожелательностью высказывания таких людей как Рассел, Арагон, Сартр, Шоу, Пабло Неруда, и мои любимые американцы, не говоря об итальянских режиссерах удивительного нео-реализма. Одним словом, в каждой стране был какой-нибудь лауреат Нобелевской премии, великан духа, который не желал слышать о жизни и приключениях Уинстонов Смитов. Когда я вспоминаю об этом,

у меня возникает ощущение, что Министерство Правды надежно работало во всем мире, и многие его видные сотрудники занимались маскировкой действительности добровольно и с энтузиазмом. Сколько всем им пришлось писать оправданий и выступать с самокритикой! Какими дураками оказались они перед публикой! А после них появилось еще одно поколение дураков, к которому я принадлежу и я.

Конечно, не каждое слово, написанное Орвеллом, подтвердилось. Но он возвышается надо всеми своей прозорливостью, и мы жалеем, что люди были неспособны принять столь ясное и лаконичное предупреждение. Таким представляется мне произведение Орвелла много лет спустя. Для меня оно — большой триумф интеллекта, точной ориентации в идеологических джунглях, и лишь затем триумф литературный. У Орвелла не было каких-то преимуществ в исследовании этих джунглей по сравнению с другими, и меня не перестает удивлять, как рано и в каких неблагоприятных условиях он сумел сориентироваться. Нужно к тому же принять во внимание, что он рассматривал положение не извне, а находясь в гуще переплетающихся „левых” течений, эти джунгли создававших.

Многое можно объяснить, не прибегая к утопии, согласно которой Орвелл — путешественник во времени. Известно, например, откуда непосредственно этот колорит достоверности, который как бы просвечивает мир в 1984 году. Известно, что основной сюжет романа Орвелла, и его герои и даже кое-какие подробности основываются на романе Евгения Замятина „Мы”. Орвелл знал этот роман, ценил его и заботился об английском издании.

С литературной точки зрения, „1984” — простое повествование, без артистических узоров. Здесь как будто все остальное неважно, значение имеет лишь интенсивность изображения, интенсивность болезненных впечатлений и волнующий аромат мысли, стремящейся добыть хотя бы толику правды, даже ценой жизни. „1984” — это книга, написанная вблизи смерти, это видно.

ПОИСКИ ПРАВДЫ, ПОИСКИ ПРОШЛОГО

Орвелл одарил Уинстона Смита профессией, лучше которой ничего придумать невозможно. Он сделал его чем-то вроде реставратора прошлого, фальсификатора осколков истории — небольшим винтиком огромной машины, приспособляющей прошлое к настоящему в духе последнего партийного тезиса: „Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым”.

Может быть, где-нибудь в мире косметическая работа Уинстона — небольшие изменения, которые он вносит в старые выпуски „Таймс”, чтобы они соответствовали последним установкам и было бы невозможно доказать, что государство лжет, — воспринимаются как курьез, как забавное преувеличение. Может быть, где-нибудь в мире люди думают, что не столь уж важно, чтобы государство признавало свои ошибки. Только мы, в Восточной Европе знаем, как это важно, потому что идеология — как большое зеркало: достаточно небольшой трещины, и уже в нем строит рожи действительность, заменяющая сказку.

Орвелл знал это до нас, и поэтому заставил Уинстона играть жалкую роль мелкого фальсификатора прошлого, наделив его при этом страстным стремлением к правде. А мы, читатели, можем следить за расколом сознания Уинстона, за утомительной борьбой с покровами лжи, искусно развешанными там, где мог бы открыться многообещающий вид. Таким образом, Уинстон стал нашим современником в своем унижении и беспомощности, в своем страхе перед правдой, прорывающейся на поверхность, и восторгом перед небольшими открытиями правды — одним словом, тем, как он дополз к ней сам, буквально на четвереньках. Открыв лишь пару тривиальных истин, он был раздавлен Партией за это, как насекомое. Его открытия ничтожны и не имеют значения, но его дают, потому что своими поисками он представляет „отклонение от эталона”. Но он вызывает симпатии читателя именно потому, что представляет собой „отклонение от эталона”, что ему свойственны простые человеческие черты — любопытство, здравый смысл и порядочность.

Уинстон меня всегда глубоко трогал именно в этом качестве. Меня трогали те места книги, где Уинстон, как цыпленок, клюет скорлупу лжи, окружающей его, и сквозь крохотную дырочку старается увидеть неизвращенное прошлое, хотя бы в общих чертах понять, как все произошло, как выглядела действительность до того, когда Министерство Правды переделало ее.

Он, действительно, не знал покоя, он всюду искал историю. Он — фанатик истории, принужденный жить в обществе без истории. Вернее, без подлинной истории, с историей, выведенной из настоящего, в соответствии с интересами этого настоящего.

„Все, что происходило до конца пятидесятих годов, поблекло. Когда нет внешних регистраторов событий, с которыми можно сверяться, даже контуры собственной жизни теряют отчетливость. Вспоминаются грандиозные события, которых, может быть, вовсе и не было; вспоминаются детали происшествий, но общего духа времени почувствовать уже больше нельзя: наконец, имеются периоды, вообще не отмеченные в памяти ничем”.*

В этой сцене утреннего мучения он — гораздо более трогателен и убедителен, человечен, чем, например, в любовных сценах с Юлией. Кто из нас не испытал минуты утреннего заторможения реакций, замедленности и отупелости, когда тебе в голову лезут именно такие настойчивые мысли. Они как слепни, как кровожадное насекомое, которое присосется и, раз уж сосет кровь, может дать себя в такой момент убить. Окружающие не понимают, почему ты брюзжишь, почему ты с утра в отчаянии по поводу мира, его прошлого и настоящего, лжи и правды — вместо того, чтобы быстро выпить чай, как следует повязать галстук и мчаться на трамвайную остановку. Однако мысли Уинстона даже в замедленном ходе утренних раздумий подобны ракетам, выстреленным из пистолета. Это — сигнальные выстрелы, старт к умственным приключениям, продолжающимся в течение дня.

Когда нас окружает ложь, мы, конечно, обращаемся к прошлому, потому что в прошлом мы чувствуем опору: то,

* Упомянутое издание. Стр. 33.

что сделано, сделано. Разумеется, нас интересует, почему из прошлого изъято то или другое событие, кому оно мешало. Поколение, к которому принадлежу я, знает это по собственному опыту. Мысль Уинстона, которую я привел, можно отнести и к нам — может быть, даже датой, перенесенной, скажем, к началу 50-х годов. Мы помним, как все это происходило, но очертания событий уже утратили ясность. Однако я много раз убеждался в том, что следующее поколение помнит события, никогда не происходившие, сохраняет в памяти вымышленные официальные версии, какой-то суррогат прошлого. О 50-х годах второе поколение узнает... собственно, не узнает абсолютно ничего, потому что это — годы без значительных и грандиозных свершений, так что в календаре нет славных годовщин и праздников. Это годы, подобные всем остальным: люди рождались, женились и умирали; некоторых повесили, а другие на их беде построили свою карьеру. Для идеологического настоящего эти годы не имеют значения, поэтому они осуждены на забвение. Мы все живем в искусственно созданной внеисторичности.

Это хорошо придумано, потому что в этой внеисторичности человек вскоре начинает сомневаться в самом себе — в точности своей памяти, в подлинности своих собственных впечатлений и в подлинности того, что он видел собственными глазами и слышал собственными ушами. С экрана нам говорят, что мы никогда не были так свободны и защищены от опасностей, как сейчас. Люди не могут припомнить, как же все было на самом деле. Они не уверены, легенда ли это, или действительно были времена, когда на границе не было колючей проволоки и сторожевых вышек. Такие факты не припоминаются, так же как многие другие. О них молчат, чтобы не забыть. Эта внеисторичность навевает уныние, а когда все это вспомнишь рано утром, начинается тошнота и не хочется завтракать.

Раздумья, в которые погружается Уинстон и все мы, это не мания, это — просто акт самосохранения, защита перед тотальной дезинтеграцией, попытка сохранить человеческое достоинство. Нигде в мире история не имеет такого значения, как в Восточной Европе. Мало кому Министерство Правды уделяет такое внимание, как историкам.

В течение многих лет я задавал себе вопрос Уинстона:

откуда в интеллектуальном маразме нашей общественной жизни и формирования образа мыслей взялась эта утонченная и продуманная концепция внеисторичности, кто исследовал и оценил ее эффективность, ввел ее постепенно в практику во всем блоке государств? Или это — не продуманная концепция, а лишь простое вранье преступника, заматающего следы? Вероятно, концепция присвоения прошлого и его полного подчинения настоящему вышла непосредственно из мастерской Старшего Брата И. В. Сталина, вовсе не глупого человека. В конце концов, он сам освятил эту концепцию, написав историю партии и конкретно показав, как надо идти по пути к внеисторичности. Прежде всего — совершенно бессовестно! И раз уж была создана концепция, не трудно было снова и снова ей следовать, потому что она оказалась необычайно эффективной для укрепления власти. Против нее стояла лишь историческая правда — смехотворный враг, если иметь в виду, что в распоряжении этой правды нет ни одного хотя бы небольшого отряда полиции.

Эти мои рассуждения могут вызвать впечатление, что я был умнее Уинстона, что в поисках прошлого я шел более прямым путем и решительнее, чем он. Эта разница, однако, связана с разницей условий. Действительно, препятствия в исследовании прошлого в наше время никогда не достигали такого совершенства, как в 1984 г. у Уинстона. Эти препятствия можно было обойти, осторожно раздвинуть занавес лжи. Сегодняшний уровень познания нашего поколения — результат долголетней медленной реконструкции прошлого. Я сам уже не знаю, что в ходе этой реконструкции играло главную роль — собственные ли воспоминания, вера в то, что я видел собственными глазами и слышал собственными ушами, или же мысли и события, описанные в подозрительных и запрещенных книгах. А может быть, на меня действовали рассказы тех, кто помнил гораздо больше меня и был готов говорить охотно и без предвзятости в отличие от старика, у которого Уинстон старался вытянуть хоть что-нибудь. Могу сразу добавить, что с такими людьми я встречался не часто и вообще их было немного. Я помню, однако, что меня волновала каждая встреча с правдой о прошлом, с теми, кто был вычеркнут из истории и вдруг выплыл, с живыми существами, связанными с событиями, о которых я ничего не

знал и которые вдруг выступили из сумерек со своей неповторимой атмосферой. Просто мне повезло больше, чем Уинстону.

Я должен, однако, признаться, что сначала я не хотел верить, что вся эта грандиозная работа по фальсификации истории, в которой участвовали научные институты, университеты, уважаемые люди — академики и профессора, шла с ясным сознанием обмана, лишь как простая реализация лозунга: „Кто управляет настоящим, управляет и будущим...” Как во многих других случаях, мне было бы приятнее, если бы все это было результатом слабости ума, результатом слепоты, которой боги наказали человека, чтобы он не раскрыл все тайны своего создания и цели своего пребывания на земле. Одним словом, мне казалось более достойным человека не видеть правду, чем явно лгать. В молодости я не умел себе представить, что носители власти могут действовать так низко и примитивно, подчинить историографию узким интересам власти — ведь в истории это было столько раз дискредитировано. И все же дело обстояло именно так. Я постепенно узнавал, что софистика классового понимания истории, софистика правды, подчиненной цели и не всегда тождественной очевидной правде, и вся остальная нарядная упаковка — все это было уже вторичным продуктом стараний интеллектуалов. Они заботились о том, чтобы все это не звучало так ужасно: что историографии почти не нужны факты, кроме, может быть, самых важных дат, и что история нам нужна просто лишь постольку, поскольку существующая власть может на нее опираться, выводить из нее легитимность. Все мои исследования привели, наконец, к лапидарному выводу, который партия в книге Орвелла провозглашала открыто и искренне: „Кто управляет...” Все предельно ясно и просто.

Но так уж получается. Нам трудно признать, что в наше время, когда для изучения всего, что касается людей, мы имеем научно-исследовательские институты, штабы экспертов, международные съезды и вообще всю благородную науку, что именно в этой науке, верной эпохе, целые штабы экспертов и научно-исследовательские институты послушно начинают фабриковать ложь, буквально создавая новую историю по желанию заказчика. А заказчик — это государство и его представители, причем эти последние, платя за такую службу, обеспечивают ход этой

государственной науки. Я не хотел все это признать, я убеждал себя в том, что это — невозможно, что все лишь кажется таким примитивным, а главная причина лжи и умалчиваний состоит в том, что изучение истории необычайно трудно, что у нас никогда нет достаточной дистанции, чтобы понять события четко и правильно, потому что обыкновенная правда, на которой люди сошлись бы, была бы лишь конвенцией — и что, таким образом, историческая правда людям вообще недоступна, подчиняясь лишь богу.

Орвелл вылечил меня от этой софистики. Все дискуссии о новой и новой переоценке прошлого, которые когда-либо велись, или, возможно, все еще ведутся, являются лишь постыдной попыткой официальной историографии прикрыть совершенно примитивный и явный приказ власти — излагать историю так, чтобы она была основой настоящего; а в следующий раз историю будут излагать, быть может, иначе, смотря как нужно будет. Если когда-то кто-то и сомневался в том, что положение вещей именно таково, то эти сомнения рассеялись в Чехословакии во время так называемой нормализации, когда все историки, отказавшиеся принять игру со столь простыми правилами, были изгнаны из институтов и заменены людьми, которым никакие моральные предрассудки не мешали переписывать историю заново...

Каждый историк старше тридцати лет помнит ниспровержение идолов, эксгумацию трупов и объявление их блаженными; помнит время, когда черные ямы истории стали заполняться — живыми и мертвыми, протягивавшими руки и вопрошавшими, что будет с памятью о них, с их жизнями, отброшенными во внеисторичность, или, как до сих пор говорят, на мусорную свалку истории. А кто постарше, помнит сенсационные разоблачения, прозвучавшие с трибуны XX съезда КПСС, когда страна сотрясалась под пирамидой лжи, когда казалось, что изошренная конструкция лжи о прошлом навсегда скатится в пропасть. Я был очевидцем последствий такого разрушения лжи. И все-таки все это снова и снова повторяется. Сегодня меня это не так раздражает, потому что Орвелл познакомил меня с лозунгом партии, который все еще засекречен. Все это происходит ради того, чтобы прошлое полностью слилось с настоящим.

В современном понимании история — лишь пьедестал, на котором покоится нынешняя власть. Дело лишь в том, чтобы приспособить этот пьедестал к настоящему по величине и по форме. Чем больше и монументальнее пьедестал, тем больше он нравится правителям. Все это слишком ясно и очевидно. Беда историкам!

В „1984” внеисторичность была доведена до совершенства. Масса пролов не знала об истории практически ничего, а члены Внешней Партии вынуждены были довольствоваться видоизмененной историей. Орвелл не оставляет сомнений в том, что эта изощренная ликвидация исторической памяти не самоцель, а производится лишь постольку, поскольку это лучшая профилактика против любой попытки сопротивления. Люди без исторической памяти не могут сопротивляться, потому что у них нет возможности сравнить данное положение с чем бы то ни было другим, поэтому все довольны.

Интересно, что я нашел ту же мысль в книге киргизского писателя Чингиза Айтматова „И дольше века длится день”. В повести, изданной в 1981 г., Чингиз Айтматов рассказывает старую легенду о рабах без памяти. В ней говорится о кочевниках, которые особым способом превращали своих пленных в рабов. Молодых мужчин брили и обвязывали голову ремнями из кожи свежееубитого верблюда. Потом этих несчастных оставляли несколько дней на горячем степном солнце. Кто выживал после этого, становился манкуртом — рабом без памяти. Он не помнил, откуда он, где родился, кто были его отец и мать. Такой раб без памяти стоил в десять раз дороже обычного.

* *
*

В начале 80-х годов сформировалось поразительное совпадение в рассуждениях, характерных для доброй половины земного шара. В легенде, рожденной в казахской степи, звучит явное предупреждение об опасности потери исторической памяти, как и в романе, место действия которого — Лондон, основанном на совершенно других исторических, культурных и литературных традициях. На пороге магической даты это совпадение обнадеживает.

Уинстон был, конечно, лишь рядовым сотрудником Министерства Правды. Он видоизменял прошлое по приказу сверху, не зная, почему начальству заблагорассудилось изменить ту или иную подробность. Его лучший трюк — создание никогда не существовавшего товарища Огилви. У нас, конечно, предупредили бы товарища Уинстона Смита, что опасно проявлять свои способности, фантазию и оригинальность мысли, потому что всякая тоталитарная власть убеждена, что фантазия, особые способности и оригинальные мысли в конце концов обернутся против нее. Уинстон за эту краткую вспышку гордости и честолюбия дорого заплатил... Орвелл описал этот феномен замечательно...

Некоторое время я был таким же поденщиком в Министерстве Правды, и я знал людей, которые старались сделать из лжи и умалчиваний, по крайней мере, интересную работу. Поскольку им было противно врать примитивно, на уровне лекторов районного масштаба, они лгали элегантно. Эти люди ценили формальное совершенство лжи, они доводили ее до такого блеска, что, наконец, она казалась им если не столь уж благородной, как правда, то, по крайней мере, интересной с формальной точки зрения и достойной внимания как умственная конструкция. Орвелл предвидел, что таким образом можно создать самостоятельный мир, подделку подлинного мира, и этот вариант нужно постоянно поддерживать, чтобы он не распался. Но в этом-то как раз и состоит интерес. Если удастся войти в искусственную конструкцию достаточно глубоко, абстрагировавшись от подлинного мира, то в этом искусственном слепке оказывается достаточно проблем, решая которые можно получить удовлетворение от умственных усилий, необходимых для сохранения этой хрупкой конструкции.

В таком существовании, конечно, много скрытых опасностей. Элегантная форма плохо переносит грубую ложь. Тут легко ошибиться, случайно подойдя к правде с обратного конца. Когда ложь слишком прямолинейна, может прозвучать легкая ирония. Однако ирония — ужаснейшее преступление, какое только можно совершить по отношению к Партии. Выполняя грубую работу, нельзя пользоваться точными и тонкими инструментами. В прошлом, сконструированном по-новому, Партия

любит четкую и ясную границу между хорошим и плохим; она не любит, когда события или исторические явления объясняются с оговорками или когда какие-то вопросы остаются без ответов.

Люди, пытавшиеся придать этой мясницкой работе интеллектуальный характер, всегда были априори под подозрением. Уинстон предсказал судьбу одного из них — Сайми:

„Был какой-то едва уловимый изъян в Сайми. Чего-то ему не доставало: сдержанности, скрытности, чего-то вроде спасительной глупости. Нельзя сказать, что он уклонист. Нет, он верит в принципы Ангсоца, он благоговееет перед Старшим Братом, он радуется победам, ненавидит еретиков не только искренне, но с какой-то ненасытной яростью, и именно тех еретиков, которых надо ненавидеть по последним сведениям, недоступным рядовому члену Партии. И тем не менее, его верность Партии вызывает какие-то сомнения. Он говорит вещи, которых лучше было бы не говорить, он читает слишком много книг, он является завсегдатаем кафе „Под каштаном” — излюбленного места художников и музыкантов”.*

Никогда позже, ни в какой другой книге, я не нашел столь увлекательного описания поиска прошлого и правды... Этот поиск оказывается столь волнующим только при диктатуре, где прошлое скрыто за завесами лжи. Он немного похож на детективное расследование.

Уинстон стоит перед очевидным противоречием между правдой и ложью. Это как в сказках: ложь — черная сухая старуха, а правда — белая сияющая принцесса. Он почти теряет сознание от волнения, когда находит в старой газете доказательство невиновности человека, уже давно казненного за преступление, которое он не мог совершить, потому что находился в другом месте земного шара. Как и все искатели правды, Уинстон подвергался самообману, что явное доказательство лжи должно подорвать основу власти, опирающейся на ложь.

* Указанное издание, стр. 56.

Лишь в тюрьме он убедится, что правда — утешение для таких как он, но она ни в коем случае не является инструментом свержения власти. И это полезный урок.

Потребность Уинстона в правде — это потребность ребенка, но все больше и больше подтверждается, что именно на этой потребности зиждется мир... Поэтому, вероятно, будет все больше и больше Уинстонов, физически не переносящих ложь. Быть может, они решатся что-то предпринять; быть может, они найдут, как Уинстон, небольшую нишу, обмакнут в чернила перо и начнут писать:

*„Будущему или прошлому, — тому веку, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, тому веку, когда существует правда и то, что сделано — то сделано...”**

АНГСОЦ И ПР.

Идейная жизнь в Океании Орвелла не очень вдохновляющая. Она примитивна, легко обозреваема и сводится к нескольким лозунгам. Насколько я помню, Уинстон ни разу не поддался соблазну подробно заняться доктриной Ангсоца. Если подумать, то никакого систематического учения Ангсоца и нет. Во времена Уинстона все учение — это лишь колючая проволока вокруг status quo власти. Уинстон даже не знает, существует ли вообще какое-нибудь учение; этого не знает уже никто. Может быть, когда-то существовала некая теория, когда-то давно, до революции, но от нее остался лишь обгоревший фундамент, на котором построили клетку из колючей проволоки, чтобы ни одна мысль не могла просочиться ни вовнутрь, ни наружу. Ни Орвелла, ни Уинстона, ни других жителей Океании (а теперь я вижу, что ни меня, ни других граждан стран Восточной Европы) не волновал вопрос, было ли это учение в своей первоначальной форме прогрессивным, означало ли оно прогресс в развитии

* Указанное издание, стр. 29.

человечества. Клетка из колючей проволоки отменяет вопросы такого рода, так же, как, в конце концов, она отменяет само мышление. Учение, не имеющее оппонента, учение, для которого Полиция Мысли заблаговременно освобождает кафедру, которое убивает любое проявление сомнения и критики — такое учение не может возбуждать интереса...

Орвелл абсолютно точно предсказал отмирание идейной жизни. Это его ясновидение вызывает у меня глубокий восторг, потому что во времена Орвелла марксизм и другие идеологии были живы и не могло быть уверенности в том, что они заостенеют так, как это показано в „1984”... Ведь я сам еще помню, как после войны все увлекались идеологией, на Западе и на Востоке, главным образом, марксизмом и ленинизмом. Огромная китайская армия побеждала под флагами учения Мао в одной битве за другой. Конечно, нельзя доказать, что Орвелл отождествлял Ангсоц с марксизмом... Антиутопия Орвелла имеет универсальное значение, и вполне возможно, что она могла бы относиться даже к социальным организациям разумных существ в космосе, а не только к людям, если бы эта организация дошла до стадии тоталитарного безумия. Может быть, мы, в Восточной Европе, могли бы сказать, что нас это не касается, что это — не о нас, потому что членам Партии не приказывают жить в безбрачии, наоборот, каждый свободно совокупляется, когда ему захочется, членов „Внутренней Партии” не исключая. Было бы действительно проявлением духовной ограниченности понимать роман Орвелла как кривое зеркало, наставленное реальному социализму, позволив остальному миру потирать руки. От Орвелла никому не уйти, он для всех...

Одно бесспорно — невозможно запретить себе думать о взаимосвязях и сходстве реальной современности и антиутопии конца 40-х годов. Мы не можем, таким образом, делать вид, что когда Орвелл писал свою книгу, он старался не затронуть существующий социализм. Ведь он был убежденным социалистом и судьбы социалистических надежд были ему не безразличны. „1984” вырастает из идейной основы 30-х и 40-х годов, это попытка ответить на тревожные вопросы, над которыми советская действительность в стадии строительства сталинизма заставляла задуматься. Орвелл в своей публицистике, например, в критике советского социализма был очень сдержан. Однако

в своем лучшем произведении он дал волю своему несогласию и даже отчаянию по поводу методов, посредством которых в СССР осуществлялся старый социалистический идеал, хотя ему были известны все оправдания и объяснения, которые в то время приводились и часто с сочувствием принимались. Социальный и политический строй, созданный Орвеллом в Океании, бесспорно, отражает критическое отношение и недоверие, которые автор испытывал по отношению к советской системе сталинского типа.

Конечно, каждый может читать Орвелла как хочет. Я его читал, изо всех сил стараясь как можно меньше радоваться над самыми грустными деталями, потому что это ужасно, когда Орвелл похож на действительность... Я, конечно, не виноват, что живу на такой широте и долготе, где в течение последних тридцати лет жизнь становится все более и более похожей на жизнь в Лондоне „1984“... Поэтому я переносу сюда и идейную жизнь Океании, поэтому я, наконец, назвал Уинстона Смита своим товарищем. Поэтому я не могу не сравнивать официальное государственное учение этой страны с доктриной Ангсоца.

Я делаю это не по злой воле. Об Орвелле иначе писать просто невозможно. Все остальное было бы ханжеством. Можно было бы, конечно, не писать о нем вообще, как мне советовали хорошие люди, но я считал бы это предательством по отношению к моему товарищу Смигу, который столько раз помогал мне, столь многому меня научил, передав мне свой опыт... Орвелл никогда не узнает, как он помог мне — человеку, живущему в другом месте и в другое время.

Он помог мне разобраться в идейной жизни Океании и, тем самым, в придушенной духовной жизни моей страны. Во всей книге Орвелла не найти фразы о том, что свобода — главное условие духовной жизни, развития мышления. Однако книга разоблачает убогую болтовню, которая остается от всего идейного богатства человечества, после полного подчинения духовной жизни примитивным директивам власть имущих. Такой же болтовней стал бы Шекспир, переведенный на Новоречь.

Я на каждом шагу отдаю себе отчет в том, насколько мы похожи на Океанию. Так например, здание Министерства Правды! Я иду по городу и вижу, даже стараясь не видеть, что все здания, в которых занимаются пропагандой, выпускают ложь

и полуправду, организуют Минуты и Часы Низкопоклонничества, Минуты и Часы Ненависти, т. е. здания радио, телевидения, редакций газет великолепны, выше остальных — со множеством окон, стекла и людей. И я думаю: может, они его, Орвелла, все-таки читали? — я имею в виду тех, кто принимают постановления по проектам таких зданий.... Я думаю, что и директора радио и телевидения читали Орвелла — иначе как объяснить, что они выпускают в эфир этот отвратительный шум об успехах и перевыполненных планах? Когда я открываю газеты, я думаю о том же; сразу видно, что тысячи работников Министерства Правды постарались, чтобы в „Таймс” не попало ничего, что могло бы взволновать сознание граждан Океании. Все — в наилучшем порядке, обаяние Старшего Брата гарантирует безопасность, и на всех фронтах мы одерживаем одну победу за другой.

Если бы у нас не было врагов, уже давно был бы рай на земле. Одним словом, если бы не было этого проклятого Гольдштейна! И здесь мы подходим еще к одной детали, которая заставляет меня поражаться пророческим способностям Орвелла. Орвелл, скажем, мог следить за оргиями ненависти, которые Сталин инсценировал против Троцкого, а позднее и других „врагов и шпионов”. Орвелл был также свидетелем выступлений Гитлера, брызжащего ненавистью. Он мог слышать реакцию публики, напоминающую рев досисторического животного. Но меня удивляет прежде всего описанная им техника, холодно рассчитанная техника, при помощи которой можно вызывать и регулировать взрывы ненависти масс. Такой техникой способен овладеть бездарный государственный деятель. Подобное происходит не только у нас, но во всех тех странах, которым для сохранения бездарной власти или для сокрытия собственной беспомощности нужен враг. Когда я читаю о Двух Минутах Ненависти, о Неделе Ненависти и других подобных человеколюбивых компаниях, я говорю сам себе по секрету, что этого Орвеллу, пожалуй, не следовало писать. В этих строках дается простая инструкция возбуждения ненависти любой толпы, а это создает опасность, что бездарные политики, прочитав эти строки, найдут бездарных техников и организуют такой взрыв ненависти, от которого взорвется Земля и погибнет цивилизация... Рецепт известен всем, и может случиться, что даже столь добродушный

и симпатичный человек, как Уинстон Смит, вдруг поймает себя на том, что...

„кричит вместе с другими и неистово стучит каблуками по перекладине стула. Самое страшное в Двух Минутах Ненависти заключалось не в том, что каждый должен был участвовать в них, а в том, что, участвуя, невозможно было оставаться безучастным.

Но уже через тридцать секунд притворяться было незачем. Отвратительный экстаз страха и мести, желание убивать, мучить, сокрушать кузнечным молотом чьи-то черепа, подобно электрическому току, неслись по всему залу, превращая людей против их желания в визжащих и гримасничающих помешанных...

В этот миг вся группа людей низкими голосами, медленно, ритмично, монотонно затянула — „Эс-Бэ!... Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!...” — очень медленно, с большой паузой между первым „эс” и вторым „бэ” — тяжелое, бормочущее пение, в котором было нечто первобытное: за ним невольно слышался топот босых ног и дробь том-тома. Оно тянулось секунд тридцать. Напев этот часто раздавался в минуты особенно большого подъема чувств. Он представлял собою род гимна в честь мудрости и величия Старшего Брата, но прежде всего это был акт самогипноза: намеренное усыпление сознания с помощью ритмического шума. В душе Уинстона словно что-то оборвалось. Если во время Двух Минут Ненависти он не мог устоять против общей истерии, то это получеловеческое, монотонное „Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!...” всегда наполняло его ужасом”.*

Я читаю эти строки Орвелла одновременно с наслаждением и болью... Это ведь сказано не о далеком будущем. Я сам участвовал в подобных сценах и был свидетелем того, как легко поддаться массовому психозу...

Учитывая относительную прочность режимов восточно-европейских стран, понятно, что их государственная идеология не может все время ссылаться лишь на одного врага. Со времен Эммануила Гольдштейна сменилось множество врагов, в каж-

* Упомянутое издание. Стр. 16—18.

дой стране были свои. Шпионов и предателей называли по-разному, но, в сущности, это всегда были какие-нибудь Гольдштейны. Орвелл выбрал удачную фамилию: в кампаниях по борьбе с врагом такая фамилия звучит чуждо, по-еврейски, и это годится. Гольдштейнам не помогало изменение фамилий — во всех странах, где происходили Кампании Ненависти, их все равно разоблачали.

С тех пор, когда врагами, главным образом внутри Партии, были многочисленные группы шпионов и предателей, которые, как нарочно, состояли, прежде всего, из самых старых и заслуженных ее членов, характер этих весьма нужных режиму врагов несколько изменился. Сейчас мы уже имеем дело не с заговорщиками, затаившимися на высоких постах. Общий упадок сопровождается приниженным образом врага. Сейчас это — чаще всего люди, которые не скрывают своего несогласия. Они даже дают как-то понять, что не любят Старшего Брата и что у них появились сомнения относительно Ангсоца. Но это, конечно, не настоящие враги, потому что выглядят они одинокими и беспомощными, так что о них молчат. Для организованных Дней Ненависти сегодня лучше подходят враги заграничные, которых никто не знает настолько, чтобы проверить, кто они такие. Наиболее удобны тайные организации или, как их называют, диверсионные центры. Это само по себе звучит великолепно. Зарубежные радиостанции тоже годятся во враги. Значение отдельных групп может меняться, но нельзя, чтобы создалось впечатление, что врагов становится меньше или что они стали слабее.

Множество идейных врагов — чрезвычайно выгодный аргумент. Происки врагов — неистошимый источник инспирации, двигатель идеологической борьбы. Пропагандистам не приходится прилагать усилий для поисков сюжетов — всегда есть против чего бороться. Кто-то из вражеского лагеря что-то сказал или написал — вот тебе и сюжет. Его можно использовать до дна, вывернуть наизнанку; понося врага, упражняешься в ненависти. Идейная жизнь в тоталитарных структурах представляет собой обширную область паразитирования мысли — она черпает пищу лишь из тела врага. Эти структуры не в состоянии породить хотя бы одну-единственную важную идею, но они и не стремятся

к оригинальности. Более того, оригинальность мысли сама по себе подозрительна. Такой паразитизм имеет то преимущество, что можно каждый раз выбирать из вражеского арсенала такую идею или такую ее форму, которые можно уничтожить без особого труда. Более сложную идею можно немного видоизменить, чтобы она выглядела глуповатой — и победа обеспечена. Поскольку доступ к идеям врагов имеют лишь избранные, то нет опасности уличения в фальсификации. В Министерстве Правды и в других учреждениях, нередко научных, таким паразитированием зарабатывают на жизнь тысячи и тысячи людей. Эту работу многие любят — считается, что она больше подходит интеллигентному человеку, чем просто повторение официальной доктрины. Мол, таким образом, можно познакомить широкий круг людей с идеями, которым их критика все равно не повредит.

Очевидный парадокс заложен уже в самой основе современной и будущей идеологической войны. История социалистических стран с самого начала революции излагается как постоянная борьба с врагами...

Но представим себе хотя бы на минуту, что все враги исчезли. Это было бы ужасно. Ведь моментально испарились бы все объяснения неудач, за все пришлось бы отвечать нам самим. Status quo был бы моментально разрушен и одновременно рухнула бы основа идеологии, поскольку она сохраняется лишь паразитированием на чужих идеях. Работникам Министерства Правды пришлось бы что-то придумывать самим, и очень быстро стало бы очевидным, что без врагов доктрина впадает в немоту. Без Гольдштейна пропаганда свелась бы к мычанию, экраны погасли бы и умолкли.

Партия в Океании выдвинула три лозунга: „война — это мир“, „свобода — это рабство“, „невежество — это сила“. Уинстон, как и остальные жители Океании, не задумывается об этих лозунгах. Раздумья о них все равно ни к чему бы не привели, потому что зерно истины во всех трех лозунгах есть, и смекалистый диалектик не даст спорщику слова сказать. Лишь последний лозунг в настоящее время, вероятно, стал непригодным, слишком уж он откровенен. В наши дни Партия такой лозунг не

вывесит, несмотря на то, что на всех уровнях власти она предпочитает лояльное невежество критическому знанию.

Орвелл дает понять, что смысл таких лозунгов не в подлинном их значении, не в том, что они действительно говорят о мире и политических целях. Смысл таких лозунгов — в их подсознательном воздействии на мышление людей. Эти лозунги подобны нечленораздельному бормотанию шаманов, это современные формы воплей, которыми доисторических существ сгоняли в стадо. В таких лозунгах нет ничего инспирирующего, но цель их — не вдохновлять мысль, а заложить сознание в некую формулу, привычное сочетание, сплести паутину, которой можно опутать любую идею. Уинстон не старался вникнуть в смысл этих лозунгов. Он научился с ними жить. Так же научились жить с ними мои сограждане, и, конечно, я сам. Сейчас, правда, никто не говорит, что свобода — это рабство, но как только заходит речь о свободе, это понятие оказывается в сети, которую в мозгах развесила тридцатилетняя пропаганда. Натренированный мозг, не задумываясь, повторяет: свобода — да, но для кого? Конечно, не для тех, кто хотел бы ею злоупотребить для... и т. д. Так останавливают любую дискуссию о свободе в полном соответствии с лозунгом „свобода — это рабство”.

Не знаю, вычислил ли кто-нибудь с помощью компьютера эффективность таких лозунгов! Когда я вижу, что на них никто не обращает внимания, что люди совершенно равнодушно проходят мимо, воспринимая их как абстрактное оформление улиц в дни праздников, начинает казаться, что это напрасная трата бумаги, полотна, красок и человеческого труда. Я, как и Уинстон, не обращаю на них внимания и не могу судить, в какой мере они тормозят свободу мысли. Иногда мне кажется, что это всего лишь ритуал, пережиток старых времен. Но потом я вдруг обращаю внимание на то, что в публичных выступлениях никто не выговорит слова „мир” без второй части лозунга — „борьба” так что сразу возникают словосочетания „борьба за мир”, „мы боремся за мир”, „вперед за мир”. И сразу становится очевидным, что эти лозунги все же выполняют свою губительную функцию — они создают систему знаков, подобную китайским иероглифам, мешают многим сказать какие-то другие слова, чем те два-три, которым их научили.

Возможно, все это усваивается непроизвольно. Может быть, Партия знает, что люди легче подчиняются выкрикам первобытных охотников, чем утонченной аргументации разума... Уже во времена революции завели пружину истории, которая до сих пор придает определенную энергию механизму идеологической жизни в обществе реального социализма. Завода пружины едва хватает, чтобы колесики двигались, спотыкаясь на каждом зубце, и при этих заплетающихся шагах никаких идей не возникает. Таково было положение уже к 1984 г. Уинстон все это видел, и меня немного удивляет, что это не заронило в него надежду.

КНИГА

В обществах, с управляемой государством пропагандой, в атмосфере лжи и секретности, автоматически возникают легенды о таинственных книгах или о единственной книге — книге, разоблачающей всю ложь и представляющей правду во всем ее притягательном величии. Я помню такие легенды со своих двадцати лет, когда у нас началось всеобщее вранье и утаивание. Я встречал людей, которые о таких книгах слышали, даже держали их в руках или читали. Эти книги были окружены особым ореолом. По сравнению с обыкновенными книгами, которые можно было купить, это были аристократки, принцессы. В самом начале я говорил, как себя чувствует человек, когда ему, наконец, попадается в руки такая легендарная книга — ведь такой была и красная „пингвинка” Орвелла.

Уинстон жил в подобном нашему мире. Он тоже слышал о существовании Книги. Усовершенствованной диктатуре в Океании противостояла одна-единственная оппозиционная книга. Это была книга Гольдштейна, в единственном экземпляре. Дело было не в тексте как таковом, эта книга вызывала любопытство и волнение просто как предмет.

„Черный, увесистый том в самодельном переплете без имени автора и без названия на обложке. Печать тоже как будто необычная. Страницы изорваны по краям и легко

рассыпаются, — книга, по-видимому, прошла через многие руки”.*

Сколько таких книг я держал в руках со времен моей молодости? Я должен сказать, что каждый раз я переживал от общения с ней особое волнение.

То же самое переживал и Уинстон, когда наконец-то к нему попала книга Гольдштейна, наконец-то он ее читал — он уже не был один на один со своими мыслями. Может быть, он ожидал большего, а, может быть, и нет; возможно, эта утаиваемая книга удивила его своим спокойным тоном, тем, что она лишь описывала состояние общества и избегала уничтожающих оскорблений Старшего Брата. Книга объясняла Уинстону, в каком обществе он живет и как все было прежде. Но книга не сказала Уинстону самого важного — не открыла тайну, мотивы происходящего, развязку. Книга подбиралась к этому, но у него не хватило времени дочитать. В комнату над лавкой старьевщика ворвалась Полиция Мысли. Катарсиса не произошло. Уинстон не обрел новой веры, не успел внутренне присягнуть, не смог помолиться наконец-то выявленной правде. Он прочел лишь холодное описание общественной структуры Океании и краткое изложение идеологии Ангсоца.

Мне, конечно, хотелось бы знать, какое значение придавал Орвелл тем нескольким страницам книги Гольдштейна, которые приведены в „1984”. Писал ли он этот текст свободно и независимо как писатель-автор фантастического романа, или изложил результаты своих теоретических размышлений, свое глубокое убеждение в черном будущем человечества, выразил безнадежность, порожденную безумием существующих идеологий. Я очень хотел бы знать, что Орвелл имел в виду под книгой Гольдштейна. Была ли она социологической галлюцинацией, соответствующей роли книги в обществе Океании? Или Орвелл высказал, что он действительно думал о европейской цивилизации в целом? Ответить на этот вопрос не просто, потому что Орвелл зашифровал ответ двойным кодом; книга должна быть лучшим произведением Гольдштейна, чем-то вроде его завещания, но, в конце концов, оказывается, что ее подбросила Уинстону Полиция Мысли. Ну, в этом ничего нового нет, так

* Упомянутое издание. Стр. 181.

поступали часто, когда автор не решался подписать текст, слишком выходящий за рамки традиционных представлений и существующего уровня так называемого научного познания и расходящийся с признанными теориями и авторитетами.

С этой точки зрения, чрезвычайно интересно проанализировать страницы книги Гольдштейна как выражение взглядов Орвелла. Ничто в этом тексте не наводит на мысль, что читатель может не принимать его всерьез. Книга начинается просто и лаконично:

„Во все исторические времена и, возможно, с конца Неолитической эры в мире существовало три рода людей: Высшие, Средние и Низшие. Они разбивались на множество подгрупп, носили бесконечно разнообразные названия, и их численность, как и взаимные отношения, менялись из века в век; но субстанция общества всегда оставалась неизменной. Подобно тому, как жироскоп, в какую бы сторону его ни отклонили, возвращается в устойчивое равновесие, в обществе, даже после самых сильных потрясений и переворотов, не оставлявших, казалось бы, никаких возможностей возврата к прошлому, вновь и вновь утверждались прежние нормы.

Цели этих трех групп человечества глубоко различны...”*

Далее Орвелл-Гольдштейн развивает это примитивное учение о расслоении общества, описывая вечную модель классовой борьбы, согласно которой Высших сменяют у кормила власти Средние, а Низшие всегда внизу и остаются. Кто стоит за этой теорией — Орвелл или Полиция Мысли? Если за ней стоит Орвелл, тогда эта народная, примитивная и даже несколько догматическая интерпретация классовой структуры общества означает одновременно отрицание способности социологии научно познать механизм социальной жизни; к тому же это — издевательство над всеми теориями классовой структуры общества, которые уже сотни лет препарируют его тело как труп. Можно было бы и позабавиться, и махнуть на них рукой. Половина того, что было написано о классах по видимости научно, обернулось бессмыслицей. За последние сто лет ни один класс не вел себя

* Упомянутое издание. Стр. 182.

так, как ему следовало бы себя вести согласно различным классовым теориям. Строгое деление общества по Орвеллу не более априорно, чем, например, механическая классовая теория марксизма, обнаруживающая в каждом периоде истории на всем ее протяжении лишь два антагонистических класса — уже в домашних слугах античных патрициев марксизм видел предшественников пролетариата. Но утверждение Орвелла в любом случае дерзко. Всегда ли это действительно было так? Как-то старый рабочий на стройке продемонстрировал мне другое: он взял в руки лопату и наглядно показал на ее древке, что находившиеся когда-то внизу теперь оказались наверху, но рабочие остались посередине и вынуждены по-прежнему вкалывать. Этот рабочий, конечно, не имел понятия, что он несколько видоизменил теорию Орвелла. Но он спонтанно использовал терминологию „1984”. Нужно сказать, что на протяжении всей своей жизни в обществе реального социализма я не слышал других терминов. Нормальный человек никогда не скажет „класс”, „рабочий класс”, „буржуазия” и т. п. В полном согласии с Книгой он говорит лишь о „высших”, „низших” и „средних”. Докладчиков на собраниях поучали: вам наверху легко, а нам, внизу, важно совсем другое...

Теория, развиваемая Орвеллом, довольно хорошо объясняет возникновение тоталитарных структур, многие ее идеи приемлемы для меня и сегодня, тридцать пять лет спустя. Ее нетрадиционная простота убедительнее многих научных трактатов, размазанных на сотни страниц. Ощущение такое, что читаешь заранее написанную историю.

„По окончании революционного периода 50-х и 60-х годов общество, как обычно, перегруппировалось на Высших, Средних и Низших. Но, в отличие от всех своих предшественников, новая Высшая группа действовала, руководствуясь не инстинктом, а точным знанием того, что ей необходимо для укрепления своих позиций. Уже давно было известно, что единственной прочной основой олигархии является коллективизм. Богатства и привилегии легче всего защищать тогда, когда они являются общим достоянием. Так называемая „отмена частной собственности

ти”, проходившая в середине столетия, означала фактически концентрацию собственности в очень немногих, по сравнению с прошлым, руках, но с той разницей, что собственником стала группа, а не масса индивидуумов. Взятый в отдельности член Партии не владеет ничем, кроме немногих личных вещей. Коллективно Партия владеет в Океании всем, ибо всем распоряжается и всю продукцию распределяет так, как ей кажется лучше. Всегда предполагалось, что если класс капиталистов будет экспроприрован, — наступит социализм. И капиталисты действительно были экспропрированы. У них было взято все — фабрики, шахты, земли, дома, транспорт, — и поскольку все это не было больше частной собственностью, постольку предполагалось, что все должно перейти в руки общества. Ангсоц, выросший на базе раннего социализма и унаследовавший его фразеологию, осуществил один из основных пунктов программы социализма, но в результате, как это и предвиделось, экономическое неравенство было закреплено навеки”.*

Одна фраза из этой длинной цитаты сформулирована особенно удачно, и жаль, что она не оказалась среди общеизвестных орвелловских цитат. Это о том, что богатство и привилегии легче всего охранять, если они являются общей собственностью. К этому выводу многие мыслители пришли в последние годы, хотя они могли давно прочесть об этом в Книге. Тем не менее, речь идет об одной из строго охраняемых в последние пятьдесят лет тайн. Все социалистические движения национализировали частную собственность, иррационально веря, что этот акт сам по себе решит все проблемы, навеки гарантируя равенство и братство людей, которым уже нечего будет завидовать друг другу. Трудно поверить, какое завораживающее действие оказывал простой перевод промышленности из-под контроля бюрократа — чиновника частной фирмы под контроль бюрократа, оплачиваемого государством. Сегодня невероятно сложно объяснить, что этот акт фактически ничего не менял, во всяком случае для

* Упомянутое издание. Стр. 204—205.

тех, во имя кого все это производилось, т. е. для рабочих. Собственность довлеет над людьми не в соответствии с тем, на чье имя она записана, а в зависимости от того, кто ею управляет.

Я всегда испытывал неловкость, когда по телевидению показывали введение в строй нового завода, открытие универмага или ресторана. Государственные и партийные деятели в белых рубашках и при галстуках перерезали ленту и произносили речи о том, что мы стали еще богаче, что возросли масштабы нашей общей собственности. Я долго не мог понять, что здесь не так. Я знал, что завод не принадлежит рабочим, получившим за его строительство ордена. Я знал, что он не принадлежит и деятелям, произносившим торжественные речи. Они не могут записать завод на себя, не могут прийти к бухгалтеру и потребовать пол миллиона на расходы в любимом баре. Лишь благодаря Орвеллу я понял, что все это не имеет значения, что вопрос о собственности не играет никакой роли, что для структуры власти важен контроль над собственностью, власть распределять продукцию промышленности и сельского хозяйства, услуг — всего, что составляет так называемую коллективную собственность. Потому что привилегии, богатство, положение и конкретная власть, не обязательно связанная с номенклатурной должностью, — все это основано на праве распределять.

Это простое объяснение Орвелла, возможно, приложимо и к частной собственности, где право на часть прибыли не столь привлекательно, как непосредственный контроль над производством, распоряжение судьбами людей, пользование привилегиями экономической элиты. Это заколдованный круг: рабочие борются за национализацию промышленности, а, победив, оказываются в том же положении, в каком они были ранее. А после того, как они это сознают, начинаются забастовки — и на Востоке и на Западе.

На других страницах текста Орвелла-Гольдштейна имеются замечания, которые звучат как новейшие идеи диссидентов Восточной Европы — например, те страницы Книги, где подробно анализируется техника власти, способы контроля за мыслью. Говоря о жизни и обязанностях членов Партии, Орвелл пишет:

„Член Партии обязан не только идти в ногу со временем

в своих воззрениях, но и обладать соответствующим чутьем. Многие догматы и правила поведения, которые вменяются ему в обязанность, никогда не были ясно сформулированы и не могут быть сформулированы без того, чтобы не вскрыть содержащиеся в Ангсоце противоречия”.*

Это не только остроумные замечания, но и точное описание явления, присущего всем тоталитарным партиям. Я много раз наблюдал, как люди в важнейшие исторические моменты вели себя, подчиняясь инстинкту, а не разуму. Инстинкт подсказывал им вести себя в полном противоречии с разумом, честью и совестью. Поскольку они вели себя согласно инстинкту, Партия награждала их именно за то, что они отказывались от разума и совести. Знающие партийную фразеологию подтвердят, что Партия нисколько не стыдится инстинкта, на основе которого ее члены сохраняют ей верность любой ценой. Партия поощряет эти инстинктивные связи с властью, твердит о правильном классовом инстинкте, о классовых чувствах и другом иррациональном хламе — и делает это беззастенчиво, забывая, что социалистическое движение в XIX веке возникло как раз на основе отрицания такой чепухи. С точки зрения прогноза чисто в стиле Верна безусловно достойна внимания первая (вводная) глава сочинения Орвелла-Гольдштейна, где говорится о войне и объясняется лозунг „война — это мир”. Человек нашей эпохи сразу подумает, что у нас вместо трех сверхгосударств — три сверхдержавы, причем приблизительно в тех частях земного шара, куда поместил их Орвелл. Читая об исполнившихся прогнозах, мы, конечно, рады, что исполнилось не все. Мы рады, что нет перманентной войны между сверхдержавами, что идут лишь небольшие войны, в которых сверхдержавы участвуют через посредников, но используя свое оружие. Ненависть, конечно, воспитывается вполне целеустремленно. Среднее знание среднего человека о жизни, обычаях и образе мысли других народов и рас являются набором предрассудков и сознательной клеветы. Таким образом, чего нет, то может быть, причем с

* Упомянутое издание. Стр. 210.

с гораздо худшими последствиями, потому что давно исполнились мечты военных штабов супергосударств Орвелла, удалось решить проблему — „найти способ уничтожения нескольких миллионов человек в течение нескольких секунд без объявления войны”.

Менее убедительна другая теория Орвелла, которая повторяется в книге довольно часто. В ней утверждается, что система, существующая в Океании, является результатом заранее разработанного плана и гениального замысла. Нет никакого доказательства, что современные тоталитарные или, по орвелловской терминологии, олигархические общества в их сегодняшнем виде являются результатом продуманного замысла. Наоборот, все говорит о том, что эти общества сформировались как продукт повседневной борьбы за сохранение власти, и все первоначальные планы в ходе этой борьбы были заброшены и преданы. Эти общества — продукт прагматического самоопределения. Люди сверху постепенно учились технике управления, известной нам по Океании. Сначала они, может быть, и не думали, что они смогут создать такую систему. Разумеется, им очень помогла глупость тех, кто доверчиво отдал в их руки всю власть.

Но в Книге экскурс в историю ангсоца и в теорию Партии остается незаконченным, основные вопросы остались без ответа. В момент, когда Уинстон должен был получить ответ, почему, собственно, все это происходит, каковы цели Партии, какая тайна скрывается за ними, в его читательскую обитель врывается Полиция Мысли. Уинстон так и не узнал, что было в Книге дальше. Здесь автор повел себя по отношению к читателю немного нечестно:

„Тут мы подходим к главной тайне. Как мы уже видели, мистика Партии, прежде всего Внутренней Партии, поддерживается *двоемыслием*. Но еще глубже под этим кроется первоначальная причина: неоспоримое побуждение, которое сначала привело к захвату власти, а затем вызвало к жизни и *двоемыслие*, и Полицию Мысли, и перманентную войну, и все прочее. Это побуждение состоит...”*

* Упомянутое издание. Стр. 216

На этом месте автор заставил Уинстона потянуться, встать, взглянуть на спящую Юлию, лечь спать и даже уснуть. Ну, не знаю, я бы на данном месте книги, наверное, не уснул. Это можно было бы счесть трюком, столь частым в детективных романах — разгадка тайны просто оттягивается, чтобы удержать читателя в напряжении до самого конца. Но Орвелл уже к этой фразе не вернулся и вообще нигде не сказал, каков же этот первоначальный мотив. Мы ничего не узнаем об этом и позже, в назидательных беседах в застенках Министерства Любви. Орвелл, возможно, отдавал себе отчет в том, что нельзя изложить всю сложную проблематику мотивации диктатуры. Может быть, он нащупывал какое-то общее объяснение, приблизился к какой-то большой правде, но потом испугался ее или увидел изъяны своего объяснения. Может быть, он понял также, что нет такой формулировки, нет одного мотива, одной универсальной тайны, являющейся причиной всех бед этого мира. Возможно, он поступил наилучшим образом. Уинстон был бы, может быть, разочарован, если бы смог дочитать до конца; может быть, были бы разочарованы и мы.

(продолжение в следующем номере)

ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Манифест Движения за гражданские свободы

Пришло время заняться политикой.

Займемся деятельностью, к которой люди относятся со всеобщей подозрительностью, потому что монополизировавшие политическую деятельность в течение последних десятилетий действовали диктаторскими и непрофессиональными методами.

Политика должна быть реабилитирована как сфера деятельности. Она вновь должна стать центральной точкой выражения подлинных интересов общества и движения навстречу им.

Чехословацкое государство за 70 лет своего существования не дает поводов для радости. Наше общество пребывает в глубоком моральном упадке. Условия его существования недемократичны, наш государственный и национальный суверенитет урезаны. Наша экономика и уровень нашей техники движутся от плохого к еще худшему. Творческий потенциал общества постоянно подавляется манипуляциями из центра. Наша естественная среда находится в совершенно ужасающем состоянии. Поколение за поколением наших граждан с отвращением покидают родину. Наша страна, некогда одна из самых передовых в Европе, столь быстро скатывается в пропасть, что вскоре мы окажемся среди самых отсталых.

Нынешний режим сознает существование кризиса и заявляет о своем намерении провести какие-то частичные реформы. Однако он неспособен изменить свою природу и отказаться от тоталитарного метода правления, а именно в этом — корни кризиса.

Вот почему пришло время самому обществу, другими словами, — нам самим выйти на политическую арену.

Исходя из этого веления времени и основываясь на многолетних усилиях Хартии-77 представить подлинную картину происходящего в нашей стране, ободренные другими независимыми инициативами как в Чехословакии, так и в других странах советского блока, мы решили основать ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ. Мы представляем его себе как подвижную ассоциацию политических групп и клубов, свободно и самостоятельно возникающих в разных местах нашей Республики для встреч людей, небезразличных к будущему страны и готовых как к открытому обсуждению любых проблем на принципах плюрализма, так и к прямому политическому действию. Это могут быть дискуссионные форумы по месту работы или жительства; выдвижение требований общего или местного характера; выдвижение независимых кандидатов на выборах, а также другие инициативы. Действуя таким образом, ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ призвано обеспечить гражданам свободное выражение их политических устремлений, помочь в более детальной разработке политических и индивидуальных инициатив.

В настоящем документе мы предлагаем согражданам — иными словами, всем потенциальным сторонникам ДВИЖЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ — уже согласованные основные идеи и цели как отправной пункт для обсуждения положения по совершенствованию этих принципов.

1. Наша традиция — традиция демократии

После всех достойных сожаления событий недавнего прошлого многие чехи и словаки стали задумываться, стоило ли расчленять Австрийскую империю ради создания независимого Чехословацкого государства, которое, будучи малой страной в центре Европы, оказалось плохо подготовленным к сопротивлению давлению более сильных соседей. Эти люди забывают, что создание нашей Республики Масариком и его сторонниками среди чехов и словаков было частью эпохального процесса демократической революции и постепенного формирования сообщества демократических государств. Эта концепция базировалась на требованиях современности — мира, основанного на

стремлении к равенству возможностей всех общественных слоев, в котором границы между нациями и государствами постепенно утрачивают свое значение. Иными словами, их замысел не был ни провинциальным, ни шовинистическим. Как бы болезненны ни были последние десятилетия нашего века, мудрость перспективного видения Масарика ныне подтверждается. Доказательство этому — уже много лет идущий в Западной Европе процесс объединения при сохранении различий. Однако невозможно преодолеть окончательно самые страшные беды, подстерегающие и Европу и весь мир, будь то проблема войны или экологические катастрофы, если идеал демократического единения будет осуществлен лишь в одной части Европы. Все больше и больше людей как на Востоке, так и на Западе сознают, что единственный для всех нас путь — это работа по достижению полной демократии во всей Европе, включая, следовательно, и ту ее часть, где обитаем мы. Мы убеждены, что и для Чехословакии это единственно возможный путь. Пока еще невозможно сказать, каким путем наша страна приблизится к демократии и какую форму примет у нас демократия. Просто возвратиться к прошлому невозможно. И все же мы искренне верим, что идеалы и ценности, на которых было основано наше государство, и опыт, приобретенный им за первые два десятилетия, плох он был или хорош, — вдохновляющее достояние.

Следовательно, нашей основной заботой должно быть достижение ПОДЛИННОЙ ДЕМОКРАТИИ, то есть ДЕМОКРАТИИ ДЛЯ ВСЕХ, под которой мы понимаем систему, основанную на интеллектуальном, политическом и экономическом плюрализме и взаимную терпимость.

Демократия утвердится только через полное моральное обновление общества и возрождение его творческого потенциала, а не на основе какого бы то ни было бюрократического постановления. Однако до тех пор, пока не будут созданы демократические структуры, моральная и творческая энергия общества не может полностью высвободиться и обратиться на достойные цели. Одно должно идти рука об руку с другим — гражданская смелость отдельных лиц и создание новых социальных структур и условий.

2. Политический плюрализм

Будучи защитниками интеллектуальной свободы, мы добиваемся, чтобы государство не могло навязывать гражданам какие-то идеи или доктрины в ущерб всем другим. Впредь такое положение не должно освящаться конституцией или каким-либо иным законодательным установлением, как это имеет место сейчас. Равные возможности свободы выражения могут быть ограничены лишь для идей, которые открыто отрицают самое это равенство. Будучи сторонниками демократии, мы против любого положения конституции, утверждающего ведущую роль чехословацкой коммунистической партии, как и любой другой политической партии или объединения, которое может нарушить чье бы то ни было право свободного выражения. Страной должны управлять те, кто заслужит доверие народа. Утратив доверие, они должны передать руководство тем, кто это доверие обретет. Мы принципиально против возвышения одной социальной группы за счет других. Не должно иметь места разделение граждан на высшие и низшие категории. Система привилегий для членов партии и дискриминация в продвижении для прочих должна быть отменена. Не должно существовать никаких установлений, определяющих принадлежность к определенному политическому мировоззрению как критерий для занятия общественных должностей.

3. Новая демократическая конституция

Эти принципы должны лечь в основу новой Конституции Чехословакии, которая будет гарантировать равенство граждан перед законом, а также все гражданские права, включая свободу мысли, слова, собраний, объединений и воплощения политических чаяний.

В этой Конституции не должно быть положений, ставящих под сомнение государственный суверенитет Чехословакии.

Всем гражданам должно быть гарантировано право на свободное передвижение, включая право покидать свою страну и возвращаться в нее, т. е. феномен изгнания должен перестать существовать. Ограничения права на передвижение должны

быть ясно определены Конституцией, и любое нарушение этих установлений посредством любого иного закона, установления или же произвольного толкования должно быть однозначно запрещено. Никто из граждан не может утратить чехословацкого гражданства без его на то согласия.

Конституция должна учредить статут референдумов по ряду важных вопросов, волнующих общество в целом. Она должна укрепить авторитет президента государства и ввести президентские выборы на основе общего голосования. Конституция должна включать административное законодательство; жизненную важность представляет создание конституционного суда как окончательного арбитра по конституционным вопросам.

Будучи ясной и однозначной в основных принципах, Конституция должна быть краткой и избегать излишней детализации (например, структуры национальной администрации), которая ограничивает дальнейшее развитие.

С новой Конституцией должно сочетаться детальное законодательство о выборах и политических организациях. Такое законодательство должно в духе демократической Конституции узаконить свободную политическую деятельность и возможность для различных представительных объединений граждан проводить кампанию по завоеванию поддержки избирателей, чтобы участвовать в управлении обществом.

Клубы и объединения всегда были естественными элементами многогранного и культурного общества, фундаментом его политической жизни. Новой Конституции должен соответствовать новый закон о клубах и объединениях, чтобы оживить эту область общественной жизни, подавляемую нынешним законодательством.

Разумеется, мы полностью сознаем, что самая совершенная конституция не может сама по себе гарантировать подлинной демократии. Однако в существующих условиях принятие демократической конституции, несомненно было бы большим шагом вперед к этой цели.

4. Перестройка юридической системы

Практика функционирования судов, осведомленность

граждан об их правах, их доверие к судебной системе — все это находится в нашей стране на крайне низком уровне. Исправление положения следует начать с постепенного пересмотра всей юридической системы — она должна стать более простой, доступной и свободной от тоталитарных черт.

Жизненно необходимо без всяких оговорок привести всю нашу юридическую систему в соответствие с принципами Всеобщей декларации прав человека, которые в дальнейшем были изложены в международных пактах о гражданских правах и других международных правовых документах, под которыми наша страна формально подписалась; нужно осуществить присоединение к ним таким образом, чтобы исключались какие-либо уклонения от их выполнения.

Следует пересмотреть уголовный кодекс, удалить из него все элементы политических преследований, не совместимых с демократической конституцией; подобная же ревизия должна быть проведена в сфере гражданского, хозяйственного и административного права, с целью обеспечить надлежащий баланс между правами личности и общества.

Должна быть восстановлена полная независимость судебной системы, гарантировано право на юридическую защиту и на общественный контроль за судебной практикой. Следует обеспечить независимость юристов, предоставить защитнику в суде те же права, что и обвинителю. После введения административного суда роль прокурора должна быть ограничена представительством от государства только в уголовных процессах.

Должен быть разработан новый проект пенитенциарной системы на основе последних достижений науки; тюрьмы должны быть переданы в ведение гражданской администрации. Следует осуществить гуманизацию тюрем. Осужденные граждане в процессе перевоспитания или под предлогом достижения этой цели не должны подвергаться физическим и моральным унижениям и трудовой эксплуатации. Подозреваемых можно будет содержать под стражей, только если доказана абсолютная необходимость этого; принцип презумпции невиновности должен стать основой судопроизводства.

Необходимо пересмотреть законодательство о полиции. Сотрудников корпуса национальной безопасности следует

подготавливать к защите сограждан, а не к властвованию над ними. Полиция должна находиться под контролем представительных учреждений и общественности.

Органы государственной безопасности — это огромный, внушающий ужас, вездесущий и всемогущий аппарат, используемый режимом для манипулирования гражданами, его физическое поле деятельности намного шире, чем разрешает даже существующая юрисдикция. Органы госбезопасности должны быть полностью перестроены для выполнения лишь основных своих функций — борьбы со шпионажем и террором.

Реформа хозяйственной системы потребует коренного преобразования хозяйственного законодательства. Нынешние законы запутаны постоянным включением противоречивых поправок, постановлений и инструкций; их следует заменить максимально простым, доступным и стабильным сводом законов, что обеспечит предприятиям и отдельным лицам надежную информацию о правилах регулирования различных видов хозяйственной деятельности.

Упрощения и гуманизации требует социальное, жилищное и особенно административное законодательство. Граждане должны избавиться от страха перед бюрократией, этим современным дворянством; официальные лица должны быть ответственны перед представительными органами и общественностью. Совершенно неприемлемо, например, чтобы депутаты местных органов власти были лишь парадным фасадом для деятельности администрации. Если национальные комитеты не сумеют приобрести больше авторитета, чем прежние имперские окружные органы администрации, они станут всеобщим посмешищем.

5. Спасение окружающей среды

Наша земля и наше здоровье находятся под смертельной угрозой. Воздух отравлен выбросами промышленности, реки и ручьи загрязнены сточными водами, почва и пищевые продукты заражены химическими удобрениями. Наши леса терпят поражение в химической войне против них, их варварски разрушают как источник дешевого сырья для деревообрабатывающей промышленности государств, которые берегут собственные

леса. Все больше людей вынуждены жить в удручающих жилых кварталах барачного типа, выстроенных почти исключительно по устаревшей фабрично-панельной технологии. Жизнь в таких высотных кварталах меняется лишь от плохого к худшему и создает новые социальные проблемы. Наша страна возводит гигантские электростанции. В процессе этого строительства огромные территории разрушаются вместе со своими экологическими системами, и это в то время, когда наша отсталая промышленность стала одним из самых злостных расточителей энергии в Европе. Приветствуя каждое очистительное устройство, мы сознаем, что только очистительные устройства проблемы не решают. Всю нашу экономику и ее функционирование следует изменить принципиально, исходя из понимания, что вред, наносимый окружающей среде, в длительной перспективе чреват и страшнейшими экономическими последствиями. Мы не можем продолжать эксплуатировать наше собственное будущее и платить за краткосрочные экономические выгоды тем, что нашим внукам достанется опустошенная земля. Мы убеждены, что плюралистическое хозяйство — хозяйство, способное гибко реагировать на опыт народа и на научные открытия, облегчит эти перемены. Однако само по себе оно перемен не гарантирует. Перемены требуют смелого и организованного давления людей, понимающих вредоносность нынешней практики. Проекты, чреватые нарушением равновесия природной среды, должны поступать на обсуждение местного населения и к его мнению следует относиться с уважением.

6. Пути к экономическому процветанию

Опыт показывает, что не может быть экономического плюрализма без политического, а без экономического плюрализма хозяйство страны впадает в застой и клонится к упадку. Поэтому, если есть какая-то надежда на подлинно радикальную экономическую реформу, которая освободит предприятия от тирании бюрократической централизации, то она связана именно с переменами политической системы, которые мы отстаиваем. На предпринимательский сектор можно эффективно воздействовать посредством финансовых рычагов и соз-

нательной поддержки перспективных отраслей экономики, но прежде всего — восстановлением принципов спроса и предложения, конкуренции, а также денежных и рыночных отношений.

Мы убеждены, что естественным компонентом радикальной экономической реформы в этом направлении должен быть поиск новых форм общественной собственности, включая самоуправление. Мы высказываемся за широкую поддержку кооперативного движения. Мы стремимся к множественности видов собственности и путей принятия решений; мы за создание условий, которые позволят в каждом секторе экономики, в каждой отрасли промышленности искать формы организации, наиболее соответствующие их специфическим потребностям, оптимально использовать предприимчивость людей, что является наилучшим способом достижения благосостояния.

Следует полностью возродить частное предпринимательство и самостоятельную деятельность, ремесла, мелкие и средние компании, причем это должно быть осуществлено и в сельском хозяйстве и в сфере культуры. Крестьянам следует предоставить возможность вести семейные фермы или брать землю в аренду у коллективных хозяйств на длительные сроки, исходя из того, что успех их частных усилий принесет благо обществу в целом. Без содействия и личной инициативы независимых работников, мелких фирм и небольших кооперативов невозможно обеспечить надлежащее обслуживание населения, предоставить ему широкий выбор предметов потребления, поощрять нововведения. Этот сектор на первых порах потребует щедрой помощи в форме долгосрочных кредитов и налоговых льгот, а также материальной поддержки, но обеспечит новые рабочие места для тех, кто потеряет работу при сокращении ненужных должностей в гипертрофированном управленческом аппарате и закрытии убыточных предприятий. Следует издать соответствующие законы, защищающие работников малых предприятий частного сектора от поползновений лишить их плодов их труда.

В крупной промышленности следует прежде всего руководствоваться соображениями экономической прибыльности, а не политическими, диктующими искусственное раздувание штатов или приоритеты, связанные с неестественными международными экономическими отношениями. Чехословацкое хо-

зяйство должно быть органично интегрировано в мировую экономику на основе всеобщего принципа сравнительных издержек производства и международного разделения труда.

7. Свобода интеллектуальной деятельности

Ни одна из проблем страны не может быть разрешена при отсутствии свободы обсуждать их и открыто писать о них. Интеллектуальная и культурная деятельность, а также средства массовой информации — это мозг общества, его нервная система, средство самопознания общества. Они являются источником знания для общества, способствуют укреплению нравственных принципов и самоотождествлению. Поэтому основным предварительным условием для перемен к лучшему является свобода культуры в самом широком смысле этого слова.

Прежде всего должны быть отменены все явные и скрытые формы цензуры, а также все виды централистской манипуляции в этой сфере. Необходимо обеспечить независимость средств информации, издательств, литературных агентств; создать и задействовать независимые театры и другие культурные учреждения — они должны обладать творческой свободой, на какой бы основе они ни работали — на государственной, кооперативной или частной. Ни центральная власть, ни союзы, манипулируемые государством, не должны ограничивать интеллектуальную деятельность или давать ей оценки. Решать должна публика. Функция власти — лишь предоставление материальных и организационных средств для культурной деятельности. Роль союзов следует ограничить представлением интересов их членов по профессиям, а также в социальной сфере. Ни один союз не должен обладать монопольным статусом, препятствующим созданию других союзов.

Жизненно важна коренная перестройка системы образования, находящейся в крайнем упадке. Образование — это гораздо больше, чем просто обучение молодежи профессиям, нужным национальной экономике, и, конечно, его назначение вовсе не в идеологической индоктринации и обработке населения в духе покорности и отказа от независимого мышления. Целью образования должно быть обеспечение учащихся все-

сторонними знаниями при соблюдении принципов интеллектуальной свободы, чтобы открыть перед молодежью новые горизонты и преподать моральные критерии. Образование должно основываться на плюрализме идей и институтов. Необходимы гарантии неприкосновенности академической сферы, политические соображения больше не должны играть роли при отборе учителей, школьников и студентов, а также при присвоении ученых степеней и званий. Единственным критерием должен быть талант кандидата, его профессиональная пригодность и личные качества.

В сфере науки должно быть место для независимых исследовательских институтов и конструкторских бюро, основанных как государственными, так и частными предприятиями, кооперативами и фондами. Свободный обмен идеями и свободное передвижение людей всегда представлялось академическому миру и университетам само собой разумеющимся. Если мы не возродим этих свобод, мы первыми окажемся в проигрыше.

8. Свобода совести

Духовный плюрализм означает не только равенство и взаимное уважение людей различных вероисповеданий, но и равное для всех право выражать свою веру открыто в рамках соответствующих учреждений. Мы полностью поддерживаем отделение церкви от государства и требуем, чтобы верующие в нашей стране пользовались такими же правами, как и во всех цивилизованных странах. Религиозным орденам должна быть гарантирована свобода деятельности в соответствии с их вековыми традициями. Религиозная свобода важна не только для верующих, она важна для всех. Государственный контроль над церковью аморален, так как создает неравенство внутри общества, налагая на часть общества более сильные ограничения, чем на других, в зависимости от верований, и освящая эти ограничения законом. Мы убеждены в общеисторической важности недавних выступлений католиков в защиту прав верующих и гражданских свобод.

9. Независимые профсоюзы

Рабочие должны иметь право создавать профсоюзы и их ячейки на предприятиях, организуясь внутри них так, как они сочтут нужным, и использовать профсоюзы для защиты своих подлинных профессиональных и социальных интересов. Опыт ясно показывает, что право на плюрализм в профессиональном движении важно так же, как и во всех других областях. Монопольные профсоюзы, управляемые государством, — лишь еще одно орудие тоталитарной власти, как бы они ни старались делать свою работу хорошо. Государство не должно быть ни единственным работодателем для всех трудящихся нашей страны, ни одним-единственным защитником их интересов; тем более неприемлемо, чтобы оно выполняло обе эти роли одновременно. Чтобы выполнять свои функции, профсоюзы должны быть независимы от государства и от работодателей; это необходимо для создания здоровой экономики и приостановки обострения сложнейших скрытых социальных проблем.

10. Остановить милитаризацию общества

По многим причинам — моральным, социальным и вплоть до связанных с экономикой и международной политикой, мы полагаем, что особенно актуальными в настоящее время являются требования сокращения военной службы и введения альтернативной службы для тех, кто по моральным соображениям противится ношению оружия, а также требования сокращения военных бюджетов и их публикации; гуманизации военной службы; роспуска всех милитаристских организаций и незаконных вооруженных формирований; демилитаризации воспитания детей и всей гражданской жизни. Существующая ситуация в этой области — пережиток сталинизма. Мы требуем также начать переговоры о выводе советских войск из Чехословакии. Мы отбрасываем доводы, что эти силы должны быть здесь для поддержания стратегического баланса, ибо именно их прибытие нарушило стратегический баланс, и их присутствие в нашей стране поддерживает нынешнюю асимметрию в балансе обычных

вооружений в Европе, что признается даже странами — членами Организации Варшавского договора.

11. Национальный суверенитет

Чехословакия была создана как общее государство двух родственных народов — чехов и словаков. Это также государство с многочисленными национальными меньшинствами. Двадцать лет назад Чехословакия стала федерацией, что было справедливо. Мы считаем, однако, что эта федерация потеряет свой смысл, если и в дальнейшем будет выражать лишь интересы антидемократической центральной власти. Тоталитарная федерализация должна быть заменена демократической федерацией — выражением желания двух народов жить в едином никем не манипулируемом государстве. Федерация должна обеспечить обоим народам подлинно суверенное развитие, в соответствии с их подлинными чаяниями. Усилия по утверждению демократического плюрализма должны основываться на понимании естественности различий в социальных структурах двух национальных республик и национальных меньшинств.

Демократические отношения между большинством и национальными меньшинствами, живущими в Словакии — венграми, поляками, немцами и русинами, должны основываться на глубоком уважении к правам, которых требуют сами эти меньшинства, и к методам использования ими самими этих прав. Необходимо признать этническую индивидуальность граждан иудейской веры и цыганской национальности и их вытекающие из этого права.

Наше государство, как и соседние страны в их новейшей истории, уже накопило горький опыт последствий отсутствия уважения к национальным особенностям. Уже по одной этой причине необходимо глубокое внимание к национальным проблемам в отличие от пренебрежения ими ныне господствующей системой.

12. Чехословакия — часть Европы

Мы рассматриваем движение Чехословакии к демократии

как часть более широкого процесса, который происходит в настоящее время в различных формах в большинстве стран советского блока. Граждане начинают требовать свобод, а правительства начинают понимать, что тоталитарная система ведет в тупик.

Однако мы не рассматриваем этот процесс как разрушение любыми средствами исторических связей, сложившихся между нашими странами. Наоборот, мы надеемся, что эти связи тоже пройдут демократические преобразования и их основой станет равноправие и взаимное уважение интересов контактирующих государств. Поэтому наша цель — не внесение в межгосударственные отношения неустойчивости, неуверенности; не конфликты, а преодоление пережитков сталинистской империалистической политики. С другой стороны, мы стремимся покончить с наследием холодной войны и традициями политики поддержания равновесия сил великих держав в Европе, а также с ошибочным убеждением, что единственный путь к достижению мира — это сохранение статус кво. Подлинный и прочный мир может быть достигнут лишь на основе взаимного доверия суверенных наций и демократических государств. Однако такое доверие не могут установить дипломаты в залах конференций. Там это доверие должно быть преобразовано в практические дела, но сначала оно должно возникнуть и развиваться внутри европейского сообщества в целом. Этого можно добиться только, если люди начнут ежедневно, в каждом частном конкретном случае проявлять все более убедительно уважение к правам граждан и народов, прежде всего в той части Европы, где это уважение пока еще находится на весьма низком уровне. Это обязательное условие того, чтобы демократическое объединение Европы стало реальностью.

Таким образом, наше стремление к демократии не направлено против какого-либо государства или народа. Наоборот, мы намерены включиться в длительный процесс формирования всеобщего подлинного взаимопонимания, искреннего доверия и все более искреннего сотрудничества. Конечным итогом должно быть „человечество, как всеохватывающая община дружбы”, как некогда сказал Т. Г. Масарик.

* *

*

Мы не утописты и не рассчитываем на быстрый успех. Мы полностью сознаем, что Чехословакия не может стать процветающим демократическим государством в один день — нас ждет большая упорная работа. Однако откладывать эту работу больше нельзя; мы должны начать ее, не дожидаясь лучших времен. Над современной цивилизацией сгустилось слишком много угрожающих туч, и кризис, в котором находится наша страна, слишком глубок, чтобы мы могли позволить себе роскошь проволочек.

Мы призываем сограждан присоединиться к нашим предложениям в наиболее приемлемой для каждого форме. Можно выразить свое отношение к этим предложениям не только подписанием настоящего Манифеста, но и практической деятельностью в пользу демократии в нашей стране.

Прага, Брно, Братислава

15 октября 1988 г.

По адресам, приведенным ниже, можно связаться с Движением за гражданские свободы и направлять сведения о подписях лиц, желающих присоединиться к нашему учредительному манифесту:

Rudolf Battěk, Křižíkova 78, Praha 8, 186 00
Václav Benda, Karlovo nám. 18, Praha 2, 120 00
Ján Čarnogurský, Adlerova 10, Bratislava—Dubravka, 841 02
Tomáš Hradílek, Zahradní 892, Lipník nad Bečvou, 751 31
Jiří Kantůrek, Xaveriova 13, Praha 5, 150 00
Jan Kozlík, Pionýrů 69, Praha 6, 169 00
Ladislav Lis, Šišková 1228, Praha 8, 182 00
Anna Marvanová, Jeronýmova 2, Praha 3, 130 00
Jaroslav Šabata, Chorázova 3, Brno, 602 00
Jan Štern, Bělčická 2846, Praha 4, 141 00
Alexandr Vondra, Trojanova 1, Praha 2, 120 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Ганс Кон

АЗБУКА НАЦИОНАЛИЗМА*

1. Корни национализма

Что такое национализм? Национализм — это состояние ума, убежденного, что высшей ценностью личности должно быть национальное государство. Глубокая привязанность к родной почве, к местной традиции, к установившимся местным авторитетам с различной силой проявлялись на протяжении истории. Однако лишь с конца XVIII в. национализм в современном смысле слова стал повсеместно пробудившимся чувством, которое во все большей мере формирует общественную и частную жизнь. Идея, что у каждой нации должно быть свое собственное государство, охватывающее всю нацию, возникла сравнительно недавно. Прежде человек был обязан соблюдать преданность не национальному государству, а политической организации или идеологической общности, таким как племя или клан, город-государство или феодальный сюзерен, династическое государство, церковь или религиозная группа. В течение многих веков политическим идеалом было не национальное государство, а (по меньшей мере, теоретически) мировая империя, включающая различные народы и этнические группы на основе общей цивилизации и имеющая своей целью обеспечение всеобщего мира.

* Из книги (Hans Kohn) *Nationalism: Its Meaning and History*, 1955.

Нации — продукт живых сил истории; понятие о них меняется, никогда не застывая. Нация это чрезвычайно сложное понятие, не поддающееся точному определению. Большинство наций обладает определенными объективными признаками, отличающими их от других наций, такими как общее происхождение, язык, территория, политическая общность, обычаи, традиции и религия. Ясно, однако, что ни один из этих факторов не является решающим для определения нации или обязательным условием ее существования. Так, население Соединенных Штатов не имеет общего происхождения, а население Швейцарии, говорящее на трех-четырёх языках, тем не менее образует вполне определенную нацию. Хотя объективные факторы играют огромную роль в формировании наций, наиболее важный элемент — это живая и активная коллективная воля, которую мы называем национализмом. Именно национализм вдохновляет большинство народа и претендует на то, чтобы вдохновлять всех представителей нации. В этом проявляется уверенность, что национальное государство идеально и является единственно законной формой политической организации, что нация — источник культурной творческой энергии и экономического благосостояния.

Современный национализм. Еще до наступления эпохи национализма появились проповедники чувств, сходных с национализмом. Однако тогда это были выступления отдельных лиц. Массы еще не ощущали того, что их жизнь — культурная, политическая, экономическая — зависит от судьбы их национальной общности. Внешняя опасность может пробудить страстное чувство национальной связи, как это случилось в Греции в эпоху греко-персидских войн или во Франции во время Столетней войны. Однако, как правило, войны, вплоть до Французской революции, не вызвали глубоких национальных чувств. В ходе Пелопоннесских войн греки ожесточенно воевали с греками. В религиозных и династических войнах, предшествовавших новому времени, немцы воевали против немцев, а итальянцы — против итальянцев, никак не осознавая „братоубийственной” сущности своих действий. Даже в XVIII в. и солдаты и гражданские лица в Европе поступали на службу к „иностранным” правителям и нередко служили им с лояльностью и преданностью,

доказывавшими отсутствие какого-либо национального чувства.

До весьма недавних пор нация не рассматривалась и как источник культурной жизни. Образование и обучение, формирование мышления и характера человека на протяжении почти всей истории не вписывались в какие-то национальные границы. В течение многих веков источником всей культурной и духовной жизни считалась религия. В эпоху Возрождения и позднее образование повсюду в Европе уходило своими корнями в общую традицию классической цивилизации. Идеалы рыцарства в средневековой Европе и традиции французской придворной жизни распространялись в XVII—XVIII вв. через все национальные границы. Лишь в XIX в. в Европе и Америке, а в XX в. — в Азии и Африке народы стали отождествлять себя с нациями, цивилизации — с национальной цивилизацией, свою жизнь и выживание — с жизнью и выживанием нации. С этого времени национализм стал доминировать в чувствах и оценках масс и в то же время стал служить оправданием власти государства, легитимацией использования его силы как против собственных граждан, так и против других стран.

Древние евреи и греки. Несмотря на его современный характер, некоторые основные признаки национализма проявились весьма давно. Корни национализма проросли из той же почвы, что и сама западная цивилизация — от древних евреев и древних греков. Оба народа имели четко выраженное сознание своего отличия от других народов: евреи от иноверцев (гоим), греки — от варваров. Носители их группового сознания были не короли и духовенство, а народ как целое — каждый еврей и каждый грек. У других народов античного мира только правители и империи оставили след в истории. У евреев и греков национальный характер и творческая энергия духа обнаружили прочность и продолжительность. Именно потому, что их культурная традиция оказалась сильнее расовой, политической и географической, эти народы продолжают жить и сегодня. Им не была известна идея национального государства, но они обладали сильным сознанием своей культурной миссии.

От евреев берут начало три важных черты современного национализма: идея избранности народа, упор на общую память

о прошлом и надежды на будущее и, наконец, национальное мессианство. У истоков еврейской истории находится Завет, заключенный между Богом и Его народом. Начиная с эпохи пророков, евреи рассматривали всю историю как единый процесс, как непрерывную линию, идущую от истока к одной цели, причем евреям уготована в этом процессе особая, отличная, центральная роль. В царстве Божием драма всеобщей истории должна найти свое судьбоносное завершение, а идея Завета — свое исполнение. Мессианство стало философией истории, которая оправдывает в глазах страдающего человека пути Господни. Но не только угнетенные народы находили убежище в надежде на свое мессианство; оно стало символом национальной гордости и нередко обращалось в опасные претензии на величие и всемогущество; оно повело также к борьбе еретических сект и угнетенных классов за осуществление их чаяний и устремлений, а в качестве светской идеи исторического процесса мессианство и по сей день сохраняет нечто от религиозной страстности.

Греки разделяли с евреями чувство культурного и духовного превосходства над другими народами и выражали это чувство весьма откровенно. В дополнение к этому греки развили концепцию преданности политической общине, в их случае — городу-государству, полису. Каждый гражданин должен был полностью отождествить себя с жизнью полиса, стать насквозь политизированным. Спарта в древней Греции и Платон в „Республике” постулировали абсолютный приоритет государства перед личностью, идеализировали закрытое авторитарное государство. Однако к концу IV в. до н. э. мечта Александра Македонского о мировой империи, негреческой по происхождению, способствовала преобразованию сознания резкого различия между греками и варварами в универсализм, прорывающий этнические границы и отличия. Устремления Александра отразились в учении греческих философов-стоиков, рассматривавших как свое отечество всю обитаемую землю — космополис; они учили, что человек принадлежит не нации, а человечеству.

Универсализм Римской империи. Стоическая философия повлияла на римскую мысль последних двух веков до н. э. — именно того времени, когда город-государство вырос в империю, организующую всю известную им тогда часть земли на

основе общего закона и общей цивилизации. Универсализм империи, уходящий корнями в эллинистическую цивилизацию, но свободный от чувства исключительности греческого государства, подготовил почву для распространения универсалистского христианства, уходящего корнями в иудаизм, но свободного от чувства этнической исключительности Израиля. Позднее Римская империя, центр которой переместился в Константинополь, и христианская церковь слились воедино. Под их совместным влиянием для политического и культурного мышления Средних веков стало характерным убеждение, что человечество едино, и оно должно сформировать единую общину. Вплоть до Нового времени религия с ее унифицирующим воздействием на мышление, общественную жизнь и поведение господствовала в частной и общественной жизни и христианских и мусульманских стран. Данте, величайший поэт христианского Средневековья, выразил идею универсализма и непрерывности объединяющей миссии Римской империи с такой торжественностью и непреходящей силой, каких не удостоились никакая иная идея и устремление. Ни малейшей мысли о политическом единстве Италии или об отказе германцам в роли носителей имперского достоинства не приходило ему в голову.

Возрождение и Реформация. В XIV в. стало ясным, что объединение под императорской властью, о котором мечтал Данте, не может осуществиться. В то же время папство — другой центр универсалистских надежд — оказалось в плену в Авиньоне.* Начинаются поиски новых авторитетов и сил интеграции. На переходе западного христианства от Средних веков к Новому времени главное формулирующее воздействие оказали две великих духовных революции, известные как Возрождение и Реформация. Древние классики и Ветхий Завет были теперь прочитаны в новом свете и в новом понимании. В обоих этих источниках были обнаружены семена растущего национального сознания. Новую жизнь обрели понятия и ассоциации, вызванные патриотической приверженностью греков классической эпохи к полису и римлян-республиканцев — к родине, патри. Возродив-

* Авиньонское пленение пап (1309—1377 гг.) — пребывание папской курии в Авиньоне (на юге Франции). — Ред.

шийся интерес к античной истории породил у итальянской интеллигенции сознание своего предполагаемого тождества с древними римлянами. Средневековые авторы писали во имя служения церкви и во славу Божию. Гуманистов Возрождения князья и города нанимали для прославления нанимателей. Однако Возрождение было недолговечным феноменом, оно затронуло слишком узкий тогда круг образованных людей, чтобы это могло способствовать развитию каких-либо национальных идей. Реформация положила конец краткой светской интерлюдии Ренессанса. Христианство и религиозные диспуты вновь стали центром всех интересов и деятельности. Народы Европы в XVI—XVII вв. воевали не во имя национальных ценностей, а во имя догматических истин. Народы изгонялись или наказывались не вследствие этнических или лингвистических различий, а за религиозные ереси или за вероотступничество.

Единственным, кто поднял голос за национализм в эпоху Возрождения, был Никколо Макиавелли (1469—1527 гг.). Будучи, как и Данте, флорентийцем, он, однако, не видел никакой пользы в универсализме и религии — двух великих силах, господствовавших в жизни Данте. В последней главе своей знаменитой книги „Князь” Макиавелли взывал к сильному человеку, который должен освободить Италию от варваров. Но призыв этот был гласом вопиющего в пустыне. Ни один итальянец не интересовался делами Италии и даже не понимал, что это значит. И все же Макиавелли сыграл важную роль в подготовке почвы для национализма. В „Князе” он обрисовал новое светское государство, не зависящее от каких-либо религиозных или моральных санкций, где власть является самоцелью и где все средства для достижения этой цели оправданы. Предвидя будущее, он писал: „Там, где возникает решительный вопрос, касающийся благосостояния нашей страны, мы не должны обсуждать проблемы справедливости или несправедливости, милосердия или жестокости, прославления или унижения — следует отложить все это в сторону и принять такой курс, который обеспечит существование страны и сохранит ее свободу” (Перевод с англ. — Ред.).

Между Реформацией и национализмом столь же мало прямых связей, как между национализмом и Возрождением. Перво-

начально протестантизм был столь же универсальным религиозным движением, как и католичество. Но сам факт его возникновения разрушил религиозный универсализм христианского Средневековья. Его призыв к индивидуалистскому сознанию облегчил умножение сект и течений. Упор протестантизма на чтение Библии и проповедь как центральный момент церковной службы укреплял местные языки. Перевод Библии на местные языки придал им новое достоинство и нередко служил первотолчком для развития национальных языков и литератур. Так литература стала доступной народу как раз в то самое время, когда изобретение книгопечатания облегчило и удешевило выпуск книг.

Если Реформация содействовала религиозному и лингвистическому плюрализму Нового времени, то концепция государства и княжеской власти, развитая в эпоху Возрождения, способствовала формированию новых централизованных династических государств, ставших основой, на которой (во всяком случае, в Западной Европе) позднее сложились национальные государства. Абсолютные монархии разрушили разного рода феодальные и местные зависимости и таким образом сделали возможной интеграцию всех видов зависимости в лояльность к единому центру. Растущие хозяйственные связи требовали более крупных территориальных образований, нежели поместья, города и княжества прежней эпохи. Только такие более крупные образования создавали необходимый простор для динамичного духа поднимающегося среднего класса и его капиталистической предприимчивости. Однако эти новые централизованные государства, подобные созданным Тюдорами в Англии, Людовиком XIII — во Франции, еще не были национальными государствами. Здесь государством был король. Только Англия в XVII в., а затем Франция в ходе революции 1789 г. перестали быть государствами королей и стали государствами народов — национальными государствами, отечествами. Нация, а не король, ощутила свою ответственность за судьбу государства. С тех пор и до наших дней в Западной Европе нация и государство стали отождествляться, а цивилизация стала определяться как национальная цивилизация.

От основания Римской империи и до конца средних веков

люди подчеркивали общее и универсальное и в имперском единстве видели желанную цель. В противоположность универсализму прошлого новый национализм славил особенное и местное, национальные различия и национальную индивидуальность. Такие тенденции стали еще более заметными по мере того как национализм получил новое развитие в XIX–XX вв. В XVII–XVIII вв., на ранней стадии национализма на Западе, общие стандарты западной цивилизации, сохранившиеся традиции христианства и стоицизма, уважение к универсальному гуманизму, всеобщая вера в разум и в здравый смысл — все это было еще слишком сильным, чтобы национализм мог развиваться в полную силу и разрушить общность людей. Поэтому в начальной своей стадии на Западе национализм мог предстать в обличье, которое создавало видимость его совместимости с космополитическими убеждениями и с любовью ко всему человечеству.

2. Пробуждение национализма и свобода

Первая современная нация. Впервые национализм Нового времени полностью проявился в Англии в XVII в. Англия тогда впервые предстала ведущей нацией европейского сообщества; она играла ведущую роль именно в сферах, характерных для Нового времени, которые резко отделяли его от предшествовавших эпох: в науке, политическом мышлении и деятельности, в коммерческом предпринимательстве. Вдохновленный верой в открывшиеся ему возможности, английский народ ощутил на своих плечах бремя исторической миссии. Он, простой народ Англии, стал избранным народом на великом поворотном пункте, с которого должна была начаться новая, истинная Реформация. Английские революции XVII в. впервые бросили вызов авторитарной традиции, на которой основывались церковь и государство, и вызов этот был брошен во имя свободы человека.

Под влиянием пуританства новую жизнь обрели три главных идеи еврейского национализма: избранность народа, его Завет с Богом и мессианские чаяния. Английская нация рассматривала себя как Новый Израиль. Английский национализм вырос из религиозной матрицы, и эту особенность он сохранял

всегда. В Англии никогда не существовало острого конфликта между национализмом и религией, которые наблюдались в других странах. В то же время английский национализм более чем где бы то ни было стал отождествляться с концепцией свободы личности. Эта тяга к свободе нашла свое величайшее выражение в произведениях Джона Мильтона (1608—1674 гг.). По Мильтону, национализм — не борьба за коллективную независимость от „чужеземного ига”; это утверждение свободы личности от власти, самоутверждение индивидуальности перед собственным правительством и церковью, „избавление человека от гнета рабства и предрассудков”. Для Мильтона свобода означала свободу религиозную, политическую и личную. Кульминация его призыва к свободе печати в „Ареопагитике” в возгласе: „Превыше всех свобод дайте мне возможность знать, высказываться, спорить свободно по велению совести”.

Пуританская революция в высказывании ее вождя Оливера Кромвеля (1599—1658 гг.) впервые выводит на авансцену истории два великих принципа. „Свобода личности и свобода совести — это два великих требования, за которые необходимо бороться, как и за все другие свободы, данные нам Богом”, — заявил он в речи в парламенте 4 сентября 1654 г. „Свободная церковь” требовала „свободного государства”. Однако время для этого еще не пришло. Пуританская революция еще кипела эмоциями и сектантской нетерпимостью века религий. Казалось, реставрация нанесла ей поражение, но главные чаяния революции обрели новую жизнь и возгордились через тридцать лет после смерти Кромвеля в ходе Славной революции: верховенство закона над королем, приоритет парламента в издании законов, беспристрастность юстиции, охрана прав личности, свобода мысли и печати, религиозная терпимость. Славная революция вознесла новые свободы над стихией фанатических религиозных и партийных распрей, сделав их основой жизни нации, укоренив их в исторической традиции как „истинные и древние права народа этой земли”. Пуританская революция выродилась в парламентскую и военную диктатуру. Славная революция настолько укоренила новый и все более расширяющийся кодекс свобод и терпимости в национальной жизни и характере англичан, что с тех пор не было сделано ни единой сколько-нибудь серьез-

ной попытки подорвать его. Славная революция создала климат примирения, дискуссии и компромисса; только в таких условиях демократия может проникнуть во все поры национальной жизни.

Национализм и свобода. В XVIII в. национализм как активная сила истории ограничивал свое влияние побережьем Северной Атлантики. Он выражал дух эпохи, которая делала упор на личность и ее права, дух века выражался также в гуманизме эпохи Просвещения. Подъем британского национализма в XVII в. совпал с возвышением британского торгового среднего класса. Все это нашло яркое выражение в политической философии Джона Локка (1632—1704 гг.). Характерно, что его первый „Трактат о государственном правлении” начинается фразой, которая сводит воедино его гуманистическое и национальное мировоззрение: „Рабство — настолько отвратительное и оскорбительное для человека состояние, оно столь несовместимо с великодушием и отвагой нашего народа, что невозможно представить англичанина, а тем более джентльмена, который мог бы высказываться за него”. Философия Локка немало послужила нарождающемуся среднему классу, ибо стержнем ее была собственность и оправдание собственности, основанной не на захвате, а на собственном труде и усилиях человека. Однако Локк оказал услугу не только своему классу, так как отстаивал еще два принципа: 1) личность, ее свобода, достоинство и счастье — основные факторы всей национальной жизни; 2) правительство нации — объединение, основанное на морали и зависящее от свободного волеизъявления подданных. Если во Франции и вообще во всей Европе авторитарный абсолютизм королей и церкви вышел победителем из сражений XVII в., то Англия оказалась единственной страной, где твердыня абсолютизма была разбита. Только здесь проявилось свободное и мощное общественное мнение, которое обеспечило себе влияние на ведение национальных дел, хотя само ведение этих дел оставалось еще в руках олигархии. Именно в Англии национальный дух пронизал все институты и создал живую связь между правящими классами и народом. Именно под влиянием либерального британского национализма французские философы XVIII в. боролись про-

тив авторитаризма, нетерпимости, церковных и государственных запретов.

Британское влияние на Францию, усилившееся в результате пребывания Вольтера в Англии в 1726—1729 гг., его письма о жизни и свободах англичан имели значение не только для Франции. К XVIII в. Франция уже в течение двух столетий была интеллектуальным центром Европы. Французский язык стал универсальным языком образованных кругов повсюду. Британские идеи личной свободы и национальной организации стали известны за границей через французских мыслителей, были впитаны и переработаны общим сознанием людей Запада XVIII в. благодаря гениям французской рационалистской мысли и прозрачности французского языка. Так национальные и исторические свободы британцев приобрели всеобщее значение. Они стали образцом для пробуждающейся либеральной мысли эпохи. До 1789 г. они оказали лишь незначительное непосредственное влияние на политическую, религиозную и социальную действительность Франции, но стали важным фактором зарождения американского национализма в 1775 г.

Национализм в британской Северной Америке. Политическая и интеллектуальная жизнь тринадцати колоний Северной Америки сложилась на основе пуританской и Славной революций. Британские традиции конституционных свобод и общественного права смогли свободнее развиваться на широких открытых просторах еще не освоенного континента, нежели на старой родине. В колониях отсутствовали пережитки феодального прошлого, сдерживающие развитие нового. Пуритане Новой Англии сохранили ощущение себя как Нового Израиля, отождествления себя с древними евреями, когда в Англии эти чувства уже исчезли. Казалось, Провидение открывает перед новой страной безграничные возможности; свойственное европейскому XVIII в. прославление примитивной, нетронутой природы прибавляло новое очарование девственной земле Америки; новое рационалистическое толкование, которое дали британским свободам французские философы, способствовало распространению исторических свобод „старой” страны до уровня универсальных свобод нового мира. Американцы, отстававшие в области свобод от британцев, ощущали в себе силу, способную

породить высшую форму свободы. Их борьба за толкование британской конституции, в основе которого лежала гражданская война между тори и вигами в Британской империи, не только обеспечила более свободную конституцию для всей империи. Она создала новую нацию, рожденную на свободе по воле народа, возникшую не в сумрачном историческом прошлом, не из феодальной и религиозной традиции Средних веков, а в ярком свете века Просвещения.

Было очевидно, что новая нация основывается не на общности происхождения или религии, и что она не отличается по языку, по литературной и законодательной традиции от нации, от которой она хотела бы отделиться. Нация родилась в общих усилиях, в борьбе за политические права, личную свободу и терпимость — те же британские права и традиции, но возведенные здесь в ранг неотъемлемых прав каждого человека, приобретшие характер универсальной надежды, возведенной всему человечеству. Разнообразие религий и религиозная терпимость в Америке XVIII в., неслыханные для того времени, сосуществовали с разнообразием расовых потоков, смешивавшихся в „плавильном котле”, и расовой терпимостью. Цементировала новую нацию идея свободы в рамках закона, закреплённая в Конституции. Американская Конституция вступила в силу в начале 1789 г. — года Французской революции. Несмотря на свое несовершенство, эта конституция выдержала испытание временем лучше, чем какая бы то ни было иная конституция на земле. Она выжила потому, что идея, отстаиваемая ею, настолько тесно сплавилась с жизнью американской нации, что без этой идеи нация не смогла бы существовать. Впервые нация возникла на основе тех истин, которые кажутся самоочевидными: „все люди сотворены равными, они одарены своим Создателем известными неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: свобода и стремление к счастью”.* Этими истинами нация не могла бы поступиться, не разрушив собственных основ. Эти истины оказали глубокое воздействие на начальный период Французской революции, когда на место французского

* Цитируется по переводу Декларации независимости, опубликованном в „Проблемах Восточной Европы”, № 19—20, стр. 271.

королевского дома на престол был возведен французский национализм в качестве решающего фактора французской истории. Однако во французский национализм вошел новый элемент — миф о коллективной личности, выраженный в плодотворных, хотя и мятущихся мыслях Руссо.

Жан Жак Руссо. Под влиянием британских идей Просвещения, или Век разума, провозгласило право свободной личности на свободу. Руссо (1712—1778 гг.) разделял веру в свободу человека. Однако он видел изъяны индивидуалистского подхода. По мнению Руссо, когда в государстве рушатся старые династические и религиозные авторитеты, возникает необходимость в формировании коллективной личности нации как нового центра, как легитимации общества и общественного порядка. Суверенитет государства находит свое видимое воплощение в правителе, чья воля — государство. *Regis voluntas suprema lex.** Как может новый суверен — народ — выразить свою единую волю? Как может народ стать единым телом, подобно правителю, который тоже должен быть один? Для этого весь народ должен быть объединен чувством самой тесной близости, общностью судьбы и ответственности. Руссо — уроженец швейцарской городской республики Женевы, испытывал ностальгию по греческим городам-государствам, по исключительной и всеохватывающей преданности граждан полису. Руссо, живший во Франции на положении несчастного изгнанника, видел зло произвола со стороны короля и двора. Он хотел заменить этот порядок правительством Разума, при котором человек соблюдал бы правила общественного порядка по собственной воле и подчинялся бы законам потому, что он сам предписал их себе. Об этом написана книга Руссо „Об общественном договоре” (1762). В книге воссоздана идеальная община, основанная на патриотических добродетелях древних городов-государств, кальвинистской жевневской традиции непогрешимости народа и на гордом чувстве независимости граждан сельских швейцарских республик. Руссо был убежден, что подлинная политическая общность может основываться лишь на добродетели граждан и на их горячей

* „Воля короля — высший закон”.

любви к отчизне. Общественное образование должно воспитывать эти чувства в сердцах детей.

Руссо был первым крупным писателем, который не признавал аристократическую и рационалистскую цивилизацию той эпохи высшим достижением прогресса человечества. Руссо возмущала эгоистическая жизнь ради удовольствий, которую вело французское общество того времени, отсутствие у него интереса к общественным нуждам, пренебрежительное отношение к благополучию людей. Он призывал к новому подходу к обществу, к преобразованию не умов, но сердец, к благородности, к упрощению и внутреннему сосредоточению. Он полагал, что чистую жизнь, к сожалению, отвергнутую образованными высшими классами, он нашел среди простых людей, особенно крестьян; лишь они все еще живут у истоков добра, на лоне природы, не испорченные искусственной цивилизацией. Сердцевиной нации, которая дает нации силу и направляет ее, для Руссо были не аристократы по рождению и образованию, а сам народ. Активная деятельность людей — равноправных граждан, объединенных чувством братства и взаимопомощи, представлялась Руссо единственной этической и рациональной основой государства. В то же время он верил, что любовь к национальной общности, эмоциональный и почти религиозный патриотизм являются живой кровью, питающей развитие человеческой личности. В своей утопии — а „Общественный договор” Руссо такая же утопия, как „Республика” Платона — он делает сувереном добродетельный сплоченный народ, людей, выражающих свою волю через „общую волю”, которая (в Утопии) была производной всех индивидуальных волей, но отличалась от воли каждой личности, ибо была выражением не случайности или произвола, а Разума и Добра, добродетельного патриотизма, который должен воодушевлять каждого члена общества.

Руссо оказал сильнейшее влияние на последующие поколения. Его вера в исцеляющую силу природы, в чистоту неиспорченного человеческого сердца, его уважение к простому человеку, его стремление к личной свободе, его призыв к национальному патриотизму — все это во многом сформировало мышление западного мира в 1770—1850 гг. Для поколения конца XVIII в. молодая республика по ту сторону Атлантического

океана представлялась исполнением идеалов Руссо, национальным сообществом без двора и аристократии, без государственной церкви и господствующего духовенства, члены которого живут простой и добродетельной жизнью среди природы и в целомудрии. Здесь нет имущественной и иной зависимости, нет изысков цивилизации, которые могут помешать стихийному развитию добродетелей человека. Казалось, британские свободы и англо-американский моральный энтузиазм совершили великие дела в сумрачной Британии и в далеких лесах Нового Света. Насколько же более великие дела может совершить Франция — страна, благословенная природой и цивилизацией, высоко почитаемая даже при деспотическом правлении, если она сможет благоденствовать по законам Разума и Свободы!

Французская революция. Возрождение Франции в царстве Разума и Свободы было первой целью революции 1789 г. Ведущая политическая и культурная роль Франции в западном мире при абсолютной монархии в XVII в. явно близилась к концу. Слава французского оружия потускнела, империя утратила крупные территории, в финансовом отношении страна находилась на грани банкротства, экономическая и интеллектуальная жизнь нации была скована отжившими традициями, институтами и законами. Ощущение глубокого упадка пронизывало всю общественную жизнь Франции.

Первоначально Французская революция вдохновлялась идеей конституционных свобод и ограниченного правления по английскому образцу. Но во Франции традиции абсолютизма и авторитаризма не способствовали подготовке народа к самоуправлению и ограничению власти суверена. В ходе революции абсолютная власть короля была заменена абсолютным суверенитетом народа. В духе Руссо многие французы зывали к общему патриотическому энтузиазму и к единству национальной воли. Они обращались за примерами к предполагаемым гражданским добродетелям Спарты и республиканского Рима, к их горячему патриотизму и боевому духу. Национализм, сложившийся у англоязычных народов в течение ста лет между Славной революцией и началом Французской революции, уважал частную жизнь личности: государство рассматривалось как защитный покров для свободной игры индивидуальных сил.

Национализм Французской революции делал упор на то, что долг и достоинство гражданина — в его политической активности, а его самореализация — в полном единении с нацией-государством.

Французская нация родилась в 1789 г. во внезапном взрыве энтузиазма. В начале года в стране еще были весьма сильны центробежные течения. Разделение на провинции и города с их собственными законами и традициями, местной экономикой, системой мер и весов, разделение на классы и касты со строго определенными привилегиями, правами и обязанностями — все это ставило непреодолимые барьеры во всех сферах национальной жизни. В июне 1789 г. впервые после 1614 г. были созваны предусмотренные традицией Генеральные Штаты; но перерыв в их работе был слишком долг, за это время условия жизни общества слишком изменились. Под давлением третьего сословия Генеральные Штаты были преобразованы в Национальное собрание, орган, представляющий уже не отдельные сословия, а всю объединенную нацию. В августе того же года был сделан следующий, исключительно важный шаг к формированию французской нации: были сметены все географические и классовые барьеры, многочисленные группы и касты отказались от множества своих привилегий и исторических прав. Впервые было достигнуто национальное единство. В том же месяце была провозглашена Декларация прав человека и гражданина, которая провозгласила основой нового порядка нацию, состоящую из свободных личностей, находящихся под защитой закона. Провозгласив независимую личность отправной точкой и конечной целью всего общества, Декларация воплотила в себе век Просвещения, Славную революцию и Американскую революцию 1775—1776 гг. Она защищала достоинство, частную жизнь и счастье личности от растущего давления власти и общества. В течение всего XIX века Декларация была символом веры, предохранявшим новый национализм от вырождения в идеологию авторитаризма и тоталитаризма. Однако опасность такого вырождения таилась уже в той страсти к национальному единству и к разумной эффективности, на которой зиждилась Французская революция. Эта страсть привела революционный национализм к чрезмерной централизации и превратила его чуть ли

не в религию, то есть завела его намного дальше, чем в Англии и в США.

Страсти, пробужденные новым национализмом, угрожали смести барьеры, защищавшие в XVIII в. достоинство человека и его свободы. Рождение нового национализма совпало по времени с переходом от сельской к городской экономике, с ростом социального динамизма и усилением капитализма, с ускорением темпов жизни в связи с механизацией промышленности и распространением образованности. Традиционная организация общества по деревням и гильдиям уступила место неорганизованным городским массам, увеличившимся вследствие миграции из сельской местности. Массовая психология городского населения создавала новые проблемы. Не обладая устойчивостью традиционных обществ, эти массы гораздо легче увлекались утопическими надеждами и приходили в волнение от необоснованных страхов. Ускорение темпов эпохи привело к ускоренному формированию и смене элит, которые учились все более искусно манипулировать надеждами и опасениями масс. И для элит и для масс национализм становится прежде всего средством организации и самовыражения. (Позднее с национализмом стал конкурировать социализм, пока эти две динамичные революционизирующие приманки масс не слились воедино в сталинизме и гитлеризме.) Со времени Французской революции национализм, куда бы он ни проникал, повышал роль социально-экономических проблем. Между 1789 и 1795 гг. национализм достиг своих крайних точек: в признании достоинства личности (в Декларации прав) и во взрывах коллективных страстей против прав личности. Так Новый век, подобно Янусу, показал два своих лика.

Новый национализм в действии. В силу исторических причин, в пределах Франции сохранились два папских анклава — Авиньон и Венессен. Для воссоединения с Францией они использовали новый принцип национального самоопределения — волю общества выяснил плебисцит. В эпоху национализма этот способ использовался бесчисленное количество раз, но уже в ходе Французской революции обнаружились грубые нарушения „во имя национальных интересов”. Нередко манипулировали стремлением к единству, воля общества фальсифицировалась.

Однако в начале революции чувства национального единства и братства было подлинным и стихийным. Оно явно проявилось в „празднике федерации”, впервые отмеченном 14 июля 1790 г., в годовщину взятия Бастилии народом Парижа. Во всех общинах Франции были воздвигнуты „алтари отечеству” с надписью „Гражданин рождается, живет и умирает во имя Отечества”. Люди стекались к этим алтарям с пением патриотических песен и приносили присягу поддерживать национальное единство, подчиняться закону и защищать высшего законодателя — суверенный народ.

Однако национальное единство долго не удержалось. Нацию разделили политические и религиозные разногласия. Возрожденная нация нуждалась в преобразованной религии; она испытывала недоверие к традиционным универсальным связям через веру. До сих пор основные моменты человеческой жизни — рождение, брак, смерть — были областью, принадлежащей церкви, и через нее получали свой смысл и оформление. В 1792 г. стала обязательной регистрация всех актов семейного положения и гражданского состояния властями нового национального государства. Новый патриотизм пошел еще дальше в новаторском энтузиазме. Дни календаря, новорожденные дети, улицы городов получали имена, связанные с новой гражданской религией. Многие сторонники традиционных религиозных верований оказались в конфликте со своей совестью: прежняя религия противостояла новым национальным догмам и авторитетам. До того времени образование в основном находилось в руках церкви. Новый национализм и здесь внес существенные перемены.

С целью вырастить новое поколение добродетельных и патриотичных граждан Французская революция создала первую в мире систему всеобщего образования. Образование стало рассматриваться как долг и главная задача нации. Считалось, что только всеобщее образование может обеспечить единство отечества и объединить граждан. Акценты были перемещены с изучения классики и гуманитарных наук на историю и патриотическое пение, а также (по крайней мере, в теории) на ручной труд и физическую культуру. В порыве обретенной национальной гордости народ хотел превратить свою столицу в центр

мирового искусства. В 1793 г. бывший королевский дворец Лувр был преобразован в первый в истории национальный музей. Искусства, прежде всего музыка, больше не должны были служить лишь личным удовольствиям или религиозным чувствам. Они должны были пробуждать национальные чувства. Людей воодушевляла знаменитая патриотическая песня „Марсельеза” в обработке для любимых массами медных духовых инструментов. Национальные праздники задумывались как мощные действия, в которых сам народ не просто участвовал, но играл главную роль. Фестивали и школы также способствовали распространению французского языка по всей территории страны, включая области, где прежде пользовались почти исключительно местными наречиями — в Бретонии и Фламандии, в Басконии и Эльзасе, в Каталонии и Провансе.

До революции в университетах Франции уделяли больше внимания латыни, нежели французскому языку, и классическим авторам — нежели французским писателям. Новый национализм изменил и это. Пожалуй, никто не выразил эти новые чувства лучше, чем Максимилиан Робеспьер (1758—1794 гг.) в „Отчете Национальному собранию о национальных празднествах” 18 флореаля 1794 г.:

„Да, эта прекрасная земля, на которой мы обитаем, создана для того, чтобы стать домом свободы и счастья... О, мое отечество, если бы волею судьбы мне довелось родиться в чужой и далекой стране, я бы беспрерывно молил небо о твоём процветании; меня трогали бы до слез повествования о твоих героях и твоих добродетелях; моя чуткая душа с неустанным восхищением следила бы за событиями твоей великой революции; я бы завидовал судьбе твоих граждан; я бы завидовал твоим представителям! Я француз, я один из твоих представителей!.. О, возвышенный народ! Прими в жертву все мое существо! Счастлив тот, кто родился в твоей гуще; и еще счастливее тот, кто может умереть за твое счастье”.

Новый национализм и война. Французская революция, вначале провозгласившая всеобщий мир, вовлекла Францию и Евро-

пу в войну, более продолжительную и разрушительную, чем все, происходившие со времени религиозных войн. В вихрях этой войны исчезали государства, создавались новые связи, впервые повсюду забушевали национальные страсти — от Ирландии до Сербии и России, от Испании и Италии до Норвегии. Войны Французской республики как никогда ранее взывали к национальному сознанию и единству народа. 25 сентября 1792 г. Жорж Жак Дантон (1759—1794 гг.) требовал:

„Франция должна стать нераздельным целым, она должна иметь единое представительство. Граждане Марселя должны соединить руки с гражданами Дюнкерка. Я требую смертной казни для кого бы то ни было, кто пожелает разрушить единство Франции, и предлагаю, чтобы Национальное собрание декретировало единство представительной и исполнительной власти как основу правления, которое намечается учредить. Не без трепета узнают австрийцы об этой священной гармонии; и тогда, клянусь вам, наши враги погибнут”.

Казалось, такая страсть приносит плоды: недавно созданные республиканские армии нанесли поражение своим противникам. На полях битв торжествовали не монархи, а нация. Победа повернула Францию от лояльного монархизма 1789 г. к республиканскому национализму 1793 г., от мирного духа Просвещения XVIII в. к агрессивному динамизму современного национализма.

За первыми победами последовали поражения, тем более опасные, что им сопутствовали внутренние восстания. Среди того меньшинства, которое правило Францией, это вызвало непреклонную решимость собрать все силы для победы в войне и безжалостно ликвидировать любую оппозицию и раскол внутри страны. Террор спас республику, но не способствовал укреплению духа компромисса, соглашения и уважения к свободе в рамках закона в нарождавшемся французском национализме. Робеспьер считал подлинными гражданами только „искренних и добродетельных патриотов”; прочих же следовало *заставить* быть истинными детьми отчизны. Жан Поль Марат

(1743—1793 гг.) декларировал, что Франция, которой угрожает возврат к деспотизму королей, должна утвердить деспотизм свободы. Лишь диктатура добродетельных людей, посвятивших себя без остатка интересам всей нации и выражающих подлинную общую волю, может спасти отечество. Любая оппозиция такому руководству равносильна измене нации. Все должно быть принесено в жертву отчизне. Вся нация должна быть мобилизована, война должна стать национальной во всех ее аспектах. „Когда отечество в опасности, — объявил Дантон 2 сентября 1792 г., — никто не может отказаться служить ему, или он будет объявлен бесчестным предателем. Подлежит смертной казни каждый гражданин, отказавшийся стать в строй, и кто прямо или косвенно противодействует мерам общественной безопасности”.

В XVIII в. в войнах участвовали небольшие военные силы и без особого напряжения. В 1793 г. Конвент поставил на службу нации все и вся, по крайней мере, в теории. Люди подлежали мобилизации, ремесленные изделия — реквизиции, писатели и деятели искусств должны были возбуждать народный энтузиазм. Эти усилия принесли плоды. Вторгнувшиеся во Францию армии были отброшены. Молодая французская нация была спасена. Но поскольку спасительницей была армия, она даже после того, как опасность миновала, осталась в национальном сознании как нечто выдающееся, чего не было в англоязычном мире. Французское национальное государство родилось в военной славе, какой страна не знала при самом могущественном из ее королей. „О, земля воителей! О, Франция! О, моя родина!” — обращался республиканский поэт к отчизне в 1797 г. Популярность армии способствовала восхождению к власти Наполеона Бонапарта (1769—1823 гг.).

Наполеон. Наполеон взывал к новому французскому национализму, но сам националистом не был. Он завершил создание централизованного национального государства с единой системой законов, бюрократией и системой образования, но сделал это в духе просвещенных деспотов XVIII в. Он был готов использовать национальные устремления в той мере, в какой, по его представлениям, в этом нуждалась его система, не имея в действительности желания удовлетворять их. В определенной степени он поощрял национальные устремления Италии и Польши,

однако это было продиктовано сиюминутными интересами его империи и династии.

Наполеон претендовал не на национальное государство, и даже не на расширенное национальное государство, но на возрождение империй Цезаря и Карла Великого. Его орудием был не народ, воодушевленный патриотизмом нового типа, а мощь государства — механизм, созданный князьями эпохи Возрождения и усовершенствованный абсолютными монархами. Наполеон потерпел поражение не только вследствие своих непомерных амбиций; его победила новая сила, которую наполеоновские войны вызвали к жизни за пределами Франции и которую Наполеон не осознал — национализм европейских народов, особенно немцев. Эти народы — немцы, итальянцы, испанцы, русские — восприняли национализм не от Французской революции, дух 1789 г. едва коснулся их; они стали националистами благодаря Наполеону, но этот национализм привел не к личной свободе, а к упоению коллективной силой.

3. Национализм и традиция

В странах, которые образуют современный Запад, национализм, возникший в XVIII в., веке Просвещения, был в первую очередь политическим движением, направленным на ограничение власти правительства и обеспечение гражданских прав. Его целью было создание либерального и рационального сообщества граждан, представляющего средний класс, живущий в духе философии Джона Локка. В результате наполеоновских войн национализм проник в страны Центральной и Восточной Европы, в Испанию и Ирландию, где политическое мышление и структура общества были менее развиты, нежели на Западе. Средний класс был в этих странах слаб, нации были разделены на феодальную аристократию и сельский пролетариат. Здесь национализм вначале стал культурным движением, мечтой и надеждой ученых и поэтов. Этот поднимающийся национализм, как и общественное и интеллектуальное развитие вне Западной Европы, испытывал влияние Запада. Но само это влияние ранило гордость местных образованных кругов, в которых уже зародился собственный национализм; это вело к сопротивлению „чуждым”

примерам, прежде всего их либеральному и рациональному мировоззрению. В итоге новый национализм здесь искал свое оправдание и отличие от Запада в наследии прошлого. Нередко древние традиции превозносились как противовес западному Просвещению. Если британский и американский национализм был порожден концепцией личной свободы и представлял народы с четко оформившейся политической жизнью, национализм других народов, не укорененный в соответствующей политической и социальной действительности, не обладал уверенностью в своих силах. Комплекс неполноценности нередко компенсировался самовосхвалением. Германский, российский или индийский национализм — все представляли себя как нечто более глубокое, чем западный национализм, более сложное по проблематике и обладающее большим потенциалом. Для такого национализма характерно стремление к поискам внутреннего смысла, размышления о национальной „душе” или „миссии”, и об отношении к Западу.

Иоганн Готфрид Гердер. Национализм Запада основывался на концепции общества как производного политических факторов; в германском национализме юридическая и рационалистская концепция гражданства (по-немецки, *Burgerschaft*) сменилась гораздо более размытой концепцией „народа” (по-немецки, *Volk*), которая гораздо легче поддавалась прихотям воображения и возбуждала больше эмоций. Предполагалось, что корни народа уходят в почву отдаленного прошлого; он формируется не в ярком свете рациональных политических целей, а в процессе длительного неосознанного развития. Это был тот самый народ, который Руссо провозгласил подлинным воплощением доброго начала в природе. Гердер (1744—1803 гг.), немецкий ученик Руссо, развил теорию народной души или национального духа (*Volksgeist*) и его корней, развивающихся по длинной цепи национальных традиций от древних времен до наших дней.

Гердер рассматривал природу и историю в органическом развитии, как самопроявление Божественного начала в бесчисленных явлениях жизни, в бесконечном процессе творения, где внимание сосредоточено не на всеобщем, а на индивидуальном и неповторимом. Гердер первым стал исходить из того, что человеческая цивилизация живет не в универсальном, а в ее на-

циональных и особых проявлениях. Творческие силы универсального первоначально индивидуализируются, притом не в отдельном человеческом существе, а в коллективной личности человеческих сообществ. Люди — прежде всего члены национальных общин; только в этом качестве они могут быть подлинно творческими личностями. Они осуществляются через национальные языки и народные традиции. Народные песни и фольклор, пребывавшие до той поры в небрежении, Гердер рассматривал как величайшие проявления неиспорченного творческого духа.

Гердер не был националистом в современном смысле этого слова. Он не выдвигал требований создания национального государства или объединения народа. Для него национальность была концепцией не политической или биологической, а духовной и моральной. Политически он оставался просвещенным гуманистом и пацифистом. Родившись во владениях прусской короны, он ненавидел прусский милитаризм и охотно принял русское правление.* В 1769 г. он писал: „В землях прусского короля не будет счастья пока они разделены”, а обитателей их он охарактеризовал как „слишком невежественных и слишком верноподданных немцев”. Он ни в коей мере не был чрезмерно привержен всему немецкому. Для него каждая нация была проявлением Божественного, которое должно не разрушать, а культивировать. Он равно уважал все национальные языки. По Гердеру, каждый человек может быть самым собой, только мысля и творя на родном языке. Он был первым, кто провозгласил право на родной язык высшим правом народа, и это право он признавал и за теми языками, на которых в то время говорили лишь неграмотные крестьяне, и не принято было признавать ни достоинства этих языков, ни возможностей их будущего развития.

Гердер был глубоко убежден, что подлинный национализм способствует укреплению мира. Князья и государства, писал Гердер, могут из политических соображений или ради укрепления своей власти помнить о войне; народы могут думать только о мирном сосуществовании: „Они никогда не омоют руки в

* Когда жил в Риге в 1764—1769 гг. — Ред.

крови (по собственной воле), и даже если их вынудят проливать кровь, для них это будет как их собственная кровь". Он был убежден, что добродетельная и цивилизованная народная жизнь более свойственна миролюбивым славянским крестьянским народам, нежели германцам — гордому воинственному народу. Гердер предрекал славянам великое будущее, и его симпатия к славянским народам, языкам и народным обычаям была мощным стимулятором пробуждающегося национального сознания молодой славянской интеллигенции начала XIX в. Теория Гердера о культурно-национальной индивидуальности и ее правах, его высокая оценка роли народных традиций и обычаев глубоко повлияли на националистическую мысль в странах Центральной и Восточной Европы.

Война за национальное освобождение. В XVIII в. интеллектуальная жизнь в Германии, Италии, России, как и во всей Европе, находилась под влиянием французского Просвещения. Рационалистические и универсалистские идеи стали общепринятыми, а французский язык был всеобщим языком европейского образованного общества. Национализм Французской революции и наполеоновские войны изменили положение. Французские победы и французское господство не только пробудили стремление к построению собственных национальных государств по французскому образцу, они привлекли внимание и к французским идеям. Новый национализм в народ не проник, он остался уделом интеллектуалов, да и то не всех. Многие видели в Наполеоне не ненавистного завоевателя, а великого человека, преобразователя, и восхваляли его в прозе и в стихах. Однако в результате продолжительных войн и гипертрофированного французского национализма, национальные чувства повсюду набирали силу и впервые достигли высшей точки в русской Отечественной войне 1812 г., чрезвычайно повысившей самоуважение русских, победивших Наполеона, а также в германской „освободительной войне” 1813 г., приведшей к „битве народов” при Лейпциге в октябре 1813 г. и к вступлению прусских и австрийских войск в Париж в следующем году.

В Италии и Германии Наполеон косвенно способствовал росту национализма уничтожением множества пережитков Средневековья и созданием основ современной системы уп-

равления. Его творением было первое в Италии королевство, а французский маршал Иоахим Мюрат (1767—1815 гг.), который в 1808 г. стал по назначению Наполеона неаполитанским королем, в 1814 г., когда звезда Наполеона клонилась к закату, выступил за единство Италии. Но народная поддержка национальных чаяний была слабой. Пока еще патриотизм был ограничен узким кругом поэтов и писателей. Самыми известными были Витторио Альфьери (1749—1803 гг.) в сборнике „Мизогалл“, яростно атаковавший французов за дерзостное стремление главенствовать над другими народами в деле цивилизации и свободы, тогда как история и природа отдают здесь пальму первенства итальянцам, и Уго Фосколо (1778—1827 гг.), который в оде „Гробницы“ призывал могучие призраки прошлого Италии восстать из гроба и вновь выйти на битву за родину. После возвращения австрийцев в Италию в 1814 г. Фосколо как убежденный патриот ушел в изгнание, сначала в Швейцарию, а затем в Англию — тем же путем, которым прошел двадцатью годами позже его младший соотечественник Мадзини.

От либерального космополитизма и дружелюбного отношения к Франции повернул к национализму, противостоящему Франции и опирающемуся на традиции, русский писатель и историк Николай Карамзин (1765—1826 гг.). В молодости он был страстным франкофилом; позднее он написал „Историю государства Российского“, которая приобрела широкую популярность и вызвала огромную гордость российским прошлым и древними установлениями страны, прославлявшимися Карамзиным. По Карамзину, существование каждого внутренне связано с отечеством; благородные чувства, которые привязывают нас к нему, суть часть любви к самим себе. Общая история украшает мир в наших умах; история России украшает отечество — центр нашего существования и нашего восхищения. В 1812 г. Карамзин писал, что он бы желал, чтобы русские его времени, подобно предкам, были убеждены, что православный россиянин — самый совершенный гражданин на земле, и Святая Русь — первое государство. В борьбе против Наполеона, считавшего себя наследником Карла Великого и Цезаря, русские видели своего императора всепреемником римских императоров Константинополя, а Святую Русь — подлинной наследницей хрис-

тианской Римской империи. В воображении русского народа 1812 г. Наполеон представлял антихристом, ведущим призраки еретического Запада на Москву — оплот истинной веры.

Немецкий романтизм. Связь между национализмом и традицией получила наиболее сильное выражение в немецком романтизме. Романтизм как эстетическая революция был движением европейским, убежищем для воображения, которое создало поэзию, эмоционально более глубокую и мощную по воздействию, чем поэзия XVIII в. Однако германский романтизм, творчески бедный, желал быть больше, чем поэзией: он был истолкованием истории и общества, а также человеческой жизни вообще. Эти темы мобилизовали восхищение прошлым на борьбу с идеями 1789 г. Начав как крайние индивидуалисты, немецкие романтики пришли к противоположному — к подлинно гармонической, органичной народной общине, которая включает отдельную личность в неразрывную цепь традиций. Такая идеальная община-народ, по представлениям романтиков, существовала в немецком Средневековьи. Они публиковали средневековые саги и поэмы, народные песни и сказки и восхищались ими. Средневековые замки представляли в их воображении памятниками ушедшей национальной славы и красоты. Даже природа становится атрибутом национального — немецкие леса и немецкие реки, особенно Рейн, который представлялся Фридриху Шлегелю (1772—1829 гг.) „абсолютно верным символом нашего отечества, нашей истории и нашего характера”.

Оптимистической идеализации будущего, столь характерной для века Просвещения, романтики противопоставляли подобную же идеализацию национального прошлого. Адам Мюллер (1779—1829 гг.), политический философ немецкого романтизма, восхищался Эдмундом Берком и провозглашал, что британский политик XVIII в. скорее принадлежит немцам, чем британцам, которые, по мнению Мюллера, никогда не понимали его до конца. Однако у немецких романтиков не было ничего от практической мудрости Берка, от его уважения к свободе личности и конституционным правам. Для них национальное, или народное, государство не было общественной организацией, основанной на человеческих законах и имеющей целью обеспечение свободы, безопасности и счастья человека, а органической

личностью, Божьим созданием, как и сама личность, лишь бесконечно большим и могучим, источником жизни личности. Хотя великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831 гг.) был не романтиком, а рационалистом, его концепция государства отражала идеи романтиков. Для него Государство было Божественной Идеей в ее земном воплощении.

Ранний немецкий национализм. В ходе войн против Наполеона романтизм во многом повлиял и на характер нарождающегося немецкого национализма. Величайшие умы Германии предшествующего периода были в оппозиции национализму. Философ Иммануил Кант (1724—1804 гг.) был представителем либерального, индивидуалистического и космополитического Просвещения. Оба величайших немецких поэта Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832 гг.) и Фридрих Шиллер (1759—1805 гг.) обращались как к источнику возрождения не к средневековому народу-общине, а к индивидуализму античной Германии. Всю свою жизнь, даже во время войн против Наполеона, Гете выражал глубокое восхищение французским языком и французской цивилизацией. „В мрачных старогерманских временах для нас можно найти столь же мало, как в сербских народных песнях или в прочей примитивной народной поэзии, — говорил престарелый Гете своему секретарю Эккерману. — Ее, конечно, какое-то время читают, а какое-то время ею интересуются, но только для того, чтобы отложить ее в сторону. Над человечеством уже нависла слишком густая тень его собственных страстей и собственной судьбы, чтобы оно нуждалось в еще большей мрачности, происходящей от мыслей о безрадостных временах примитивности и варварства. Человечеству нужны ясность и спокойствие, ему нужно обращаться к тем эпохам в искусстве и литературе, когда высшие человеческие личности достигали совершенства в культуре, а затем, достигнув примирения с самими собой, могли излить благословения культуры на других”.

Гете видел в Наполеоне великое человеческое явление, которое воплощает дух исторического развития, прорывающий все этнические и национальные границы. Но его современник немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814 гг.), как и большинство немецких националистов, видел в прусском го-

сударстве оплот культуры и организованной свободы. Когда Пруссия в 1806 г. была разгромлена, Фихте в „Обращении к германской нации”, прочитанном в Берлине зимой 1807—1808 г. призвал немцев не только к национальному возрождению, но и к мировому лидерству в области культуры. По языку, мышлению и истории оно уготовано именно немцам. Из цивилизованных народов Европы, доказывал Фихте, только немцы говорят на оригинальном языке, в то время как французы, англичане, испанцы, итальянцы, будучи, хотя бы отчасти, народами немецкого происхождения, обесмыслили свою интеллектуальную жизнь, используя чуждый им производный язык. Фихте был убежден, что из всех современных наций только немцы способны достигнуть высшего совершенства. Поэтому они должны сопротивляться Наполеону, подобно тому как их предки сопротивлялись господству римлян. Если немцы покорятся французам, это будет означать крушение лучших надежд человечества и его культуры.

Сходную позицию занимал Эрнст Мориц Арндт (1769—1860 гг.), который тоже считал, что немцы превзошли другие народы в сохранении расовой чистоты и в чистоте языка. Гердер верил в равноправие всех национальных языков. Однако новые немецкие националисты провозглашали превосходство их языка над латинским и славянским языками. Арндт особое внимание обращал на язык как фактор формирования нации; все германоязычные народы должны объединиться в общем отечестве. Он был одним из наиболее влиятельных пропагандистов национального восстания немцев против французов. Столь же велико было влияние Фридриха Людвиг Яна (1778—1852 гг.) или, как его называли повсюду, „Патера Яна”. Он был автором книги „Германская народность” (1810 г.), в которой прославлялась самобытность немецкого народа — божественной творческой силы. Ян оказал огромное влияние на три движения, ставших характерными для националистических течений Центральной и Восточной Европы, а затем распространившихся и на Азию: военные формирования патриотов-добровольцев, гимнастические объединения для тренировки бойцов-патриотов и студенческие союзы, проникнутые националистическим восторгом. Все эти три вида формирований переполнял революционный

активизм. Возникшие в ответ на эмоциональные призывы и подчеркивающие свое дисциплинированное служение нации, они странным образом отождествляли все это с понятием „свобода”, которое в таком толковании имело мало общего с западной концепцией свободы личности.

В 1813 г. в войне против Наполеона участвовали армии России, Пруссии и Австрии. Тогда еще не существовало общегерманского политического образования. Единственной „германской” силой, участвовавшей в той войне, была группа патриотов-добровольцев в черных мундирах под командованием Адольфа Фрейгерра фон Лютцова. Многие из них состояли членами гимнастического клуба „Турнершафт”, который Ян основал в Берлине в 1810 г. Такие гимнастические объединения, которые позднее переняли другие народы (у чехов и других славянских народов они получили название „Соколы”), имели целью не только физическое воспитание, идеалы „честной игры” или принцип „благородного проигрыша”. Они готовились к достижению националистических целей и служили им, проходя военную подготовку, соблюдая дисциплину, единство. Это была потенциальная армия, готовящаяся к нетерпеливо ожидаемой битве с врагом. Тот же дух воодушевлял студенческие братства („буршеншафтен”), впервые основанные в Иенском университете в 1815 г. Они приняли черный, красный и золотой как цвета германского единства. Эти молодежные формирования должны были подготовить национальное объединение и независимость будущего национального государства. Ян неустанно призывал немцев оберегать свое мышление, традиции и характер от чуждых влияний. Он был убежден, что герой, который с фанатизмом и страстью объединит нацию и сделает ее могучей, заслужит поклонение народа как спаситель и ему будут прощены все прегрешения, ибо ничто не должно стоять на пути к великой цели — созданию национального государства.

4. Национализм и революция

Разочарование посленаполеоновской эпохи. Поражения Наполеона в 1814—1815 гг. не привели к осуществлению желаний и стремлений националистической молодежи. Во Франции,

утратившей имперскую славу, многие националисты с горечью восприняли возвращение территории страны к границам 1790 г., и видели в поражении Наполеона при Ватерлоо национальное унижение. Венский конгресс лишь отчасти удовлетворил национальные чаяния немцев и поляков и ничего не дал итальянцам. Между тем в Германии до 1806 г. существовала Священная Римская империя германской нации, а Польша обладала национальной самостоятельностью вплоть до 1795 г. Но в Италии подобного объединения до тех пор никогда не существовало. В 1815 г. немецкие государства были объединены в конфедерацию под названием Германский союз („Бунд“) со слабыми внутренними связями, а большая часть Польши была провозглашена автономным царством с определенными национальными правами в рамках Российской империи. Бывшие австрийские Нидерланды и Голландия были объединены в Нидерландское королевство; Норвегия, ранее составлявшая часть Дании, была объединена со Швецией, но имела собственную конституцию. В целом, однако, территориальное устройство 1815 г. имело мало общего с новыми националистическими устремлениями. После четверти века непрерывных войн и перемен венские миротворцы прежде всего стремились к миру и порядку. Священный союз под руководством императоров России и Австрии, а также прусского короля — главных победителей Наполеона, был призван обеспечить спокойствие в Европе в духе христианской морали и братской солидарности.

Население в целом не так уж возражало против консервативного порядка после многих лет насилия и волнений. Однако молодежь и интеллектуальные круги, возбужденные ожиданиями, которые породила Французская революция, а затем дерзостью Наполеона и страстной эмоциональностью романтизма, противились негероическому спокойствию периода Реставрации, провозглашенной на Венском конгрессе, ненавистными символами которой стали Священный союз и его идеолог — канцлер Австрии князь Меттерних. Патриоты, как они называли себя по примеру начального периода Французской революции, в общей враждебности к Священному союзу императоров чувствовали свою общность, несмотря на национальные различия. Их национализм подчеркивал сотрудничество народов против монархов

и стремление к либеральной конституции, которая должна ограничить абсолютизм правителей. Против Священного союза князей провозглашался Священный союз народов. Патриоты каждого народа демонстрировали активное сочувствие патриотам других народов, восстававших против порядков, установленных Венским конгрессом. В ту эпоху, когда в Европе почти нигде, кроме Англии, не существовало свободного общественного мнения и конституционной политической жизни, патриоты создавали тайные общества в надежде, что заговоры и мятежи помогут им достигнуть цели.

Значительные успехи исторической науки в первой половине XIX в. во многом способствовали развитию нового национализма в образованных слоях общества. Повсюду были заняты сбором и публикацией документов прошлого; появился интерес к собственной истории, которая становилась новым источником гордости своим народом. В Германии великий патриот барон Генрих Фридрих Карл Штейн (1757—1831 гг.) начал публикацию серии памятников средневековой истории страны. На каждом опубликованном томе была вытеснена латинская надпись „Нас вдохновляет священная любовь к отчизне”. Подобные публикации предпринимали и в других странах, в том числе и в утративших политическую самостоятельность. Здесь следует назвать чешского историка Франтишека Палацкого (1798—1876 гг.), который по-новому осветил и придал новый смысл почти утраченной исторической памяти своего народа. Увлечение прошлым весьма помогло успеху первого национального восстания той эпохи — греческому восстанию 1821 г. Вся Европа следила за ходом восстания с большой симпатией, ибо греки были потомками Гомера и Праксителя, Эсхила и Сократа, Платона и Демосфена, и независимость Греции знаменовала возрождение древней славы. Огромные надежды, вызванные войной за независимость Греции, были проявлением странного союза историзма и национализма, веры в легендарную непрерывность кровного родства и в мистическое выживание национального гения в течение многих столетий.

Мадзини. Первый пик революционных волнений пришелся на июль 1830 г., когда в Париже была свергнута монархия Бурбонов и Луи-Филипп вззошел на французский престол как „ко-

роль-гражданин". Пример Франции вызвал краткие революционные вспышки в Италии, Германии и Польше. Все они потерпели печальную неудачу, потому что народ нигде не поддержал их. Лишь в Бельгии революция победила. 25 августа в столице Бельгии Брюсселе студенты слушали популярную тогда оперу Д. Обера „Немая из Портичи", в которой прославлялось восстание неополитанцев против испанского владычества в 1647 г. Возбужденные дуэтом „О, священная любовь к отчизне", студенты вышли на манифестацию, которая стимулировала целый ряд событий, приведших к признанию независимости Бельгии европейскими державами 14 октября 1831 г. В целом революция 1830 г. в Западной Европе прошла успешно. Законы Англии, Франции и Бельгии стали более либеральными, средние классы добились большего влияния, историческое развитие, начавшееся в 1688 и 1789 гг., получило продолжение. Однако в Центральной и Восточной Европе старый порядок остался нерушимым в 1830 г. Восстания были быстро подавлены. Из Италии, Польши и Германии в Швейцарию и Англию устремились потоки беженцев. Среди них был итальянец Джузеппе Мадзини (1805—1872 гг.).

Идеи Мадзини были типичными для национализма того времени. Он становится неустанным проповедником националистской мысли и действий. Столкнувшись с инертностью народа и с малодушием средних классов, Мадзини воззвал к энергичному руководству „Молодой Италии". „Секрет возбуждения масс, — писал он, — находится в руках тех, кто проявит готовность воевать и завоевывать, став во главе масс". Он призывал молодежь и народ пожертвовать всем во имя создания объединенной, сильной, централизованной нации. Он даже высказывал убеждение, что подлинное искусство может процветать только у такой нации. Он забыл, что великое искусство расцвело в Италии Средних веков и эпохи Возрождения, когда итальянского государства не существовало, и это искусство вдохновляло человечество, когда еще не было никаких националистических устремлений. Как и многие националисты, Мадзини в своем увлечении допускал неверное прочтение истории. Столь же неверное прочтение допустил он, восхваляя итальянскую революцию, которая, как он полагал, пойдет дальше Французской революции, к которой он относился отрицательно. Французская

революция провозглашала свободы и разрушила старый мир; на его руинах должна подняться новая вера, которая заполнит пустоту, оставленную Французской революцией. Мадзини был убежден, что только итальянцы могут принести положительное послание новому веку и установить единство, которое Рим уже дважды приносил человечеству — в эпоху цезарей и в эпоху пап. Третий, еще более великий Рим — Рим народа — принесет Европе руководство и единство более прочное, чем это могли сделать Рим античной эпохи и Рим средних веков. „Ныне над нашей Италией встает заря новой миссии, — писал Мадзини в 1858 г., — еще более величественной, чем миссии прошлого, ибо итальянский народ в свободной и объединенной стране будет более великим и могучим, чем цезари и папы”.

Молодая Европа. В 1831 г. Мадзини основал движение „Молодая Италия”. Будучи эмигрантом в Швейцарии, он вдохновил подобные же движения немецких и польских эмигрантов и пытался вместе с ними создать объединение „Молодая Европа”. Эти тайные революционные организации не стали подлинными провозвестниками революции. Однако Мадзини сказал новое слово и выдвинул идею, которая отозвалась во всех националистических движениях XIX в., вплоть до движения младотурок и младокитайцев. Мадзини верил в истинное товарищество всех молодых национальных движений. Период между 1830 и 1848 гг. был временем пробудившихся надежд и бурного оптимизма. Мадзини, следуя традициям Руссо и Гердера, верил в добродетель народов, тогда как правительства и государства представлялись ему воплощением разврата. Эти убеждения разделял французский историк Жюль Мишле (1798—1874 гг.), написавший вышедшую в 1846 г. книгу „Народ”, воплотившую патриотизм и мессианские страсти того времени. Подобно Мадзини, Мишле верил, что народ — это воплощение нации, и что народы, освободившиеся от деспотизма правителей, создадут мирный европейский союз. Мишле был другом и единомышленником польского поэта Адама Мицкевича (1798—1855 гг.), который жил тогда в эмиграции в Париже. После поражения восстания 1831 г., в котором он не участвовал, великий поэт стал вождем польского национализма. Своей мессианской страстью Мицкевич и его соотечественники — поэты-эмигранты

поддерживали дух поляков в годы поражения и отчаяния. В мессианском истолковании польское мученичество обретало смысл. Польша была провозглашена Христом народов: безвинно распятая, она воскреснет вновь, и ее освобождение станет освобождением всего человечества от угнетения и войн.

Мицкевич, Мадзини и Мишле, как и вся „Молодая Европа”, будучи националистами, были демократами. Они сознавали, что пробуждение наций требует активного участия народа. В промышленных странах Европы той эпохи призывы к рабочему классу нередко имели националистический оттенок: они зывали к патриотическим чувствам и зачастую повторяли лозунги парижан 1792–1793 гг. В Центральной и Восточной Европе главной проблемой, стоящей перед патриотами, было освобождение крестьян. Польское национальное дело потерпело поражение в основном из-за апатии крестьянских масс и их недоверия к повстанцам-шляхтичам. Польские демократы, среди которых самым известным был историк Иоахим Лелевель (1786–1861 гг.), настаивали на необходимости народного образования и на равенстве всех классов. Однако Лелевель, который был учителем Мицкевича в Виленском университете, подобно многим соотечественникам, провел в изгнании последние тридцать лет жизни и не мог влиять на происходящее на родине. Больших успехов добился датский пастор и поэт Николай Северин Фридерик Грюндтвиг (1783–1872 гг.), горячий патриот, создававший в Дании народные школы для крестьян; в этих школах поэзия и история составляли важную часть обучения.

В Ирландии XIX в. крестьянский вопрос решался политическими мерами (в 1829 г. право голоса получили все католики Великобритании и Ирландии), а также социальными и экономическими — посредством земельной реформы, которую проводили все британские правительства после „Ирландского земельного закона” 1870 г., принятого при Гладстоне. Однако чаяния ирландцев шли дальше. Под руководством Дениэла О’Коннела (1775–1874 гг.) началась агитация за отмену союза 1800 г. между Великобританией и Ирландией и за восстановление ирландского парламента. Еще более радикальные идеи выдвинуло общество „Молодая Ирландия”, основавшее в 1842 г. в Дублине еженедельник „Нация”. Члены „Молодой Ирландии”

пошли даже дальше, чем позволяли католические рамки агитации О'Коннела. Они обращались ко всем жителям Ирландии — католикам и протестантам, кельтам, норманнам и саксам.

„Молодая Ирландия” прославляла великое прошлое страны, которая в раннем средневековьи была центром, откуда просвещение и христианство распространялись в другие районы Европы. В „Молодую Ирландию” входил поэт Томас Осборн Дэвис (1814—1845 гг.) — протестант, который в своих стихах прославлял, среди прочих, короля Дати — последнего ирландского монарха-язычника, совершавшего завоевания на европейском континенте и даже вторгшегося во владения римлян.

Революционное возбуждение эпохи распространилось на испанскую Америку. Под влиянием американской и французской революций на борьбу за национальную независимость испанских колоний поднялось креольское население и американцы испанского происхождения, которые считали, что к ним относятся как к гражданам второго сорта по сравнению с испанцами, присылавшимися из метрополии на все важные посты. Восстанием руководили венесуэлец Симон Боливар (1783—1830 гг.) и аргентинец Хосе Сан-Мартина (1778—1850 гг.). В 1823 г. испанское правление было ликвидировано. Испания весьма мало подготовила своих американских подданных (как, впрочем, и граждан самой Испании) к самоуправлению и демократии. Иберо-американцы преуспели в XIX в. в преодолении политической и социальной отсталости так же мало, как и сами испанцы. И в самой Испании, и в испанской Америке не укоренились принципы демократии и федерализма, введенные в англоязычной Америке — в США и в Канаде. В большинстве испано-американских республик анархия и диктатура сменяли друг друга. Военные вожди — *каудильос* нередко захватывали власть и удерживали ее надолго. Лишь бывшая португальская колония Бразилия в правление монарха Педро II (1840—1889) получила более упорядоченное и стабильное руководство. В большинстве случаев местное индейское население осталось вне новых наций. Только в XX в. были предприняты усилия (в основном в Мексике) интегрировать индейцев со всем народом, оживить их древнюю народную культуру, изучить историю индейцев и их

традиции, осуществить синтез американской и испанской цивилизаций.

Национальные движения в Центральной и Восточной Европе.

В 1815 г. в Центральной и Восточной Европе правили три монарха, объединившиеся в Священный Союз, а также оттоманские (турецкие) султаны. Великороссы, немцы и турки были тремя господствующими нациями над всей этой огромной территорией, населенной множеством разнообразных этнических групп. Между этими группами не было ничего общего, кроме отсутствия национальной государственности; они относились к различным расовым, религиозным и лингвистическим семьям. Наиболее многочисленной лингвистической группой были славяне, среди которых великороссы были единственной независимой нацией. Русские исповедовали православие, подобно сербам и болгарам, жившим на Балканском полуострове под властью турок. Поляки, принадлежавшие к римско-католической церкви и в XVIII в. сформировавшие мощное образование, которое включало многие непольские народы, — литовцев, украинцев, белорусов — жили на землях, часть которых в 1815 г. находилась под властью российского императора, а часть — под властью прусского короля и австрийского императора. Австрийский император правил также принадлежавшими к римско-католической церкви чехами в Богемии и Моравии, словаками — в северо-западной Венгрии, хорватами и словенами, жившими в южной части его империи и этнически близкими к сербам. Славяне — украинцы и белорусы, принадлежавшие к греческой православной церкви и к греко-католической униатской церкви, по большей части находились под властью великороссов. Земли украинцев в Новое время из-за своего географического положения не раз становились полем битв, которыми решались имперские конфликты русских и поляков, хотя украинцы — народ, по численности уступающий среди славян только самим великороссам.

Славяне, составлявшие большинство населения на территориях между Германией и Италией, смешались с другими народами, жившими на этих территориях, в результате чего этническая карта Центральной и Восточной Европы сделалась еще более пестрой. На побережье Балтийского моря жили лю-

теране — финны, эстонцы и латыши, а также литовцы — римские католики. На просторах Российской империи жили различные народы, в основном угрофинского или татарского происхождения, которые были поглощены империей в ходе ее экспансии, но не ассимилировались. На Венгерской равнине по среднему течению Дуная жили мадьяры (венгры), принадлежавшие к римско-католической церкви, а к северу от устья Дуная — румыны, принадлежавшие к греческой православной церкви, которые сохраняли диалект латинского языка с тех времен, когда древние римляне учредили на их землях провинцию Дакия. В южной части Балканского полуострова и в Малой Азии жили греки, культура и религия которых доминировали среди славян и румын полуострова, политически управлявшихся султаном из Константинополя, но в общественном и духовном отношении — греческим константинопольским патриархом. Кроме того, на западе Балкан жили албанцы — частью мусульмане, а частью принадлежавшие к греческой православной и римско-католической церквям.

Столетие, разделявшее 1815 и 1918 г., было заполнено борьбой некоторых этих народов за национальную независимость. К 1918 г. русская, австрийская, прусская и оттоманская правящие династии лишились власти. Однако по всей территории их империй, исключая балтийские народы, создание независимых и политически удовлетворенных своим положением национальных государств западного типа натолкнулось на непреодолимые трудности. В большинстве случаев оказалось невозможным провести четкие этнические границы. Возникла чересполосица расовых, языковых и религиозных групп, что препятствовало приемлемости сложившегося положения для всех заинтересованных сторон.

Столкновение „исторических” прав народов оказалось еще более опасным для дела мира, нежели конфликт их „естественных” прав. Каждый народ требовал расширения своей территории до границ в период его наибольшей экспансии, которые вовсе не соответствовали историческим и этническим переменам, происшедшим в истекшие века. Некоторые территории в разные исторические эпохи входили в сферу влияния различных народов, и теперь каждый из этих народов предъяв-

лял требования на эти территории. Такого типа национализм не вел, как того ожидали Мадзини и „Молодая Европа”, к братскому единению соседних наций и к международному миру. Пробуждение народов высвободило коллективные страсти, ставшие в столетие после 1848 г. основной причиной ненависти и подстрекательства к войнам. Проблемы многонациональных империй мог бы решить демократический федерализм, однако для этого требовалось предпочтение упорядочения системы правления путем компромиссов, по аналогии с тем, как это происходило в англоязычном мире. Однако на европейском континенте этот способ удалось успешно применить лишь в Швейцарии, где после краткой гражданской войны осенью 1847 г. был установлен демократический федерализм, что обеспечило мирное и свободное развитие этнических групп, говоривших по-немецки, по-французски и по-итальянски и имевших весьма отличающиеся традиции и религию. В течение последних ста лет народы, говорящие по-немецки, по-французски и по-итальянски за пределами Швейцарии, вели друг с другом ожесточенные войны и жертвовали свободой во имя национальных требований. Британский либеральный католик XIX в. лорд Экстон предвидел опасность такого развития. Нигде эта опасность не ощущалась так остро, как в Восточной и Центральной Европе после победы национальных революций.

Успех этих революций был подготовлен усилиями деятелей культуры — ученых и поэтов. Под влиянием Гердера они сосредоточились на создании литературы на местных языках и на изучении фольклорных традиций. До начала XIX в. образованные классы говорили по-французски, по-немецки и на латыни. В XIX в. молодое поколение принялось писать грамматики и составлять словари родных языков, переводить на них иностранные сочинения, собирать народные песни, исследовать памятники национальной культуры, изучать исторические хроники и архивы. И все это не ради самого исследования, а к „вящей славе нации”, для возглашения славы собственного народа, для доказательства его равенства с соседними народами, более развитыми нациями, а то и превосходства над ними. Словак Ян Коллар (1794—1852 гг.), лютеранский священник и поэт, в цикле сонетов „Дочь Славы” (1824 г.) сетовал на падение сла-

вянской мощи, призывал к единству славянских народов и пред-рекал им великое будущее — заселение огромных территорий от Эльбы до Тихого океана, от арктических морей до Средиземного моря. Чех Франтишек Палацкий вспоминал гуситские войны XV в., когда чехи были первыми борцами за дело Реформации, а Карел Гавличек (1821—1856 гг.) посвятил свой талант журналиста и критика демократическому воспитанию соотечественников.

Под влиянием наполеоновских войн национальные чувства пробуждались и у южных славян — сербов, хорватов и словен. Часть сербов пребывала под властью православных епископов-князей, сохраняя независимость от турок в недоступных горах Черногории (Монтенегро); в 1815 г. сербы, жившие в долине Моравы, восстали против турок, и в 1830 г. создали свое независимое княжество. Сербы, жившие под владычеством Османской империи, в культурном отношении были значительно более отсталыми, чем сербы и другие южные славяне, жившие на территориях империи Габсбургов. Среди этих последних хорваты и словены на короткое время были включены Наполеоном в его империю; следуя своему обычаю, Наполеон назвал новые провинции древнеримским именем Иллирия. В итоге националисты из южных славян стали именовать себя иллирийцами. Их ведущим публицистом был Людевит Гай (1809—1872 гг.), а самым крупным исследователем — Вук Караджич (1787—1864 гг.), который оказал решающее влияние на формирование общего литературного языка хорватов и сербов и на собирание их народных песен. Иллирийский национализм вскоре уступил дорогу нередко враждовавшим между собой национальным движениям сербов, хорватов и словен, однако у славян этого района сохранилось чувство общности, *югославского* родства этих трех народов.

Румынами, населявшими автономные княжества Турецкой империи, Молдавию и Валахию, управляли православные князья греческого происхождения, назначавшиеся султаном; румыны, или валахи, как их нередко называли, населяли также Трансильванию — область Венгрии, где они жили вперемежку с венгерскими и немецкими поселенцами, не пользуясь, однако, никакими правами и привилегиями, которыми располагали только эти два

народа. Однако именно в Трансильвании началось национальное и культурное пробуждение румын. В XVIII в. все румыны принадлежали к греческой православной церкви, использовали кириллицу и старославянское письмо и почти не сознавали романского происхождения своего языка. В 1700 г. в трансильванском городе Альба Юлия — бывшей древнеримской колонии, румынские священники присоединились к Риму и создали румынскую униатскую церковь. Под ее влиянием Самуил Кляйн (1745—1806 гг.) ввел латинский алфавит и установил романское происхождение родного языка. Провозглашение романского происхождения внушило румынскому народу чувство превосходства над венграми, славянами, турками и греками. Они почувствовали себя форпостом имперской латинской цивилизации на Востоке. Учитель Георг Аазар (1779—1823 гг.) перенес этот латинский дух из Трансильвании в Валахию. В результате новый национальный дух преодолел греческое влияние, и с 1822 г. в качестве турецких губернаторов здесь стали назначать местных князей. Культурные и исторические изыскания, начавшиеся в XVIII в. в Альба Юлии, заложили основы румынского национализма; в свою очередь, этот национализм в 1918 г. способствовал объединению бывших турецких княжеств с Трансильванией. Эта церемония была проведена в Альба Юлии.

Национальное движение и литература Украины зародились в 1848 г. В Киеве — исторической столице Украины, входившей тогда в Российскую Империю, поэт Тарас Шевченко (1814—1861 гг.) сотрудничал с Кирилло-Мефодиевским братством. Русское правительство прекратило деятельность братства, арестовав и сослав Шевченко в 1847 г. Успешнее оказалось украинское национальное движение в австрийской провинции Галиция, где во Львовском университете была создана кафедра украинского языка и литературы и появилась возможность книгопечатания на украинском языке.

В то время как националистическая деятельность чехов, хорватов, румын и украинцев до 1848 г. была в основном ограничена областью культуры, мадьяры Венгрии обратились к преобразованию древнего многонационального королевства в национальное государство. Из-за сложностей этнического и лингвистического характера, официальным языком королевства

ранее была провозглашена латынь. В 1833 г. по постановлению венгерского сейма официальным языком стал венгерский и начался процесс мадьяризации управления, хотя это вызвало глубокое недовольство других народностей — словаков, хорватов, сербов и румын. Значительный прогресс произошел в развитии венгерской литературы. Мадьярские националисты, выступившие под руководством Лайоша Кошута (1802—1894 гг.), редактировавшего прогрессивную газету „Пешти Хирлап“, требовали конституционных реформ, введения либерального законодательства и национальной независимости для Венгрии, не принимая, впрочем, во внимание таких же требований националистов невенгерских народов. Взывая к совести либеральной Европы в вопросах национальных прав и против господства Габсбургов, венгры в то же время ни в коей мере не собирались применить те же критерии к другим народам. В этом смысле „освобождение“ венгров означало „угнетение“ невенгерских народов в тех территориальных пределах, которые венгры считали историческими границами средневекового королевства Венгрии. Но не только в Венгрии произошло столкновение националистических чаяний разных народов. Именно эти столкновения привели к поражению революции 1848 г. в Центральной Европе.

Весна народов. Сигнал к революции прозвучал из Парижа, где 24 февраля 1848 г. была провозглашена Вторая республика. В следующем месяце революционные выступления произошли в Берлине и в Вене, в Праге и в Будапеште, в Милане и в Венеции. Немецкие, итальянские, славянские и венгерские националисты в Центральной Европе от Северного до Средиземного моря приветствовали зарю нового дня. Долгая зима Священного союза закончилась, режим Меттерниха отринут, созывались национальные парламенты, и народы выступали как неодолимая сила — пришла их весна. Однако обещания и надежды этой весны вскоре завершились горьким разочарованием. Год 1848-й приветствовали как продолжение 1789 г. Провозглашение республики во Франции было воспринято Европой как исполнение вековых надежд, как послание, обращенное ко всем народам, и как гарантия мира для человечества. Однако в новом веке, начавшемся на континенте Европы в 1848 г., сложился мир не гармонии и братства, а вражды и насилия. Вскоре новый нацио-

нализм поставил коллективную мощь и единство выше свободы личности: он обнаружил тенденцию предпочитать независимость от внешнего мира свободам внутри страны. Ни одно новое националистическое движение не могло удержаться от искушения, как только представлялась такая возможность, установить господство над этнически спорными территориями и народами. В середине XIX в. национализм сменил либеральный гуманизм на агрессивную исключительность, принцип достоинства личности — на принцип национальной мощи, принцип ограничения власти и недоверия к правительству — на преклонение перед ним.

Во Франции республика была свергнута не прежними монархистами и аристократами, а Луи Наполеоном, который на свободных выборах получил бесспорную народную поддержку. Большинство голосовало за него, поскольку он выступил за национализм и социальный прогресс. Он был кандидатом тех, кто скорбел по поводу мирной, но „антинациональной” политики Луи Филиппа, кто тосковал по славе победоносных армий 1793 г., мечтая о воскрешении Наполеона и отмщении за Ватерлоо и за договоры 1815 г. Наполеон I, будучи узником на острове Святой Елены, выразил понимание националистических движений и дал им верную оценку. Его племянник Луи Наполеон III в молодости участвовал в националистических выступлениях в Италии. После создания Второй империи он во все годы своего правления показал себя сторонником революционных принципов национализма. Но в самой Франции в 1848 г. не нужно было решать национальных проблем. Франция стала нацией в 1789 г. Однако в Центральной Европе положение было иным. Здесь 1848 год обозначил пробуждение народов и их первое ожесточенное столкновение.

В начале 1848 г. поляки и немцы братались на улицах Берлина, а чехи и немцы — на улицах Праги. Но с развитием революции стало ясно, что в Центральной Европе она стремится не столько к свободе человека и братству, сколько к национальному разделению. Личные свободы и конституционные гарантии были принесены в жертву национальным чаяниям. Революционные страсти скорее были направлены на национальные цели, нежели на достижение свободы. Там, где эти два направления сталкивались, национализм одерживал верх. Первый свободно

избранный германский парламент, созданный в мае 1848 г. во Франкфурте-на-Майне, обсуждал границы германского национального государства, которое предстояло провозгласить. Территории, исторически ставшие датскими или французскими, или этнически бывшие польскими или чешскими, были определены как германские. Германский либерал Вильгельм Йордан (1819—1904 гг.) стал глашатаем немецких претензий на польскую территорию. Он взывал к „здоровому” национальному эгоизму, противопоставляя его „абстрактной” справедливости, и к праву на завоевание „плугом и мечом”, а немцев, признававших справедливость польских притязаний, называл предателями своего народа. К концу 1848 г. мечта о братстве равноправных народов при всеобщем демократическом справедливом устройстве уступила место призывам, основанным на „исторических правах”, на „реальности” силы и на предполагаемых жизненных или стратегических нуждах наций. Либеральный германский историк Фридрих Кристоф Дальман (1785—1860 гг.) провозгласил во Франкфурте 23 января 1849 г., что „сила — это единственное, что может удовлетворить и насытить желание свободы, которая возбуждает, но которая сама по себе еще не понята. Ибо в жажде свободы сокрыта и жажда власти, большей чем дарованная прежде. Германия должна, наконец, стать одним из величайших государств европейского континента”.

Оглядываясь на события 1848 г., английский философ Джон Стюарт Милль уже в следующем году поставил необычайно проницательный диагноз сложившейся ситуации. Он с прискорбием констатировал, что национализм делает человека безразличным к правам и интересам любой части рода человеческого, „кроме той, которая зовется тем же именем и говорит на том же языке, что и он сам”. Он охарактеризовал новое чувство национальной исключительности и призывы к историческим правам как варварские и горько заметил, что в „отсталых частях Европы и даже Германии (где можно было ожидать лучшего) национальное чувство настолько пересиливает любовь к свободе, что народы готовы помогать своим правителям сокращать свободу и независимость людей, не принадлежащих к их расе или не говорящих на их языке”.

Изменение характера национализма в середине XIX в. наб-

людается не только у немцев, но у всех народов Центральной и Восточной Европы. Новый дух насилия, прославления героических деяний, оживления мрачного прошлого и его использования в качестве источника вдохновения — все то, что омрачило горизонты XX в. — все это впервые высветилось в 1848 г. Не было исключением и папа Пий IX, взошедший на священный престол в 1846 г. как либеральный реформатор и завоевавший большую популярность в Италии своим решением послать папские войска на соединение с сардинской армией для войны против католической Австрии. В самом начале кампании, 30 мая 1848 г. сардинская армия, побежденная во всех своих столкновениях с австрийцами, выиграла незначительную и не имевшую серьезных последствий битву при Гойто. Через 44 года великий итальянский поэт Джозуэ Кардуччи (1835—1907 гг.), вспоминая об этой победе в поэме „Пьемонт“, возвышенно воспевал „кровавый пар, вздымавшийся над полем битвы“. Нетерпение повсюду возвело насилие и бунт, поставленные на службу нации, в ранг высших моральных ценностей; национальное самопожертвование заменило мученичество святых. Тот же дух ощущался и вне Центральной Европы — в Ирландии, а позднее в Азии. Мексиканский национальный гимн, написанный в 1854 г., звучал как призыв к войне. „Отечество! Отечество! — поется в его последних строфах, — Твои сыны клянутся принести свое последнее дыхание на твой алтарь, когда раздастся воинственный призыв твоих труб к доблестной битве. Тебе — оливковый венец! Им — славная память! Тебе — лавры победы! Им — почетная могила!“ Столетие этой поэмы „рычащих пушек“ было отпраздновано в 1954 г. по всей Мексике с необычайной торжественностью.

Всегда имелись под рукой ученые и писатели, готовые найти исторические и моральные обоснования национальных претензий и указать, что их народ и его нужды представляют собой нечто исключительное, к чему общие правила неприменимы. В запутанных конфликтах исторических претензий и контрпретензий национальные страсти достигали высокого накала, и историческое исследование нередко становилось служанкой национальных чаяний, а личная свобода оставалась в небрежении. В итоге получилось так, что революции 1848 г.

по всей Центральной Европе не смогли укрепить дело свободы несмотря на искренний идеализм многих их участников. Поляки и пруссаки, датчане и немцы, чехи и немцы, хорваты и итальянцы, славяне и венгры, поляки и украинцы враждовали друг с другом. Эти националистические столкновения помогли возродиться силам абсолютизма эпохи Меттерниха. Идеалы 1848 г. потерпели поражение прежде всего потому, что они пробудили националистические страсти, а также от недостатка мудрости, предписывавшей терпение и компромисс. Конструктивным принципам предпочли энтузиазм риторики. К 1852 г. Вторая республика во Франции скончалась, никакого видимого продвижения к объединению Италии и Германии достигнуто не было. Однако дух национализма витал в воздухе; его главный носитель — средние классы — увеличили свою численность и экономическую силу; их националистические чаяния были осуществлены в двенадцатилетие 1859—1871 гг., но осуществили их не революционные идеалисты, а донационалистические правительства, действовавшие в собственных интересах; не народы на баррикадах, не голоса в парламентах, а битвы регулярных армий и ухищрения международной дипломатии. После 1848 г. национализм вступил в эпоху, которая характеризовалась немецкими терминами (ибо немцы сыграли ведущую роль в этом преобразовании) „махтполитик” и „реальполитик” — эпоху политики, основанной на силе и интересах, а не на принципах гуманизма.

НАШ АРХИВ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (РПД)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РПД

ПРАГА, ИЮЛЬ 1968 г.

Центральный Совет профсоюзов предлагает всем членам РПД и всем профсоюзным органам проект программы РПД.

1. ПРОФСОЮЗЫ — САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Революционное профессиональное движение является единой, добровольной, самостоятельной, представляющей интересы трудящихся организацией рабочих, техников и интеллигенции.

Революционное профессиональное движение выражает цели рабочего класса и всех трудящихся, борется за их социальные и человеческие права и последовательно защищает трудовые интересы и запросы своих членов.

Свою основную роль в ходе дальнейшего строительства социализма профсоюзы видят прежде всего в представительстве интересов трудящихся на основе своей программы. Реализация программы профсоюзов обеспечит улучшение материальных и других условий воспроизводства физических и духовных сил, а также дальнейшего развития интересов, запросов и способностей каждого члена нашей единой организации.

Профсоюзы будут проводить самостоятельную политику по отношению к государству и политическим партиям и станут активной политической силой Национального фронта. Наше отношение к государству, к политическим партиям и к другим

общественным организациям определяется прежде всего тем, насколько искренне и последовательно они борются за развитие социализма и демократии. Мы исходим из того, что ведущее положение Коммунистической партии Чехословакии в нашем обществе — это исторический факт. Программа действий КПЧ является политическим исходным пунктом для деятельности профсоюзов.

Мы будем поддерживать те мероприятия правительства, которые обеспечивают совершенствование общества и удовлетворение потребностей широких слоев трудящихся, но мы оставляем за собой право обсуждения и критики предложений, представляемых общественности.

Революционное профессиональное движение поддерживает государственное и правовое устройство, закрепляющее полное равноправие чехов и словаков в рамках федеративной системы нашей общей социалистической республики. Этот принцип будет последовательно проводиться в едином профессиональном движении.

Революционное профессиональное движение будет выступать с собственной программой как партнер государственных и хозяйственных органов, выдвигая предложения по обеспечению роста жизненного уровня; РПД будет следить за тем, чтобы при осуществлении хозяйственной политики и руководства учитывались обоснованные трудовые, потребительские и гражданские запросы и интересы трудящихся.

Профсоюзы требуют, чтобы государственные органы создали действенную систему правовой защиты трудящихся, защиты потребителей от производителей и граждан от отрицательного влияния производственной деятельности на среду обитания. Профсоюзы будут активно участвовать в формировании такой системы и следить за ее функционированием.

В Национальном собрании РПД будет через своих депутатов действовать самостоятельно, выступая с законодательными инициативами как организация, представляющая интересы трудящихся. Профсоюзы будут выступать с собственными предложениями и подготавливать собственные проекты и директивы относительно деятельности государственных и хозяйственных органов.

Революционное профессиональное движение выступает за новую систему управления. Ее последовательное внедрение предполагает необходимые структурные изменения в производстве и новую организацию органов управления. Это ускорит преодоление экономических затруднений и откроет нашему народному хозяйству путь здорового экономического и технического развития.

В новой системе управления предпринимателями будут трудовые коллективы социалистических предприятий. Они возьмут на себя связанный с этим риск. Поэтому профсоюзы требуют, чтобы трудовые коллективы имели влияние при решении основных вопросов развития и управления предприятиями; мы выступаем за создание советов трудящихся — коллективных демократических органов при руководстве предприятиями.

Мы и впредь будем настаивать, чтобы государственные и хозяйственные органы при принятии решений учитывали пожелания, потребности и интересы трудящихся, настаивать на их праве демократического контроля.

Мы будем защищать предпринимательские проекты и хозяйственные мероприятия, способствующие развитию отдельных предприятий экономики в целом, а также более полному удовлетворению потребностей людей.

В условиях научно-технической революции, кардинально изменившей условия жизни и труда, требуются взаимосвязанные решения, в первую очередь — вопросов рационализации и гуманизации труда. В деятельности профсоюзов требование гуманизации труда выражается в комплексной заботе об условиях труда и о совершенствовании отношений между людьми, о всестороннем развитии личности.

Революционное профессиональное движение как неотъемлемая часть международного рабочего движения будет бороться за укрепление международного единства, солидарности трудящихся и профсоюзов всего мира, за дальнейшее углубление пролетарского интернационализма. Как один из основателей Всемирной федерации профсоюзов РПД разделяет миролюбивую социальную программу этой организации, будет оказывать всестороннюю действенную помощь в укреплении ее позиций в международном профессиональном движении.

Чехословацкие профсоюзы готовы к сотрудничеству с профсоюзами всех стран для обеспечения мира и безопасности народов и против реакционной политики империализма. РПД руководствуется при этом принципом полнейшего равноправия и невмешательства.

Разумеется, чехословацкие профсоюзы, действующие в условиях социализма, будут и далее опираться прежде всего на сотрудничество с профсоюзами социалистических стран, с которыми у них общие цели.

Мы полностью солидарны с прогрессивным профсоюзным движением в капиталистических и развивающихся странах в их борьбе против эксплуатации и угнетения, за права профсоюзов и демократические свободы, за улучшение условий жизни в мире без войн.

* *

*

Профсоюзы хотят стать организацией, в которой бы все ее члены чувствовали себя хорошо. Они хотят стать самостоятельной, демократической, единой организацией, представляющей интересы трудящихся, организацией, в которой будет формироваться новое политическое мышление, новая политическая активность рабочего класса и всех трудящихся. В этом смысле профсоюзы есть и будут реальной политической силой, гарантией демократического развития нашего социалистического общества.

2. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И ТРУДА

1. Стимулирование роста заработной платы.

Оплата труда является важным фактором уровня жизни и существенно влияет на поведение людей на производстве, на их отношение к труду. Поэтому профсоюзы видят свою важнейшую задачу в обеспечении условий быстрого роста заработной платы.

— Профсоюзы требуют, чтобы рост реальной зарплаты не отставал от роста номинальной зарплаты. Средний рост реальной заработной платы в 1968—1970 гг. планируется в размере 2,5—3% в год, и этот показатель не должен снижаться и в дальнейшем.

— Профсоюзы требуют ускорить разработку общегосударственной концепции развития заработной платы для устранения необоснованной диспропорции оплаты труда между отраслями народного хозяйства. В первую очередь следует устранить отставание уровня заработной платы в легкой и пищевой промышленности, в сельском и лесном хозяйстве, на транспорте и в системе органов связи, в системе бытового обслуживания и в непроизводственной сфере. Одновременно профсоюзы требуют, чтобы уже на 1969 г. была запланирована реорганизация экономики, обеспечивающая постепенное осуществление этой концепции.

— Профсоюзы требуют, кроме того, чтобы заработная плата во всех отраслях народного хозяйства соответствовала квалификации и степени ответственности каждого работника и отражала различие в предъявляемых к ним требованиях; чтобы премии и вознаграждения за результаты, достигнутые предприятием, выплачивались каждому с учетом его действительных заслуг.

— Профсоюзы требуют, чтобы дифференциация в области заработной платы осуществлялась с учетом объективно установленного прожиточного минимума, который должен различаться по социальным категориям; границы прожиточного минимума необходимо менять в зависимости от изменения расходов на жизнь.

— Профсоюзы будут поддерживать научное и техническое совершенствование производства, научную организацию труда, т. е. факторов роста его производительности, делающих возможным повышение заработной платы без механического повышения норм выработки и без несоразмерного повышения интенсивности труда, чего профсоюзы в дальнейшем не допустят.

— Профсоюзы требуют от соответствующих государственных органов пересмотра условий натуральной оплаты труда

и введение такой оплаты в тех отраслях, где это обосновано и возможно.

— Профсоюзы требуют устранения диспропорций в оплате труда и соответствия заработной платы новым экономическим условиям; проект реорганизации системы заработной платы следует разработать на предприятиях, при самом широком участии трудящихся, уже к 1969 г.

При этой реорганизации необходимо:

— в централизованном порядке установить минимальные расценки и их изменения в дальнейшем, исходя из динамики основной заработной платы и роста расходов на жизнь. Необходимо установить таким же образом обязательный минимум зарплаты и дотаций к ней;

— при установлении расценок необходимо учитывать прожиточный минимум и пересмотреть правила предоставления льгот;

— при установлении основной заработной платы для рабочих, инженеров и руководителей предприятий следует учитывать рост квалификации, стаж работы и образование, а также такие факторы, как, например, вредность условий работы на предприятии, трудоемкость работы и т. д.;

— система начисления заработной платы должна быть простой, понятной для трудящихся;

— профсоюзы выступают за повышение оплаты труда на предприятиях непрерывного цикла, а также за ночную работу как в производственных, так и в непроизводственных отраслях,

II. Устранение недостатков в системе налогов с заработной платы.

Профсоюзы требуют изменить систему взимания налогов с заработной платы для устранения необоснованных различий в налогах различных групп работников, исходя из следующих принципов:

— с заработной платы неженатых, женатых бездетных работников и замужних бездетных работниц взимать одинаковый налог независимо от возраста;

— реорганизацию системы налогов с заработной платы

провести комплексно, вместе с реформой расценок тарифов и мероприятиями в области социального обеспечения;

- ввести льготы для трудящихся — как мужчин, так и женщин, воспитывающих детей, включая замужних женщин, воспитывающих детей;

- установить минимальные размеры налогов, которые будут меняться соответственно изменениям прожиточного минимума;

- налог с заработной платы не должен нивелировать ее;

- система налогов должна быть предельно простой и в налоги следует включить расходы на социальное обеспечение.

III. Упорядочение политики цен и охрана интересов предприятий.

Предприятия будут против изменения цен, которое угрожало бы повышению уровня жизни.

- Мы требуем от правительства гарантии, что повышение цен будет проводиться только для стимулирования экономического развития, не снижая повышения реальной заработной платы по крайней мере на 2,5—3% в год. Если цены будут расти быстрее, профсоюзы потребуют соответствующего увеличения заработной платы и социальных льгот (дотаций к заработной плате на детей, увеличения пенсий, социальных пособий и т. д.), чтобы не возникло угрозы понижения уровня жизни отдельных социальных групп, особенно многодетных семей и пенсионеров.

- Мы требуем от правительства информации о предполагаемом повышении цен: на какие товары и услуги будут повышены розничные цены в 1969—1970 гг. и в какой степени и как отразятся предполагаемые меры на уровне жизни отдельных социальных групп.

- Мы требуем сохранить дотации на товары первой необходимости, а также в системе бытовых услуг, чтобы они и впредь оставались доступными.

- Профсоюзы будут поддерживать мероприятия, которые могут оживить рыночные отношения, упразднить административную монополию в промышленности и в торговле, обогатят рынок

качественными товарами и расширят международный обмен.

— Мы требуем усиления действенного контроля над ценами, чтобы воспрепятствовать их повышению вследствие различных спекуляций, изымать незаслуженные прибыли предприятий, обеспечить публикацию результатов контроля за ценами и налагать взыскания на лиц, ответственных за нарушение дисциплины в области цен. Мы будем стремиться к оживлению общественного мнения и использовать его для устранения недостатков практического осуществления политики в области цен.

— Профсоюзы требуют от правительства ускоренного изучения проблем прожиточного минимума, договоренности с профсоюзами о путях его обеспечения. Государственные и хозяйственные органы должны предоставлять и систематически публиковать правдивую информацию о движении цен, расходов на жизнь, реальной заработной платы и общего уровня жизни населения по социальным группам и географическим областям, а также сравнительные данные в международном масштабе, чтобы целенаправленно руководить политикой цен, заработной платы и социального обеспечения.

— Профсоюзы создадут организацию, которая будет систематически заниматься проблемами уровня жизни и обеспечением информации о движении цен, расходах на жизнь и реальной заработной плате и добиваться усиления влияния профсоюзных органов при решении вопросов уровня жизни.

IV. Сокращение рабочего времени — пятидневная рабочая неделя

Мы выступаем за всеобщее введение пятидневной рабочей недели и постепенный переход к 40-часовой рабочей неделе во всех отраслях не позднее 1970 г., без понижения заработной платы.

— Мы требуем начать сокращение рабочего времени в первую очередь в тех отраслях, где работают преимущественно женщины.

— При введении пятидневной рабочей недели необходимо обеспечить сеть соответствующих услуг для населения и транспорт для доставки трудящихся на работу и возвращения с работы.

— Реорганизацию и сокращение рабочего времени компенсировать за счет технического развития, но никоим образом не за счет интенсификации труда.

V. Культурное использование свободного времени.

Профсоюзы намерены и далее выполнять свои культурно-воспитательные функции, активно содействовать повышению уровня образования и культурных запросов трудящихся. Мы будем заботиться о расширении возможностей культурного использования свободного времени для духовного и физического развития.

— Государственные и хозяйственные органы должны создать систему образования и повышения квалификации, доступную для всех и предоставляющую широкий простор для развития талантов. Мы предлагаем также пересмотреть и расширить критерии предоставления стипендий и льгот для учебы без отрыва от производства.

— Мы требуем от государственных и хозяйственных органов улучшения условий культурной и общественной жизни трудящихся, среды обитания, транспорта и системы услуг, чтобы шло непрерывное строительство клубных, общественных и культурных помещений, а также домов отдыха и санаториев.

— Мы будем стремиться к повышению качества и стабилизации материального обеспечения культурных учреждений профсоюзов предприятиями, профсоюзами и из других местных источников, к увеличению доли ассигнуемых ими средств в расходах по эксплуатации кинотеатров, предприятий общественного питания и культурного обслуживания.

— Мы требуем ликвидации всех ограничений и монополии культурно-организационной деятельности; проведение культурных мероприятий не должно быть обусловлено разрешениями; не следует требовать отчислений с платных культурных мероприятий; не должно быть обязательных предписаний при приглашении артистов.

— Профсоюзы обеспечивают удовлетворение культурных запросов и интересов своих членов и их семей — главным образом, в кружках художественной самодеятельности и техни-

ческих кружках, — создавая для них как можно более благоприятные условия. Профсоюзы активизируют свою деятельность в области физкультуры, спорта и туризма (организация туристических поездок, экскурсий, концертов и других мероприятий).

Профсоюзы будут заботиться о расширении возможности отдыха своих членов,

увеличивая число путевок в дома отдыха и вкладывая профсоюзные средства в общегосударственное строительство домов отдыха и санаториев; одновременно профсоюзы будут добиваться государственных дотаций на это строительство; распределения путевок в отечественные и заграничные дома отдыха и на курорты, осуществляемое из центра, будет проводиться при активном участии профсоюзных органов;

собирая необходимые финансовые средства для развития системы заводских домов отдыха и улучшения их работы, а также для строительства новых заводских домов отдыха, объединения несколько первичных профсоюзных организаций и предприятий; проводя в рамках обмена поездки отдельных членов профсоюзов и целых рабочих коллективов в отечественные и заграничные дома отдыха и на курорты.

— Профкомы предприятий должны организовать отдых детей в лагерях разного типа и разных учреждений; следует построить лагеря для отдыха детей в тех областях, где в них испытывается недостаток.

— Профсоюзы требуют, чтобы соответствующие государственные и хозяйственные органы, особенно общенациональные, разработали проекты строительства учреждений для кратковременного отдыха трудящихся (в субботу и воскресенье) в пригородных зонах и обеспечили ускоренное осуществление этого строительства, включая транспорт.

VI. Безопасность труда и охрана здоровья.

Профсоюзы считают безопасность труда и его культуру одной из важных черт социалистического общества.

Для обеспечения постоянного повышения культуры труда и рабочей среды профсоюзы требуют, чтобы соответствующие

государственные и профсоюзные органы разработали комплексные правила безопасности и охраны труда, которые отвечали бы существующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, правилам распределения фонда заработной платы и т. д., и обеспечили бы выполнение этих правил.

Профсоюзы требуют, чтобы были пересмотрены и исправлены существующие юридические акты, устанавливающие права и обязанности работников, руководства предприятий и самих предприятий по обеспечению безопасности и охране здоровья во время трудового процесса, компенсацию при утрате работоспособности при несчастных случаях во время работы и при профессиональных заболеваниях, а также инструкции о предоставлении и использовании спецодежды.

Профсоюзы требуют, чтобы повсюду, а особенно на производствах, связанных с риском для здоровья, при конструировании машин и оборудования, при строительстве и реконструкции производственных помещений уделялось максимальное внимание оснащению этих объектов оборудованием, исключающим все отрицательное физиологическое и психическое воздействие на работников и нанесение вреда здоровью людей во время трудового процесса.

Профсоюзы согласны на создание органов специального государственного контроля, но настаивают на своем праве рекомендовать своим организациям в случае необходимости прекращать работу, если имеется угроза жизни и безопасности работников; прекращение работы по этой причине не должно вести к сокращению заработной платы.

Профсоюзы требуют создать специальный фонд страхования при несчастных случаях для обеспечения выплаты пособий в случае производственной травмы и при профессиональных заболеваниях со льготами тем предприятиям, на которых созданы хорошие условия по безопасности труда.

Профсоюзы требуют пересмотра системы медицинского обслуживания трудящихся и здравоохранения вообще, выработки целенаправленной программы его развития, включая предупреждение заболеваний, санитарно-курортное лечение, специализированное обслуживание, в т. ч. и обслуживание дантистами, обеспечение предприятий и районных поликлиник

врачами и упорядочение экономической стороны отношений между предприятиями и учреждениями системы страхования по болезням.

VII. Об улучшении социального обеспечения.

Профсоюзы требуют, чтобы правительство до конца 1968 г. обсудило проекты об увеличении продолжительности декретного отпуска и по уходу за ребенком до достижения им установленного возраста, выплате ежегодных пособий в зависимости от возраста ребенка и других пособий на детей так, чтобы эти пособия стали реальной помощью семьям с маленькими детьми.

Для улучшения помощи больным и их обеспечения Центральный совет профессиональных союзов разработает проект о пособиях по болезни вне зависимости от стажа работы; будет отменено постановление о пониженной плате за первые три дня отсутствия на работе по болезни; при установлении размеров пособия по болезни оплата за сверхурочную работу будет включаться в заработную плату; выплаты при лечении в больнице будут унифицированы независимо от числа иждивенцев у пациента.

Для совершенствования страхования по болезни Центральный совет профессиональных союзов представит до конца 1968 г. разработанный на демократических принципах проект создания специального Управления страхования по болезни. Профсоюзы настаивают на выделении из отчислений валового дохода общей суммы на страхование и обеспечении средств на страхование по болезни из государственного бюджета.

В области пенсионного обеспечения профсоюзы требуют установления прожиточного минимума для пенсионеров и повышения низких пенсий по меньшей мере до этого минимума. С 1 января 1969 г. основные пенсии будут повышены в среднем на 8%, при этом должен быть отменен налог с пенсий и установлен принцип повышения пенсий в зависимости от изменения цен.

Мы требуем пересмотра существующих правил установления размера пенсий, по которым работники разделены по нескольким трудовым категориям, и установления новых критериев, основанных на объективно определенной степени риска

для здоровья, связанного с работой; следует предоставить предприятиям право на доплаты к пенсии в зависимости от стажа работы и риска для здоровья.

Мы требуем более выгодных условий работы для пенсионеров; пенсии, выплачиваемые вдовам, воспитывающим детей, не должны быть меньше пенсии кормильца, а принципы сокращения пенсий, выплачиваемых вдовам без маленьких детей, должны быть пересмотрены.

VIII. Работа для каждого без страха за существование.

Профсоюзы будут требовать последовательного осуществления права на труд и бороться за то, чтобы при обеспечении работой согласно профессии работника и его места жительства учитывались его способности и интересы; профсоюзы будут требовать организации постоянно действующей системы повышения квалификации.

Профсоюзы предлагают изменение некоторых статей Кодекса законов о труде, приведение его в соответствие с новыми условиями и с подготавливаемым законом о социалистическом предприятии. Это касается, в первую очередь, правил увольнения с работы, усиления влияния правомочий профкомов на решения о приеме на работу и определения размеров заработной платы, сохранения их правомочий при переводе с одного места работы на другое и при увольнении с работы. Это касается гарантий от дискриминации профсоюзным деятелям, упразднения третейского суда на предприятиях, а также увеличения продолжительности отпусков, включая дополнительные отпуска на производствах, вредных для здоровья.

Профсоюзы будут требовать свободного перемещения рабочей силы. При ликвидации нерентабельных предприятий, при реорганизациях и рационализации производства профсоюзы будут требовать гарантий, чтобы все эти мероприятия проводились без ущерба для работников, которые должны быть своевременно трудоустроены.

IX. Общественное питание на предприятиях

Мы требуем, чтобы промышленные предприятия и другие учреждения и организации бесплатно предоставляли своим столовым основное оборудование, покрывали все их материальные расходы, выплачивали заработную плату работникам столовых; хозяйственные фонды предприятий должны обеспечить оплату продуктов необходимых для высококачественного общественного питания, включая диетическое, при его минимальной оплате питающимися. Профсоюзы требуют, чтобы организации, не располагающие возможностями для создания собственных столовых, позаботились о питании своих работников в других учреждениях системы общественного питания.

Мы будем бороться за то, чтобы график работы предприятий предусматривал перерывы на обед в такое время, чтобы работники всех смен имели возможность пользоваться услугами заводских столовых.

X. Об улучшении транспортировки к местам работы

Транспортировка трудящихся к местам работы в настоящее время организована неудовлетворительно.

Мы требуем капитальных вложений в систему городского транспорта для обеспечения высокого уровня безопасности и культуры перевозок трудящихся, прежде всего увеличения средств передвижения, чтобы избавиться от их перегруженности.

Мы требуем подключить предприятия к транспортировке работников на работу и с работы. Для этого необходимо разрешить продажу предприятиям автобусов и предоставить предприятиям право покупки транспортных средств.

Мы требуем, чтобы правительственные органы разработали меры по улучшению транспортировки людей на работу и с работы.

Профсоюзные органы должны принимать участие в составлении расписания работы транспортных средств.

Мы требуем кроме того:

- сохранить льготную оплату проезда на работу и с работы, вменив в обязанность предприятиям возмещать установленную часть расходов их работников на поездку на работу и с работы;
- сохранить льготные билеты для школьников, студентов, инвалидов и участников экскурсий, организованных РПД.

XI. Об ускорении решения жилищной проблемы

Современное состояние жилищного фонда является важной общественной проблемой. Меры, принятые правительством для строительства 480 тыс. квартир, не решают этой проблемы полностью.

Исходя из этого, мы требуем от правительства дополнительных конкретных мер по увеличению капиталовложений в жилищное строительство, особенно для работников с низкими доходами. Вместе с этим необходимо способствовать кооперативному строительству, особенно для молодых семей, увеличить число квартир, предоставляемых молодым семьям из коммунального фонда; следует поощрять жилищное строительство в пограничных областях, прежде всего увеличением льгот на индивидуальное и кооперативное строительство, а также расширить в этих областях государственное и коммунальное строительство жилых объектов; при решении жилищной проблемы следует использовать опыт сотрудничества с социалистическими государствами.

Профсоюзы требуют расширить строительство заводских и ведомственных жилых объектов, используя для этой цели финансовые фонды хозяйственных организаций.

Следует увеличить кредиты, предоставляемые государством и предприятиями на жилищное строительство, на покупку и ремонт личных домов или кооперативных квартир, ввести дополнительные льготы на индивидуальное жилищное строительство.

XII. О внимании к рабочей молодежи и ее интересам

Профсоюзы будут уделять особое внимание интересам и запросам молодежи и учащихся ремесленно-технических училищ.

Мы хотим, чтобы молодые люди самостоятельно формулировали свои специфические интересы и запросы и активно боролись за их осуществление через профсоюзные организации. Профсоюзы будут всем своим авторитетом поддерживать деятельность рабочей молодежи на заводах и работу заводских молодежных кружков, участие молодежи в решении всех проблем жизни и деятельности предприятия, которые их касаются.

Профсоюзы будут требовать от хозяйственных органов создания благоприятных трудовых и социальных условий для молодежи, будут постоянно следить за выполнением правил предоставления работы и оплаты труда молодых людей и за выполнением всех других предписаний закона в этой области.

Мы будем требовать от хозяйственных органов обеспечения молодежи более широких возможностей для повышения образования и достижения уровня, отвечающего потребностям социалистического общества промышленно развитой страны, включая предоставление необходимых для этого средств.

Профсоюзы обеспечат работу молодежных кружков в области культуры, искусства, техники, физкультуры и спорта при заводских и профсоюзных клубах.

От государственных органов профсоюзы будут требовать ускоренной разработки проекта обучения и воспитания рабочей молодежи, а также проекта подготовки молодежи к выбору профессии и к профессиональной деятельности, и обязательного подключения к этим проектам всех отраслей народного хозяйства.

ХІІІ. Об обеспечении равноправия женщин на производстве

Общественное положение женщины как работницы и как матери в социалистическом обществе должно быть оценено по заслугам. Для этого необходимо покончить с упрощенной трактовкой женского равноправия.

Мы будем требовать от руководства предприятий конкретных предложений по улучшению условий труда и социальных условий работающих женщин, с установлением сроков реализации этих предложений, выполнение которых профсоюзы будут строго контролировать.

Профсоюзы будут добиваться на практике осуществления принципа: „равная оплата за равный труд” и следить, чтобы руководство предприятий предоставляло женщинам рабочие места в соответствии с их квалификацией и способностями и с соответствующей оплатой их работы; чтобы была обеспечена возможность изменения рабочего времени женщин, когда это необходимо и обосновано, и чтобы особое внимание уделялось матерям-одиночкам с малолетними детьми.

Мы потребуем от правительства анализа положения женщин в нашем обществе и принятия решений, направленных в первую очередь на улучшение условий труда женщин.

Мы потребуем от государственных органов разработки нормативов работы женщин, создания мест работы и учебы специально для женщин, с максимально благоприятными условиями для повышения их квалификации.

Мы будем бороться за постепенное перемещение женщин-работниц на такие участки, где физическая нагрузка соответствует особенностям женского организма, за расширение строительства детских учреждений в интересах работающих женщин-матерей; за повышение доли участия предприятий в этом строительстве, в работе детских учреждений и вообще в заботе о детях. Мы будем требовать от государства расширения сети бытовых услуг, улучшения качества работы этих учреждений и, главное, удешевления их обслуживания, чтобы облегчить работу женщин в домашнем хозяйстве, сократить время на эту работу и увеличить свободное время женщин.

XIV. Расширение льгот членов профсоюза

Член первичной профсоюзной организации имеет права, вытекающие из его членства и обеспеченные Уставом. Условием реализации этих прав является последовательное соблюдение обязанностей члена профсоюзов.

Членство в РПД предоставляет следующие преимущества:

- защиту и охрану трудовых, социальных и культурных прав, а также прав в области заработной платы;
- бесплатные юридические консультации и юридическое представительство перед хозяйственными органами и при су-

дебном разбирательстве, касающемся вопросов трудового права;

- материальную помощь в случае продолжительной болезни, увечья на работе или профессионального заболевания;
- финансовую поддержку в особых случаях для обеспечения семьи и при исключительных экономических затруднениях, возникших не по собственной вине; такая поддержка оказывается в соответствии с „Правилами предоставления пособий РПД”;

- материальную поддержку во время забастовок, организованных профсоюзными организациями РПД;

- помощь при поиске работы и получении новой квалификации в случае вынужденного изменения места работы;

- предоставление путевок РПД членам профсоюзов и членам их семей, в том числе в учреждения для отдыха детей в системе профсоюзов.

3. УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ — ПРЕДПОСЫЛКА ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Постоянное повышение жизненного уровня трудящихся в городах и в сельской местности возможно только в условиях успешно развивающейся экономики. Распределять можно только то, что было создано.

Профсоюзы будут поддерживать:

- программу экономической консолидации, при которой потребности и интересы трудящихся станут целью и импульсом дальнейшего развития производительных сил страны;

- меры по преодолению неудовлетворительной структуры народного хозяйства и малой целесообразности выполняемой работы, что является серьезной угрозой дальнейшему повышению жизненного уровня и, следовательно, осуществлению нашей программы;

- широкое введение научных методов управления и организации труда для повышения его эффективности и рентабельности: усиление экономических стимулов освоения передовой техники во всех сферах хозяйственной деятельности;

- все меры государственных и хозяйственных органов,

направленные на обеспечение развития экономики и на удовлетворение запросов трудящихся; профсоюзы будут демократическими методами способствовать вовлечению в проведение политики всех трудящихся.

Профсоюзы требуют:

- осуществлять все принципиальные мероприятия в области экономики с участием профсоюзов, с учетом их инициатив, проектов и предложений;

- создать во всех учреждениях и на всех промышленных предприятиях условия для всесторонней активности трудящихся, поддерживать многообразные формы их творческой инициативы, включая социалистическое соревнование.

Демократизация управления хозяйством

РПД представляет не только материальные, но и все другие интересы трудящихся в сфере производства. Целью профсоюзов является создание общественных отношений, отвечающих интересам трудящихся и обеспечивающих решающее влияние на управление.

Исходя из этого профессиональные союзы намерены:

- бороться за действительное участие трудящихся в принятии решений о целях и условиях ведения хозяйства и о результатах своей работы;

- бороться за создание на предприятиях демократических органов управления, полностью обеспечивающих прямое влияние трудового коллектива на жизнь предприятия;

- поддерживать такие методы подбора руководящих работников предприятий, которые обеспечат полное соблюдение самостоятельности принятия решений трудовым коллективом предприятия и его ответственность за этих работников, согласованность и взаимосвязанность демократического и профессионального руководства;

- бороться за отражение интересов трудящихся в структуре и процессе принятия решений органами государственного управления.

Профсоюзные органы и организации берут на себя ответственность за то, чтобы коллективные договоры гарантировали

реализацию запросов и интересов трудящихся как работников, обеспечивали условия для выполнения требований трудящихся, вытекающих из коллективного договора.

Финансирование социальных, культурных и других запросов трудящихся осуществляется через Фонд культурных и социальных запросов и Фонд поощрения. Исходя из этого необходимо обеспечить в дальнейшем хотя бы минимальные дотации для этих фондов и демократизировать процесс принятия решений об использовании средств из этих фондов, а именно передать право этих решений профсоюзам предприятий.

4. ВНУТРИСОЮЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

Самостоятельность и независимость профсоюзных органов могут быть обеспечены развитием внутрисоюзной жизни на демократической основе. Первичные организации должны иметь достаточный простор для самостоятельной деятельности и самостоятельных решений — только так можно гарантировать, что политика профсоюзов будет учитывать интересы каждого своего члена, каждой социальной группы.

Гарантией успешной работы профсоюзов и их органов, в свою очередь, является социальная и правовая защищенность каждого профсоюзного деятеля. Мы требуем, чтобы охрана профсоюзных деятелей была гарантирована законом. В самое ближайшее время профсоюзы предложат проект соответствующего закона.

Самостоятельность и независимость профсоюзов может быть обеспечена лишь широкой солидарностью членов профсоюзов и остальных трудящихся, а также концентрацией необходимых средств в руках профсоюзов и соблюдением принципа совместных действий.

В единстве профсоюзов — главная гарантия их силы. Мы настаиваем на сохранении оправдавшего себя принципа: „одно предприятие — одна профсоюзная организация”. Этот принцип повышает действенность профсоюзов, превращает их в признанную и авторитетную организацию. Мы категорически отвергаем любое раздробление профсоюзного движения, разделение проф-

союзов по профессиональному принципу, так как это уничтожает единство и ослабляет профсоюзы. Единство мы понимаем как единство организационное, а также как единство идейное, политическое и социальное. Однако единство не противоречит специфической дифференциации и самостоятельности отдельных звеньев внутри профсоюзов.

Структура органов Революционного профессионального движения должна соответствовать целям и запросам основной массы его членов. Профсоюзы строятся на профессиональном принципе и принципе государственного федеративного устройства при самых широких полномочиях первичных организаций.

Основным звеном в структуре РПД являются первичные организации профессиональных союзов. Каждый член РПД является членом какой-либо первичной организации. Первичные организации РПД строятся на принципе: „одно предприятие — одна организация” и объединяются в профессиональные союзы. В связи с изменением статуса социалистических предприятий увеличатся полномочия первичных организаций профсоюзов и возрастет ответственность руководящих органов первичных организаций РПД и профкомов предприятий.

Структура высших профсоюзных органов вытекает из потребностей первичных профсоюзных организаций. Эти органы осуществляют представительные функции, которые первичные организации не могут взять на себя.

Профессиональные союзы, входящие в РПД, строятся по федеративному принципу. Будут созданы чешские и словацкие комитеты профессиональных союзов, которые при необходимости объединятся в общегосударственный профсоюзный орган.

Структура профессиональных союзов и их деятельность определяются в соответствии с Уставом РПД. Организационная структура каждого профессионального союза будет установлена в соответствии с его потребностями и задачами, и будут созданы соответствующие профсоюзные органы, комиссии и секции.

Члены и выборные должностные лица первичных организаций формируют местные профсоюзные органы — областные, районные и городские. Эти органы проводят консультации членов и организаций РПД и предоставляют юридическую по-

мощь членам профсоюзов по социальным и культурным вопросам, в организации отдыха и т. д. Эти комитеты РПД представляют профсоюзное движение в органах Национального фронта. Их структура и содержание их деятельности строятся в соответствии с новыми условиями и потребностями профсоюзов.

Для борьбы за интересы и политические цели членов РПД профессиональные союзы объединяются в национальные профессиональные центры — Чешский и Словацкий советы профессиональных союзов, а в общегосударственном масштабе — в Центральные советы профессиональных союзов.

Центральный совет профессиональных союзов является верховным органом профессионального движения и представителем Революционного профессионального движения перед верховными органами государства — Национальным собранием и правительством республики.

Центральный совет профессиональных союзов представляет РПД во Всемирной федерации профсоюзов и перед иностранными профсоюзными объединениями. Профессиональные союзы как таковые представлены в отдельных международных профессиональных союзах.

Основные принципы деятельности профсоюзных организаций и органов, их структура, полномочия и ответственность, а также система выборов в них закреплены в Уставе РПД, основанном на демократических принципах. Необходимо разработать демократическое положение о выборах, обязательное для всех органов РПД. Это положение должно включать принципы оплаты функционеров и запрет на излишнее совмещение постов. Устав обеспечит каждому члену РПД равное право избирать и быть избранным в любой профсоюзный орган на основе тайного голосования.

РПД будет опираться в первую очередь на активистов, работающих на общественных началах. Хотя для выполнения задач, которые стоят перед профсоюзами, профессиональные союзы, национальные и общегосударственные центральные профсоюзные органы должны иметь платных работников, при организации профсоюзных органов нельзя допускать увеличения их числа.

Подготовка работников и активистов РПД к выполнению

сложных задач по защите прав трудящихся требует организации профобучения и обеспечения его высокого качества. Ответственность за обучение профсоюзных работников и активистов полностью возлагается на профсоюзные органы.

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

Финансовое и материальное обеспечение профсоюзных органов должно отвечать их новому положению в обществе и их новым задачам.

Главный источник доходов РПД составляют членские взносы. Их размеры устанавливаются по единому принципу для всех членов профсоюзов, что отражает единство, солидарность, одинаковые обязанности и одинаковые права всех членов РПД и каждого в отдельности.

Революционное профессиональное движение основывается на принципе хозяйственной самостоятельности входящих в него профсоюзов. Решение о распределении доходов от членских взносов между первичными организациями и высшими профсоюзными органами принимают верховные органы профессиональных союзов.

Кроме собственных средств, профсоюзные органы хозяйственных организаций используют для выполнения своих задач, особенно в отношении удовлетворения потребностей членов профсоюзов, средства культурных и социальных фондов, а профсоюзные органы местных организаций — средства фондов поощрения. Решения об использовании этих средств принимают первичные организации РПД.

Высшие профсоюзные органы используют на свои нужды определенную часть членских взносов. Доля от общей суммы членских взносов, предоставляемая отдельным профсоюзным органам, определяется в соответствии с их ролью и задачами. Профсоюзные органы вправе самостоятельно распоряжаться выделенными им финансами в соответствии с общеустановленными едиными правилами. Они регулярно предоставляют членам профсоюза свои финансовые отчеты, что является выражением демократического общественного контроля.

Общие интересы и формы совместной деятельности революционного профессионального движения должны быть финансово обеспечены на всех ступенях организационной системы РПД. Для этих целей в РПД создаются специальные фонды.

Сюда относятся прежде всего **Центральные фонды РПД**, в которые входят:

- резервный фонд РПД (для гарантии экономической независимости профессионального движения);

- инвестиционный фонд РПД (для финансирования простого и в необходимых размерах расширенного воспроизводства основных фондов РПД, финансирующих потребности профессионального движения и его членов);

- фонд международной солидарности РПД.

Фонды профессиональных союзов:

- фонды солидарности (для дотаций первичным организациям, финансовой поддержки при забастовках и т. д.).

В первичных организациях:

- фонды пособий (обеспечивающие профсоюзную солидарность и предоставляющие пособия по болезни, при финансовых затруднениях, возникших не по собственной вине, при тяжелом социальном положении и т. п.);

- другие фонды, организуемые при необходимости.

Все профсоюзные органы должны соблюдать экономию и постоянно добиваться снижения расходов на собственно организационную работу; в заботе о членах профсоюза следует ориентироваться на создание продолжительно действующих ценностей и отдавать им преимущество перед потребительскими тенденциями в хозяйстве.

В структуре высших профсоюзных органов нельзя допускать создания новых должностей, что означало бы увеличение расходов на организационную деятельность и рост численности работников.

Профсоюзные органы обязаны добиваться рационального расходования средств и распределять средства из фондов для проведения общих мероприятий со строгим учетом правомочности и ответственности своих отдельных звеньев.

Революционное профессиональное движение является фи-

нансово независимым по отношению к государственным и другим органам и общественным организациям.

Демократические принципы ведения профсоюзного финансового хозяйства включают систему действенного контроля посредством выборных органов, что является одной из гарантий правильного ведения финансового хозяйства и ответственного отношения к имуществу профсоюзов.

Заказы на журнал "Проблемы Восточной Европы"
посылать по адресу:

PROBLEMS OF EASTERN EUROPE
P.O. BOX 6078
Washington D.C. 20005-0778

Будапешт, 17 июля 1989 г. Реформистские группы внутри Венгерской социалистической рабочей партии требуют от руководства страны осуждения участия Венгрии во вторжении войск пяти стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. В этой акции тогда не участвовала только Румыния.

В опубликованном в будапештских газетах обращении говорится о необходимости осудить доктрину Брежнева, согласно которой социалистические страны имеют право осуществить военное вмешательство в дела одной из стран блока в случае возникновения там угрозы коммунистическому режиму.

Братислава, 28 июля 1989 г. Бывший первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек заявил, что выработка программы экономического оздоровления в Польше является более ответственным делом, нежели просто критика недостатков. По его мнению, профобъединение "Солидарность" должно искать решения проблем страны совместно с Польской объединенной рабочей партией, так как некоторые члены партии понимали необходимость реформ.

Интервью Дубчека опубликовано в Варшаве в печатном органе "Солидарности" "Газета wyborcza".

Дубчек также заявил в этом интервью, что Чехословакия не сможет добиться прогресса в области реформ без признания ошибок прошлого. Власти ЧССР, считает Дубчек, должны официально заявить, что вторжение в Чехословакию войск пяти стран-членов Варшавского договора в 1968 г. вынудило Чехословакию изменить свой политический курс и что военное вторжение в ЧССР было незаконным.